

**Institute of General History, RAS**

---

## **THE HISTORIAN IN SEARCH**

**Micro- and Macro-Approaches to  
Studying the Past**

**PAPERS READ AT THE INSTITUTE OF  
GENERAL HISTORY CONFERENCE**

**OCTOBER 5-6, 1998**

**Moscow, 1999**

**Российская Академия наук  
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ**

---

## **ИСТОРИК В ПОИСКЕ**

**МИКРО- И МАКРОПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  
ПРОШЛОГО**

**ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ  
НА КОНФЕРЕНЦИИ**

**5 — 6 октября 1998**

**Москва, 1999**

ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

Ю.Л.БЕССМЕРТНОГО (ответственный редактор),  
М.А.БОЙЦОВА и П.Ш.ГАБДРАХМАНОВА

И ИСТОРИК В ПОИСКЕ. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5-6 октября 1998, Москва: ИВИ РАН, 1999

ISBN 5-201-00514-4

ББК 63.3

И  $\frac{0503010000-12}{45ж (03)-99}$  без объявл.

© Институт всеобщей истории РАН, 1999

## СОДЕРЖАНИЕ

Несколько вводных замечаний ..... 7

### МИКРО- И МАКРОПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Ю.Л.Бессмертный. Коллизия микро и макроподходов и французская историография 90-х годов .....	10
Л.П.Репина. Комбинация микро- и макроподходов в современной британской и американской историографии: несколько казусов и опыт их прочтения .....	31
С.Г. Ким. Современная немецкая историография о возможностях микро- и макроанализа .....	64
И. М. Савельева, А. В. Полетаев. Микроистория и микроанализ .....	92
С.В. Оболенская. Ханс Медик. Опыт сопряжения микро- и макроистории .....	110
И. Е. Андронов. К вопросу о происхождении метода исторической науки, называемого "микроисторией" .....	119
П.Ш.Габдрахманов. "Макро" и "микро" в современных историко-антропонимических исследованиях. ....	133

### ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

М.А.Бойцов. Вперед, к Геродоту! .....	144
Н.Е.Копосов. О невозможности микроистории .....	166
П.Ю. Уваров. Апокатастасис: или основной инстинкт историка .....	184
Г.И. Зверева. "Новая философия истории" о художественном способе представления прошлого: интерпретация микроисторического подхода. ....	207
А.А. Олейников. История: событие и рассказ. Философия истории sub specie нарративной формы .....	219

### ПОЛЕМИКА

Н.И.Басовская. За плодотворный плюрализм подходов к изучению прошлого. ....	231
А.Я.Гуревич. Не "Вперед, к Геродоту!", а назад – к анекдотам. ....	234

С.И.Луцицкая. Исследование без рефлексии? – или о мнимых апориях отечественной медиевистики. ....	239
М.Ю.Парамонова. Несбывшиеся надежды. ....	241
Н.Ф.Усков. Против монополии на метод. ....	242
М.В.Бибилов. Микроподход в историческом исследовании как вызов банальности в истории. ....	245
А.А.Сванидзе. Строгости и свободы музы истории. ....	248
О.Ю.Бессмертная. Об истории в культуре и “культуре” в истории (фрагментация историописания и социальная ответственность историка) .....	253
Е.В.Ляпустина. Соблазны и риски исторического поиска .....	259
М.Л.Абрамсон. О некоторых проблемах микроистории .....	262
О.И.Тогоева. Об удивлении и удивительном в исторических исследованиях. ....	266
И.Н.Данилевский. Практик на теоретическом распутье. ....	267
А.А.Олейников. О достоверности и вымысле в литературе и истории .....	270
И.С.Свенцицкая. Микро- и макроистория – “нераздельны и неслиянны” .....	272
Я.В.Чеснов. Между двух деревень .....	274
Е.М.Михина. Микроистория как сюжет. ....	276
С.А.Экштут. Одна картина и много взглядов на нее. ....	280
С.В.Оболенская. Микроистория и новая социальная история .....	282
Л.П.Репина. О пределах плюрализма и преимуществах прагматизма. ....	284
Ю.Л.Бессмертный. Несколько заключительных соображений .....	286
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ</b>	
Ю.Л.Бессмертный. Проблема интеграции микро и макроподходов	291
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	
Jean-Claud Schmitt (Париж), La micro-histoire et l'anthropologie historique aujourd'hui (L'entretien J.Cl.Schmitt et Yu.L.Bessmertny). ....	303

## CONTENTS

### YU.L.BESSMERTNY. A FEW INTRODUCTORY NOTES MICRO- AND MACRO-APPROACHES IN MODERN HISTORIOGRAPHY ABROAD

YU.L. BESSMERTNY (IGH RAS). A Collision of Micro- and Macro- Approaches in the 1990s French Historiography.

L.P. REPINA (IGH RAS). Combination of Micro- and Macro- Approaches in Modern British and American Historiography (A Few Cases and an Attempt at their Reading)

S.G. KIM (TOMSK STATE UNIVERSITY). Modern Historiography of Germany on Possibilities of Micro- and Macro-Analysis.

I.M. SAVELIEVA AND A.V. POLETAYEV (IRH) Micro-History and Micro-Analysis.

S.V. BOLENSKAYA (IGH RAS). Hans Medick: An Attempt at Conjugation of Micro- and Macro-History.

I.E. ANDRONOV (MOSCOW STATE UNIVERSITY). On the Problem of the Nascence of Micro-History in Italian Historiography.

P.SH. GABDRAKHMANOV (IGH RAS). “Macro” and “Micro” in Modern Historio-Anthropomorphic Research.

### INDIVIDUALIZATION AND GENERALIZATION

#### IN HISTORICAL SCIENCE

M.A. BOITSOV (MOSCOW STATE UNIVERSITY, IGH RAS). Forward to Herodotus!

N.E. KOPOSOV (St. PETERSBURG STATE UNIVERSITY). How is Micro-History Possible?

P.YU. UVAROV (IGH RAS). Apocatastasis or the Basic Instinct of the Historian.

G.I. ZVEREVA (RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES). Reception of Microhistorical Approach in the “New Philosophy of History”: Interpretation of Interpretation.

A.A. OLEYNIKOV (RSUH). HISTORY: Event and Narration. The Philosophy of History *sub specie* Narrative Forms.

### POLEMICS

N.I. BASSOVSKAYA (RSUH), A.J. GUREVICH (IGH RAS), S.I. LUCHITSKAYA (IGH RAS), M.YU. PARAMONOVA (IGH RAS), N.F. USKOV (MSU), M.V. BIBIKOV (IGH RAS), A.A. SVANIDZE (IGH RAS), O.YU. BESSMERTNAYA (RSUH), E.V. LIPOUSTINA (IGH

RAS), M.L.ABRAMSON (MOSCOW UNIVERSITY FOR TRAINING TEACHERS BY CORRESPONDENCE), O.I.TOGOYEVA (IGH RAS), I.N.DANILEVSKY (RSUH), A.A.OLEYNIKOV (RSUH), I.S.SVENTSITSKAYA (MOSCOW UNIVERSITY FOR TRAINING TEACHERS BY CORRESPONDENCE), YA.V.CHESNOV (INSTITUTE OF ETHNOLOGY & ANTHROPOLOGY RAS), E.M.MIKHINA (IGH RAS), S.A.EKSHTUT ("RODINA" Journal), S.V.OBOLENSKAYA (IGH RAS), L.I.REPINA (IGH RAS), YU.L.BESSMERTNY (IGH RAS).

#### PRELIMINARY SUMMING UP

*YU.L.BESSMERTNY.* The Problem of Integration of Micro- and Macro-History.

#### SUPPLEMENT

JEAN-CLAUD SHMITT (PARIS). L'Histoire de l'individu et l'anthropologie historique aujourd'hui  
(L'entretien, J.Cl.Shmitt et Yu.L.Bessmertny. 17.07.1997).

### НЕСКОЛЬКО ВВОДНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

Поиск новых тем, новых проблем и новых подходов – одна из характерных тенденций в современных исторических исследованиях. В русле этой тенденции пять лет тому назад в Институте всеобщей истории возник семинар, участники которого решили посвятить свои конкретные исследования некоторым мало изученным аспектам обыденности. Речь шла в первую очередь о повседневном поведении человека у себя дома, в кругу семьи и родных, среди друзей и единомышленников и – особо – “наедине с собой”. Весь этот спектр человеческих поступков более или менее условно был назван сферой частной жизни.

Ее анализ на материале эпох, предшествующих новому времени, заставил прежде всего задуматься над источниковой базой возможных исследований. Поскольку почти сразу же выяснилось, что люди, жившие в течение данных периодов, не осмысливали эту сферу понятийно, представлялось делом довольно бесперспективным искать в памятниках прошлого обособленного рассмотрения интересовавших нас сюжетов. Встала задача поиска более или менее случайных упоминаний обо всем, что касается поведения этого рода.

Нас не могли не интересовать принятые поведенческие нормы. Но пожалуй особенно важным было понять, как они интерпретировались в повседневной практике. Именно на этом пути представлялось возможным прикоснуться к одной из самых животрепещущих проблем исторического знания, касающейся возможностей для индивида проявить себя, сделать свой выбор и, быть может, что-то изменить в повседневной рутине.

Так в центр нашего внимания попали конкретные казусы, индивидуальные решения, уникальные ситуации. При внимательном чтении (и многократном перечитывании) источников их оказалось гораздо больше, чем можно было бы подумать (и не только для поздних, но и для ранних периодов, начиная со времен античности). Возникла насущная познавательная необходимость уяснить способ их осмысления и прежде всего возможность их инкорпорирования в более широкий контекст. Так выдвинулась потребность рассмотреть соотношение микро и макро анализа при изучении прошлого.

Эта потребность, так или иначе осознававшаяся историками с давних пор, по разным причинам выдвинулась в последнее время на авансцену дискуссий. Обсуждение данной проблематики примыкает к спорам по еще более широкой (и еще более острой!) проблеме соотноше-



ния идеографического и номотетического подходов в гуманитарном знании в целом и историческом в особенности. Осмысление гипотез, суждений, соображений, накопленных по этому кругу вопросов, в высшей степени важно для разработки интересующей нас тематики.

Все сказанное делает понятной идею проведения конференции, материалы которой публикуются ниже. Учитывая сложность сюжета и обширность накопленного в науке материала, подготовка конференции длилась более года. За это время были подготовлены и распространены среди возможных участников дискуссии полные тексты всех докладов. Это позволило на самой конференции уделить львиную долю времени свободной дискуссии. В ходе ее были затронуты не только вопросы, непосредственно связанные с основной тематикой. Мы сочли полезным опубликовать большинство выступлений почти целиком, сокращая однако высказывания особенно далекие от нашей тематики.

В заключение издания публикуется текст моего доклада, прочитанный на заседании семинара уже после завершения работы конференции. В нем подводятся итоги обсуждения путей интеграции исторического знания и предлагается некоторая гипотеза для решения этой проблемы.

В качестве приложения публикуется интервью Жана-Клода Шмитта, одного из виднейших французских специалистов по исторической антропологии, затрагивающее вопрос о соотношении данного научного направления и истории индивидуального.

Подготовкой и проведением конференции занимался Оргкомитет в составе М.А.Бойцова, П.Ш.Габдрахманова, Л.П.Репиной, О.И.Тогоевой, действовавший под моим руководством. Техническое обеспечение лежало на Ю.П.Крыловой. Всю работу по расшифровке магнито-записи выступлений на конференции (также как работу по расшифровке интервью Ж.Кл. Шмитта) провела О.И.Тогоева, которой, пользуясь случаем, я хотел бы выразить специальную благодарность<sup>1</sup>.

Ю.Л.Бессмертный

<sup>1</sup> В программе конференции, помимо текстов, включенных в данное издание, фигурировало также несколько интересных статей-выступлений, содержащих опыты конкретного применения микроанализа по отношению к отдельным эпизодам прошлого. Учитывая их более специальный характер, редакция сочла оправданным опубликовать эти статьи на страницах следующего выпуска нашего альманаха "Казус-2000"

## МИКРО- И МАКРОПОДХОДЫ

### В СОВРЕМЕННОЙ

### ЗАРУБЕЖНОЙ

### ИСТОРИОГРАФИИ



Ю.А.Бессмертный

## КОЛЛИЗИЯ МИКРО И МАКРОПОДХОДОВ И ФРАНЦУЗСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 90-Х ГОДОВ

Современному увлечению микроисторией – примерно 20 лет<sup>1</sup>. За это время во многих странах Запада успела сложиться довольно обширная историография этого течения. Для нее характерны, с одной стороны, несомненная общность ряда подходов, а с другой – более или менее существенные национальные особенности. Естественно, что это требует, хотя и взаимосвязанного, но тем не менее раздельного проблемно-историографического анализа ситуации в разных национальных школах.

В центре дискуссий по микроистории в девяностые годы находился вопрос о способах ее соединения с макроисторией. Какими видятся эти способы французским исследователям? Отвечая на этот вопрос, мне – как это ясно из только что сказанного – придется касаться не только собственно французских работ, но и трудов извне Франции, на которые ссылаются или с которыми полемизируют сами французы.

Начну с понимания водораздела между микро и макроанализом. Высказывавшиеся раньше суждения о главенствующей роли при их противопоставлении величины изучаемых объектов и масштаба их рассмотрения в последнее время мало кого удовлетворяют. Все чаще подчеркивается, что уменьшение масштаба исследования (обеспечивающее более “крупный план” анализа) – лишь *средство*, позволяющее сосредоточить внимание на некоторых сторонах общественного устройства, недостаточно осмысливавшихся историками раньше. Речь при этом идет в первую очередь о соотношении в человеческом обществе элементов повторяемости и индивидуальности, системности и хаотичности, а в гносеологическом плане – о соотношении между собой микро и макроистории.

Сама по себе возможность (и плодотворность) различения обществ по *системе* их организации, давно используемая в историографии, не вызывает сомнений и у многих адептов микроистории. Более того. Никто из них не ставит под сомнение познавательную привлекательность системного подхода. Проблемы возникают однако, как только заходит речь о *понимании* принципа системности, о трактовке понятия целостности в применении к обществу, о роли в нем уникальных ситуаций и казусов, о способах (и возможности!) интегрировать индивидуальное и общее.

“В противоположность социальной когерентности функционализма, микроисторики делают прежде всего упор на непоследовательность нормативных систем и соответственно на фрагментарность, противо-

речивость, плюрализм точек зрения, которые делают любую систему подвижной и открытой. Изменения в ней происходят на основе стратегии и выбора, сделанного огромным числом “маленьких людей”. Эта роль маленьких людей оказывается возможной вследствие зазоров между некогерентными нормативными системами. Мы считаем, что это *подлинный переворот* – сделать упор на локально ограниченные конкретные действия небольшого масштаба, совершаемые такими людьми, что позволяет выявить проходы и лазейки, которые оставляет им открытыми любая система вследствие непоследовательности и несогласованности между отдельными своими элементами”<sup>2</sup>.

“...Социальный мир интегрирован далеко не полностью; любые нормативные системы в той или иной степени прерывны и некогерентны. Вследствие этого всякий поступок есть не механическое следование той или иной норме и не воспроизведение традиционного обычая, но тот или иной *казус человеческого поведения*... Каждый индивид действует, исходя из обстоятельств конкретной ситуации, в которой он находится и которая зависит от его материальных ресурсов, а также когнитивных и культурных возможностей”<sup>3</sup>.

“Микроистория предлагает перевести социоисторический анализ в сферу процессов. *Историку недостаточно заговорить тем же языком, что и действующие лица, которых он изучает.* Это должно стать лишь отправным пунктом более значительной и глубокой работы по воссозданию множественных и гибких социальных идентичностей, которые возникают и разрушаются в процессе функционирования целой сети тесных связей и взаимоотношений... Подобный подход по необходимости влечет сужение поля исследования. Однако микроисторики не довольствуются простой констатацией этого неизбежного обстоятельства, они возводят его в *эпистемологический принцип*, ибо способы социального соединения (или разъединения) стремятся реконструировать через индивидуальное поведение”<sup>4</sup>.

Как известно, и сторонники, и критики микроистории нередко отрицают присутствие в этом течении какой бы то ни было теоретической “парадигмы”, во всяком случае на начальных этапах его становления<sup>5</sup>. Приведенные выше высказывания признанных адептов микроистории обнаруживают необоснованность такого представления. Самое по себе “изменение фокусного расстояния” исследовательского объектива историка, о необходимости которого во Франции заговорили еще десять лет назад<sup>6</sup>, действительно не вносит теоретической новизны. Иное дело – *истолкование функций микроанализа* в историческом познании. Как мы видели, сторонники данного направления, рассматривая эти функции, ныне прямо говорят о намерении *пересмотреть* ряд основополагающих методологических принципов. Чтобы уяснить, в какой мере эти намерения реализуются и что именно имеется в виду,

рассмотрим подробнее как теоретические высказывания адептов микроистории, так и конкретные исследовательские опыты, предпринятые в русле этого направления во Франции, а также и в некоторых других странах.

Едва ли не самые решительные суждения о необходимости обновления методологических подходов на базе индивидуализированного микроанализа принадлежат Бернару Лепти – видному представителю школы Анналов (недавно трагически погибшему). Он считает необходимым создание “*другой социальной истории*”, которая по его мысли, должна подменить собой версию, лежавшую долгие годы в основе школы Анналов<sup>7</sup>. Не останавливаясь здесь на всех постулатах этой новой социальной истории<sup>8</sup>, коснусь лишь того, что наиболее тесно увязано в ней с микро подходом.

Лепти предлагает отказаться от привычного взгляда на общество, как на совокупность “структур большой длительности (экономических, идеологических, ментальных и т.д.)”. Вместо этого он хотел бы рассматривать общество как “продукт взаимодействия конкретных участников общественных процессов”, как “социально-культурную практику выступающих в таковых процессах *acteurs*”. В центре внимания исследователя должны, по мысли Лепти, находиться не безликие и малоподвижные экономика, культура, ментальность, но личностно окрашенное и переменчивое взаимодействие *acteurs*, действующих в зависимости от складывающихся *конкретных ситуаций*. Лепти полагает, что с помощью микроанализа можно выявить облик конкретных индивидов, учесть изменчивые условия их функционирования и проследить, как эти индивиды интерпретируют общие ментальные установки применительно к условиям своих “*прагматических*” обстоятельств. При этом Лепти отнюдь не предлагает замкнуться в рамках микроистории. Он решительно против того чтобы видеть в укрупнении масштаба (т.е. в переходе к микроанализу) некую эпистемологическую “отмычку”<sup>10</sup>. Не отказываясь в принципе от анализа больших структур (экономики, ментальности и пр.), Лепти полагает, однако, что их можно было бы адекватнее осмыслить через анализ субъективного восприятия конкретными *acteurs*.

К сожалению, эта интересная (и амбициозная!) программа находит у Лепти весьма ограниченное исследовательское подтверждение. Он приводит в качестве примера лишь одно микроисследование нестандартного поведения южно-французских ткачей начала 19 в., которые, исходя из сложившейся для них конкретной ситуации, предпочли взаимовыгодные соглашения со своими хозяевами, вместо того, чтобы действовать в соответствии с принятыми в их социальной категории стереотипами и согласно существующим юридическим установлениям<sup>11</sup>. Достаточно ли этого для подтверждения познавательных преимуществ микроанализа?...

Выведенная Лепти программа несомненно затрагивает методологические аспекты исторического исследования. Микроанализ играет в ней роль едва ли не важнейшего познавательного средства. Микроистория в изображении Лепти обретает в этом смысле свою теоретическую парадигму. Однако, это пока что лишь программа. Мне уже приходилось отмечать, что ее применимость особенно сомнительна по отношению к традиционным обществам (с их жесткой разделенностью на сословно-юридические группы), и что действенность в таких обществах сословных градаций и “прагматических ситуаций” нуждается во всяком случае в проверке<sup>12</sup>. Ныне дистанцироваться от этой программы решилась и редколлегия Анналов, назвав избранный в книге Лепти заголовок (“*Другая социальная история*”) излишне амбициозным и подчеркнув, что “не все” члены редколлегии разделяют идеи Лепти<sup>13</sup>.

Не менее важных проблем взаимодействия индивида и общества касается в своих работах французский историк и социолог Поль-Андре Розенталя. Как и Лепти, он придает очень большое значение конкретной ситуации, в которой находится человек. Объяснить его поведение “механическим подчинением” сложившейся системе групповых норм Розенталя считает невозможным уже постольку, поскольку эти нормы так или иначе пересекаются параллельно существующими установлениями более высокого (или более низкого) порядка. Их импульсы и, особенно, импульсы личного плана, испытываемые отдельными индивидами, не “состыкуются” между собой, действуя как бы в разных регистрах<sup>14</sup>. Соответственно, Розенталю представляется необходимым отказаться от распространенного представления, что идентичность общих социальных условий вызывает такую же идентичность человеческого поведения. Чрезвычайная вариативность облика каждого из *acteurs*, вызванная многообразием его обстоятельств – семейных, психофизических, пространственных и т.д. – вызывает, по мнению Розенталя, столь же значительную вариативность его решений. И наоборот, идентичное поведение индивидов вовсе не обязательно предполагает тождественность его общих социальных предпосылок<sup>15</sup>.

Тем не менее, Розенталя против какой бы то ни было абсолютизации роли индивида в обществе. Не считает он нужным ограничиваться и каким бы то ни было одним исследовательским масштабом<sup>16</sup>. Его идеал – *approche multiscopique*, иначе говоря, “полимасштабность”<sup>17</sup>. Трудности реализации этого принципа, которым Розенталя, придает еще большее значение, чем Лепти, состоят по его мнению в том, что “разрывы” и “прерывности” социальных систем, их неполная интегрированность порождают, *несоизмеримость (и несопоставимость)* анализа, с одной стороны, группового, а с другой – индивидуального поведения. Образно излагая эту позицию Розенталя, можно бы сказать, что каждый *acteur* видится этому историку как бы меж “двух огней”.

Один из них – воздействие социальной группы и вообще больших структур. Другой – влияние всего субъективного, частного, личного. Эти воздействия осуществляются на принципиально разных уровнях по отношению к *acteur*, в “разных регистрах”, и обладают разной природой. Пространственная и сущностная разорванность этих воздействий делает невозможным их осмысление с помощью одних и тех же приемов. Возникает необходимость применения в одном случае – микроанализа, в другом – макроанализа. Создается потребность в полимасштабности исторического исследования. В результате историк обретает две “проекции” изучаемого предмета. Их совмещение однако оказывается столь же непростым, сколь преодоление разрывов и прерывностей в самом объекте исторического исследования<sup>18</sup>.

Существование этих познавательных трудностей не ставит однако, с точки зрения Розенталя, под вопрос оправданность использования микроаналитических процедур. Более того. Именно в них видит он путь к выявлению некоторых ключевых аспектов исторического развития. Прежде всего это касается механизма изменения социальной организации. Едва ли не важнейший исток этих изменений, по мнению Розенталя, в изменчивости (“вариативности”) самих индивидов. Она обуславливает возможность их нестандартных решений. А нестандартные решения и поступки отдельных *acteurs* могут стимулировать и появление новых общегрупповых стереотипов. В этом смысле анализ форм индивидуального поведения, т.е. микроанализ, оказывается средством выявить зарождение и развитие глобальных изменений в обществе<sup>19</sup>. Как видим, признание принципа полимасштабности совмещается у Розенталя с представлением о том, что именно микроистория должна стать исходным моментом исторического познания. С ее помощью надеется Розенталь преодолеть и апории в анализе прошлого.

К сожалению, Розенталь не приводит в подтверждение эффективности предлагаемых им подходов каких-либо исследовательских опытов, кроме тех, которые предпринимал при создании своих общесоциологических построений Фредерик Барт – главный вдохновитель подходов Розенталя.

В этом смысле от Розенталя отличается французская итальянистка Симона Черутти, также опирающаяся на социологические работы Ф.Барта, но применяющая их к конкретному материалу из истории ремесленных корпораций в Турине 17-18 вв. Исследуя судьбы отдельных членов этих корпораций, Черутти выявляет, что мешало им долгое время считать свою принадлежность к ремеслу главным критерием своего социального статуса и что – на переломе 17 и 18 вв. – сделало это возможным. Черутти обнаруживает, что соответствующий перелом был вызван не столько возросшей экономической ролью ремесла в жизни каждого из мастеров, сколько политическими привилегиями, которые

стали возможными для некоторых из членов корпораций в это позднее время<sup>20</sup>. Сами корпорации, хотя и сохранялись, утратили всякую внутреннюю однородность. Принадлежность к ним была важна лишь в институциональном плане. Она открывала возможность приобретения муниципальных привилегий, но никак не гарантировала их. И потому стратегия поведения каждого из членов корпорации целиком определялась сложившимся внутри нее соотношением сил, личными особенностями того или иного из ее членов, конкретными особенностями его семьи, а не самим фактом вхождения в состав корпорации. Все это позволяет Черутти констатировать, что влияние социальной группы, к которой принадлежит индивид, хотя и сказывается, но, по сравнению с конфликтом интересов внутри той же группы, оно “эфемерно”<sup>21</sup>.

Соответственно, исследователю социальной истории стоит, по мнению Черутти, интересоваться прежде всего *интерпретациями*, которые дают сложившейся ситуации *отдельные* *acteurs*. Такая интерпретация всегда индивидуальна, она не обязательна соответствует “грубой реальности”. Но именно она определяет “выбор”, решение индивида, и в том числе его решение войти в ту или иную новую группу (или же остаться в уже имеющейся)<sup>22</sup>. В этом смысле, подчеркивает Черутти, группа всегда производна, она есть результат определенного *интереса* тех или иных индивидов. Понять этот интерес (как и возможные изменения в нем) – вот ключ к пониманию истории, по мнению Черутти<sup>23</sup>.

Высоко оценивает познавательные достоинства микроистории и такой влиятельный французский историк как Жак Ревель. Его привлекает в этом подходе прежде всего возможность исследовать действия самих социальных *acteurs*, их повседневную жизнь, их конкретный облик. Не обобщенный образ индивида того или иного времени, имплицитно предполагающий отождествление свойств разных индивидов, но выбор каждым из них своего варианта поведения – вот что представляется Ревелю особенно важным<sup>24</sup>. Микроисторический анализ способен, по его мнению, выявить *спектр возможностей*, открывающихся перед человеком в том или ином обществе, и тем обнаружить своеобразие всего этого общества (или по крайней мере, того или иного его слоя). Эти возможности проявляются особенно ярко в том, каким образом отдельным индивидам удается достигать *согласия* между собою, в какие *соглашения* (временные или постоянные, вербализованные или не-вербализованные) вступают они ради обеспечения социальной упорядоченности в окружающем их мире. Изучение этой стратегии индивидов есть, по мнению Ревеля, один из важнейших способов понять, как вообще “конструируется” социальное целое и как оно преобразуется при смене индивидуальных приоритетов<sup>25</sup>.

Говоря об этом конструировании социального контекста, Ревель видит суть микроисторического подхода в том, чтобы “перевернуть

наиболее распространенный у историков подход, когда исследователь в своем анализе отталкивается от глобального контекста, полностью определяющего место текста и его интерпретацию, и начинать, напротив, с собирания воедино множества отдельных текстов, которые необходимы как для идентификации каждого из них, так и для понимания рассматриваемых поступков<sup>26</sup>

Основываясь на микроанализе, историк, замечает Ревель, способен раскрыть социальную практику прошлого и рассказать о ней наиболее выпукло и аргументировано. Именно последовательное повествование, полагает он, позволяет историку яснее всего показать, как и почему тот или иной индивид избирает свой вариант интерпретации групповых установок и как воспринимают такой поступок окружающие. Повествование – рассказ – оказывается здесь средством описания конкретных жизненных ситуаций и, имплицитно, способом посильного осмысления прошлого. Соответственно, в таком рассказе находится место и для событий – “случайных” и не случайных, политических и личностных, – и вообще для феноменов “короткого времени”. Ведь именно через них реализуется взаимодействие непосредственных участников исторического процесса. В нынешнем обращении к жанру рассказа Ревель видит поэтому не возвращение к отвергнутой еще Марком Блоком и Люсьеном Февром так наз. “рассказывающей истории”, но использование ее неустаревавших в прошлом ресурсов<sup>27</sup>.

Разделяя таким образом ряд общих для сторонников микроистории методологических установок, Ревель в то же время подчеркивает несогласие с некоторыми трактовками задач и возможностей микроанализа, предлагаемыми отдельными из его французских и зарубежных коллег (С.Черутти, А.Розенталем, М.Грибауди, К.Гинзбургом и др.).

В первую очередь, Ревель возражает против абсолютизации этого метода. “Преимущества микроанализа не кажутся мне безусловными”. “Не существует вопроса об альтернативном выборе между двумя версиями исторической реальности, связанными с “макро” и “микроанализом”... Истинны и первая и вторая”. Для успеха в историческом познании важен не выбор крупного или мелкого масштаба, но “принцип его изменения” и соответственно, сочетание разных исследовательских версий<sup>28</sup>.

Все подобные высказывания характеризуют Ревеля как сторонника теснейшей взаимосвязи микро и макроподходов, каковые – оба – имеют по его мысли одну общую цель: более глубокое понимание “глобальной истории”. При этом анализ индивида и индивидуальных действий возможен, с его точки зрения (и в этом он отличается от ряда своих коллег), не только там и тогда, где и когда применяется микроанализ. “В принципе ничто не мешает поставить повествовательно-познавательные проблемы на макроисторическом уровне... Нет ни разрыва (hiatus),

ни в еще меньшей мере противостояния локального и глобального. Ибо опыт индивида или группы выражает лишь *частную модуляцию* глобальной истории: каждый индивид одновременно участвует – прямо или опосредованно – в процессах разных масштабов и разных уровней, от самого низкого до самого глобального”<sup>29</sup>.

Замечу в связи с этими тезисами Ревеля, что они сформулированы на основе обсуждения конкретных исследований Д.Леви, С.Черутти и некоторых других авторов, которые, как подчеркивает сам Ревель, видят возможности микроистории существенно *иначе* чем он сам. Иными словами, его собственная точка зрения не подтверждена пока что ни его личным опытом, ни опытом других исследователей. Я был бы рад поверить, что “в *принципе*” “ничто не мешает” разглядеть действия индивида и при макроисторическом подходе. Но как этого достичь? Исключительную сложность этого вопроса признает и сам Ревель, когда в более поздней работе называет его “открытым”, нерешенным<sup>30</sup>.

На сегодня мне представляется более аргументированным иной тезис Ревеля: образ социальной реальности, представляемый микроисторией, “не есть уменьшенная (или частичная, или урезанная) версия макроисторического видения, но *другой* ее образ”<sup>31</sup>. Если это так, то не следует ли отсюда, что микроанализ открывает перед исследователем возможность еще одного *-иного-* видения прошлого?... Ревель как будто бы согласен с этим, хотя, как мне кажется, остается в этом пункте не до конца последовательным. Это видно, в частности, из его трактовки широко используемого в микроистории понятия “исключительное нормальное”.

Введенное итальянцем Эдуардо Гренди еще в 1977 г., оно фигурирует в том или ином истолковании у всех адептов микроистории. Сам Гренди подразумевал под ним такие, зафиксированные в источниках, ситуации, которые – именно в силу своей предельной обычности – не замечались (и не описывались) современниками во всех иных случаях<sup>32</sup>. Примерно то же отмечал поначалу и Карло Гинзбург, когда писал, что “самые невероятные документы” являются “потенциально наиболее богатыми” и составляют “нормальное исключение”<sup>33</sup>. Позднее, Гинзбург стал подчеркивать, кроме того, что данное понятие характеризует наиболее знаменательное *отклонение* от стереотипа. Иными словами, Гинзбург предложил видеть в нем выражение некоей отличительной черты данного индивидуального казуса и данного индивида.

Ревель не принял этого истолкования, полагая, что Гинзбург не определил, *от чего именно* отклонением является рассматриваемый казус<sup>34</sup>. Не нашли полной поддержки Ревеля и трактовки Фр.Барта, Э.Гренди и Дж.Леви, П.Розенталья. Исходя из представления о неполной интегрированности общества, эти авторы считают неизбежным существова-

ние в его “разъемах” нестандартных феноменов, которые, тем не менее, по-своему выражают своеобразие эпохи<sup>35</sup>. Как писал Леви, “микроистория не намерена жертвовать познанием индивидуального ради обобщения. Более того, в центре ее интересов – поступки личностей или единичные события... Перед микроисторией стоит альтернатива: принести в жертву индивидуальное ради обобщения или – наоборот – застыть перед неповторимостью индивидуального... Задача как раз в том и состоит, чтобы разработать парадигму, в центре которой было бы такое познание *индивидуального*, которое не отбрасывало бы формальное описание и *научное познание* даже индивидуального”<sup>36</sup>. В отличие от этой формулы, Ревель подчеркивает: “Методологический индивидуализм имеет свои границы, поскольку *в конечном счете* задача состоит в том, чтобы выяснить правила устройства и функционирования *социального целого*”<sup>37</sup>.

Казалось бы, различие здесь лишь в нюансах. Но это – нюансы немаловажные. *Сумеет ли мы увидеть всю напряженность отношений между стереотипным и индивидуальным в истории, если разрешим себе считать заведомо приоритетным что-либо одно из них?* Этот вопрос заслуживает специального внимания, и я кратко остановлюсь на нем, прежде чем продолжать обзор коллизии макро и микроподходов в современной французской историографии.

Замечу для начала, что я далек от того, чтобы недооценивать какой бы то ни было из этих двух аспектов познания прошлого. Без внимания к глобальному невозможно осмыслить индивидуальное. И не только потому, что всякая индивидуальность может быть обнаружена лишь на фоне массового и стереотипного. Без сильной характеристики глобальности (и ее изменения) вообще немислимо какое бы то ни было рассмотрение прошлого. Ведь как бы мы ни пытались замкнуться в рамках любого индивидуального казуса, любая попытка его осмысления потребует “соизмерить” его с окружающим миром и с предшествующими и последующими (аналогичными, или наоборот, отличными от него) социальными явлениями. Иными словами, необходим некоторый понятийный “инструментарий”, позволяющий “подняться” над данным индивидуальным казусом. Этого можно достичь только на основе осознанного (или неосознанного) обращения к массовому материалу, т.е. с учетом некоторой исторической глобальности. Иными словами, любая попытка замкнуться в “микроисторическом” изучении отдельных казусов означала бы конец истории как способа *осмысления* прошлого.

Но на мой взгляд, для историка столь же значима и обратная установка: *посильно уразуметь (осмыслить) глобальное можно только с учетом того, что реализоваться оно может лишь в индивидуальном*. Ведь историк имеет дело с живыми людьми и без уяснения их созна-

тельного (или объективно складывающегося) вмешательства в ход событий – “вмешательства”, которое реализуется в ходе действий *индивидов* – осмыслить историю не представляется мне возможным. И дело не только в способности конкретных индивидов, участвующих в событиях и процессах, наложить на них свой отпечаток и придать, казалось бы, однородным историческим явлениям, большую или меньшую непохожесть. Приоритетное внимание к “устройству и функционированию социального целого” (т.е. то, что, как мы видели, предлагает Ревель) уводит исследователя вообще в другую науку, ту в которой разрабатываются теоретические *возможности* социальной динамики. Своеобразие же истории – в осмыслении *реальной социальной практики* прошлого. Ее опыт не раскрывается только через массовое и повторяющееся. Подчас он ярче всего “манифестируется” как раз через уникальное и индивидуальное<sup>38</sup>. Вправе ли историк в таком случае постулировать заведомый приоритет своего интереса к социальной целостности над индивидуальным<sup>39</sup>?

Столкновение массового (и стереотипного) с индивидуальным – едва ли не главный исток конфликтов в реальных человеческих взаимоотношениях. Исследование этого столкновения предполагает потребность в параллельном анализе обоих этих аспектов. Однако их драматическое противостояние обуславливает крайнюю сложность их сочленения и, более того, ставит под сомнение самую его возможность. Напряженность отношений между стереотипным и индивидуальным в истории требует для их осмысления более чем взвешенного подхода к рассмотрению обеих этих сторон прошлого и не терпит априорного признания приоритета за какой бы то ни было из них.

Над осмыслением коллизии между этими двумя сторонами прошлого бьются как известно многие поколения исследователей. Одна из дискуссий по этой проблематике, дискуссий, имеющих особенно тесную связь с проблемой микро и макроподходов, связана со спорами о соотношении индивида и группы в обществе. Это – одна из глобальных проблем для всех социальных наук. Не задаваясь здесь естественно целью рассматривать обсуждение этой проблемы в целом, отмечу лишь некоторые наиболее актуальные для микроисторического подхода суждения, высказываемые в современной французской историографии.

Почти все контroversы формулируются здесь в той или иной связи с концепцией известного французского социолога Эмиля Дюркгейма. В первую очередь дискутируется тезис Дюркгейма об основополагающей роли в социальном устройстве *порядка социальной группы и, конкретно, профессиональной корпорации*. Как писал Дюркгейм, “человеческие страсти успокаиваются только перед лицом нравственной силы, которую они уважают... Только социальный образец может воспрепятствовать злоупотреблению силой... Этот способ адаптации \ ин-



дивид\ становится правилом поведения только тогда, когда группа освящает его своим авторитетом... Роль группы *не ограничивается* просто возведением в ранг повелительных предписаний самых общих результатов отдельных договоров; она активно и положительно вмешивается в создание всякого образца... Ни политическое общество в целом, ни государство, очевидно, не в состоянии справиться с этой функцией... Единственная группа, которая бы соответствовала этим условиям, - это ... профессиональная\ групп\а\”<sup>40</sup>. Столь же категорично высказывался Дюркгейм в другом месте: “Несомненно, повсюду, где образуется группа, образуется также и нравственная дисциплина. Но группа - это не только нравственный авторитет, который управляет жизнью ее членов; это также источник жизни *sui generis*. Из нее исходит тепло, согревающее и воодушевляющее сердца, влекущее их друг к другу, растапливающее лед эгоизма”<sup>41</sup>.

Как известно, идеи Дюркгейма явились одним из источников исторической концепции основателей “Анналов”. Они же легли в основу понятия ментальностей, как систем образов и представлений, руководящих поведением социальных групп в каждую из исторических эпох<sup>42</sup>. Основываясь, в частности, на этой концепции, историки считали необходимым и оправданным уделять первостепенное внимание *групповым* ментальностям, *массовому* поведению и вообще *надьиндивидуальным* феноменам. Макроподходы французских историков имеют в этом смысле достаточно тесную связь с идеями Дюркгейма.

Критика концепции Дюркгейма имеет давнюю и длинную историю. Ограничусь здесь упоминанием лишь одной из наиболее резко противостоящей ей точек зрения, принадлежащей американскому социологу Е. Гофману<sup>43</sup>. По его мнению, групповые предписания индивиду - члену группы не идут в сравнение по своей силе с конкретными межличностными контактами *внутри* группы; в ходе именно таких контактов, складывающихся в зависимости от той или иной *ситуации*, определяется поведение индивида. Поэтому, по Э.Гофману, человек зависит от ситуации больше, чем от принадлежности к своей группе.

Можно было бы подумать, что акцент на роли, которую играет “прагматическая ситуация” в определении “стратегии индивида”, часто присутствующий в концепциях современных французских микроисториков, заимствован у Э.Гофмана. В действительности однако, формирование взглядов адептов этого направления проходило под более сложным перекрестным воздействием ряда социологических теорий. Влияние одной из таких теорий, разрабатываемых в течение ряда лет французами Люком Болтански и Лораном Тевено, признают многие французские историки, включая и Лепти, и Ревеля, и Черутти и др.

В ряде своих основных положений Болтански и Тевено прямо противостоят Дюркгейму. Если последний исходил из того, что “аномию”

(“беззаконие”) в обществе способны предотвратить только группы, а не индивиды, то Болтански и Тевено выдвигают совершенно иной тезис. По их мнению с этой задачей можно справиться прежде всего на основе *внутригрупповых* междивидных соглашений<sup>44</sup>. Именно внутри этих полюбовных соглашений легче всего договориться о легитимизации личностных притязаний, то есть достичь такого согласия, при котором договаривающиеся стороны считали бы его справедливым. Таковому *согласию* (association) достигаемого компромисса Болтански и Тевено придают исключительное значение, видя в нем условие прочности складывающихся межличностных соглашений и залог стабильности и порядка в обществе.

Формы этого согласия, отмечают Болтански и Тевено, различны в разных обществах и в разных ситуациях. Но повсюду индивиды, вступающие в соглашения друг с другом, вынуждены в той или иной мере абстрагироваться от своих “частных свойств” (particularités) ради достижения обоюдного согласия. (Болтански и Тевено называют это “вышедшим общим принципом”). Исходя прежде всего из этой возможности для индивида преодолеть определенные свои частные свойства, *оставшаяся в то же время самой собой*, наши авторы делают вывод о “*кажущемся*” характере антиномии индивидуального и группового и соответственно о возможности непротиворечивого сочетания двух основных систем их истолкования - той, что отправляется от приоритета индивида и той, что кладет во главу угла массовые, групповые стереотипы<sup>45</sup>. А чтобы выявить, как именно заключаются внутригрупповые соглашения между отдельными людьми (и между складывающимися “состояниями вещей”), Болтански и Тевено считают необходимым уделять специальное внимание исследованию “*ситуаций*”. Именно эти ситуации считают они вообще главным предметом своего анализа<sup>46</sup>.

Эта концепция Болтански и Тевено (последний из соавторов вошел ныне в состав редакционного комитета Анналов) воспринята современными французскими микроисториками по крайней мере в той ее части, которая предполагает отказ от ряда основных дюркгеймовских подходов. Мне представляется, что именно под влиянием в первую очередь этой концепции происходит изменение в среде французских историков отношения к роли групповых ментальностей и резкое увеличение интереса к *отдельному индивиду*<sup>47</sup>. Во всяком случае, взгляды по этому вопросу Пьера Бурдьё и Роже Шартье (склонных, как известно, подчеркивать скованность индивидуального выбора групповыми императивами) не находят поддержки в среде сторонников микроистории. Все это подтверждает, что увлечение микроисторией предполагает для французской историографии весьма серьезный методологический сдвиг.

Насколько глубоко затронул этот сдвиг сферу конкретных исследований? Как мне уже приходилось отмечать, свидетельств осознанного перехода на позиции микроистории в современной французской историографии практически нет<sup>48</sup>. Приводившиеся выше высказывания французских историков-теоретиков о преимуществах этого подхода не встречают эксплицитного отклика. Тем интереснее, что фактическое изменение в приемах и проблематике французских исследований в последние десятилетия и особенно в 90-е годы выявляет явный курс на микроисторический анализ и, что особенно симптоматично - на изучение социальной практики индивида.

Убедиться в этом, можно присмотревшись к перестройке таких известных во Франции историографических направлений как историческая антропология, историческая демография, социальная история. Во всех них более или менее ясно просматривается сдвиг в сторону изучения феноменов "короткого времени" (а не *longue durée*), в сторону анализа того, как конкретные индивиды *интерпретируют* групповые нормы поведения в своей повседневной практике (а не на расширение сведений о групповых нормах как таковых), в сторону характеристики того, как воспринимается "общественным мнением" нарушение отдельным индивидом поведенческих стереотипов. Соответственно всему этому предмет историка как бы "умельчается", а видение самого предмета укрупняется<sup>49</sup>. Не удивительно, что получают распространение, на первый взгляд, достаточно узкие историко-культурные и культурно-политические темы, в трактовке которых проступает однако весьма широкий подтекст.

Пожалуй одним из особенно ярких примеров такой переориентировки исторического анализа могли бы служить работы известного французского ученого Жоржа Дюби (недавно скончавшегося в зените своей славы). Издавна признавая важность исследования отдельных персонажей истории и того, какую меру свободы оставляли каждому из них групповые стереотипы, Дюби долгое время исходил, тем не менее, из того, что при углублении в отдаленное прошлое "добраться" до конкретной личности практически невозможно: она как бы исчезает в безликой массе<sup>50</sup>. Это побуждало Дюби ограничиваться выявлением того, какие именно поведенческие *стереотипы* проступали сквозь индивидуальное поведение конкретного персонажа, будь-то монах Рауль Глабер, рыцарь Гийом Марешаль или король Филипп I.

Отличие последней работы Дюби "Дамы XII в." (увидевшей свет в 1995-1996 г.)<sup>51</sup>, - в "переворачивании" этой постановки проблемы. Дюби привлекает внимание читателя к тому, насколько нестандартным, *из ряда вон выходящим* было поведение таких широко известных фигур средневековой истории как Элеонора Аквитанская, воспетая Абельаром Элоиза, легендарная Изольда - возлюбленная Тристана, евангель-

ская Мария-Магдалина или же гораздо менее знаменитых - Иветты из городка Юи во Фландрии, редко вспоминаемых героинь Кретьена де Труа Фенис (дочери императора Александра) и Дорэдамур (сестры Говена). Именно сквозь необычные, - то шокирующие, то восхищающие современников - поступки этих персонажей пытается Дюби осмыслить возможные варианты поведения женщины в обществе XII в. и самое это общество.

Дюби круто изменяет здесь самый сюжет исторического исследования. Вместо традиционного анализа "положения женщины", он переносит центр тяжести на анализ возможностей, которые открывались тогда перед той или иной женщиной. Особенно же привлекает его внимание реакция окружающих на нестандартное поведение отдельных из них. Таким образом, вместо логического подчинения казуального массовому, автор сосредоточивает внимание на *уникальности казуального* и на его познавательной роли. Тем самым читатель как бы приглашается размышлять о возможности для индивида того или иного общества отклониться от стереотипа, уйти от принятого поведенческого стандарта и о последствиях этого для самого стандарта.

Может быть, еще поучительнее изменение в дискурсе другого мэтра французской исторической науки - Жака Ле Гоффа. Его давний интерес к "очеловеченной" истории не нуждается в доказательствах<sup>52</sup>. Как однако понимал он в прежние годы смысл такого "очеловечивания"? Это видно например из концепции книги "Средневековый человек", изданной под его редакцией в 1987 г.<sup>53</sup>. Представлявшаяся еще совсем недавно последним словом науки, эта работа (сохраняющая несомненную ценность и сегодня), ориентированна на выявление *типов* человека в средневековье. "Монахи", "воины", "горожане", "интеллектуалы", "купцы", "женщины" - вот типаж, обрисовываемые в этом труде. Все они неслучайно фигурируют во множественном числе. И Ле Гоффу, и его соавторам было важно в каждом из разделов показать некую *коллективную личность* (т.е. то, что объединяло людей каждой из этих категорий), стирая подчас их индивидуальные различия. Анонимность характеристик оказывалась в этой работе порой не только *вынужденной*, но и *преднамеренной*.

В этом подходе безусловно был свой смысл. Ведь человек каждой из анализируемых категорий действительно обладал рядом общих признаков, так же как имели свои характерные черты вообще все воплощения средневекового человека<sup>54</sup>. Надо ли однако говорить, что идя таким путем, исследователь может осмыслить лишь *обобщенный* образ индивида того или иного времени. Важный для понимания среднего, рутинного, повторяющегося, такой образ не позволяет однако представить неординарное, особенное, из ряда вон выходящее. Но мыслима ли история и культура в рамках заурядного?..



Новая капитальная работа Ле Гоффа, опубликованная в 1996 г. - "Людовик Святой"<sup>55</sup> - как бы отвечает на поставленный вопрос. В центре внимания здесь история выдающегося правителя и короля, история явно незаурядного индивида. Поэтому автор интересуется далеко не только тем, что свойственно Людовику IX, как и всякому человеку средневековья. Книга не ограничивается и стандартным для королевских биографий описанием деяний "великого" человека. Как говорит сам Ле Гофф, его работа - не "История Людовика Святого и его времени", и не "История Франции времен Людовика Святого", но история человека по имени Людовик, его индивидуальности, его "Я", его сложности и даже загадочности<sup>56</sup>. Насколько широко мог он пользоваться свободой при выборе решений - он, король, связанный и обычными стереотипами своего времени, и многочисленными политическими традициями? В какой мере сознавал он эту свою связанность и насколько считал возможным пренебрегать ею? Был ли он личностью со своей неповторимой индивидуальностью? Каково было его самосознание?

Задаваясь всеми этим вопросами, Ле Гофф хотел бы использовать образ Людовика не только как призму, сквозь которую можно увидеть обычные черты эпохи. Уникальность фигуры Людовика служит Ле Гоффу средством понять внутреннюю напряженность того времени, столкновение в человеке рутинного и нестандартного, возможность для незаурядного персонажа выйти за рамки общепринятого. Суммируя результаты своего анализа, Ле Гофф заключает, что судя по казусу Людовика Святого, у французов XIII в. все более явно формировалось "внутреннее Я человека", "диалектически взаимодействовавшее" с императивами данной социальной группы и все более "сильно заявлявшее о себе как таковом". Поэтому, полагает Ле Гофф, индивида XIII в. можно было бы представить себе как некую "смесь" "внутреннего Я" и черт индивида, свойственных новому времени<sup>57</sup>.

Здесь не место обсуждать доказательность суждений Ле Гоффа. Как бы к ним не относиться, ясно, что новая работа этого историка выражает собой немаловажное изменение исследовательского ракурса. Акцент в ней - не на общепринятом и массовом (и не на излюбленном Пьером Бурдьё - давнем властителе дум у анналистов - понятии *habitus* как "стиля эпохи")<sup>58</sup>, но на индивидуальном и уникальном, на познавательных возможностях, которые открывает исследование отдельного казуса, такого казуса, который может оказаться *самодостаточной тотальностью*.

Пожалуй, не менее яркими образчиками современной переориентировки исторического анализа могут служить работы американских исследователей Франции XVII-XVIII вв. - Натали Земон Девис и Роберта Дарнтон<sup>59</sup>. Первая из них всю свою последнюю книгу постро-

ла в виде рассказа о трех конкретных женщинах, одна из которых немецкая католичка, другая - нидерландская протестантка, а третья - иудейка из Гамбурга. И именно через анализ восприятия мира этими "нестандартными женщинами" (таков титул книги), Девис стремится показать, как интерпретировались принятые в окружающей их среде основные жизненные стереотипы. Уникальное и здесь работает как средство осмыслить сущностное и как самодостаточная тотальность.

Примерно то же можно сказать о работе Дарнтон, сопоставляющего экстраординарные, с нашей точки зрения, взгляды на обыденные мужские взаимоотношения во Франции XVIII в. двух совершенно непохожих людей - стекольщика Жака-Луи Менетра и Жан-Жака Руссо. И снова анализ того, как именно интерпретировали два эти человека общежитские нормы, позволяет исследователю предложить оригинальное осмысление такого важного социального понятия как братство, которое не могло бы быть вскрыто при любой иной парадигме исследования.

Не буду останавливаться на других образчиках современных работ<sup>60</sup>, в которых отдельный индивид (или отдельный казус) выступает как некая *призма*, способная выявить те или иные неповторимые черты своего времени. В той или иной мере все они, на мой взгляд, подтверждают описанный выше "вектор" в развитии современной французской историографии. Пусть он - этот вектор - не единственный из тех, что характерны для нее. В нем тем не менее выражены черты, обнаруживающиеся сегодня едва ли не во всей европейской науке.

После всего сказанного выше, мне остается не так много добавить для ответа на поставленный в начале доклада вопрос о том, что собственно составляет *differentia specifica* французской микроистории.

Как я пытался показать, французские историки все чаще стремятся осмыслить, как виделось прошлое отдельному конкретному индивиду. Это отнюдь не обязательно ведет к подмене таким видением любого иного (в том числе более "типичного" и часто встречающегося). На мой взгляд, внимание исследователей к многообразию или даже к экзотичности отдельных индивидуальных видений открывает возможность более многопланового, то есть *менее однозначного* понимания прошлого. "Человеческая составляющая" истории выступает здесь не только в своем "усредненном" виде, но в максимально развернутом варианте. Индивид перестает выглядеть пассивным исполнителем предписанных извне норм. Он активно участвует в их интерпретации и, следовательно, изменении. При таком подходе индивид выступает и как микрообъект, и как *некая тотальность*, способная - в известных пределах - раскрыть свое время. В этом смысле данный подход как бы сочетает - *хотя и не сливает!* - анализ индивидуального и массового.

На мой взгляд, опыт французской микроистории важен и с точки зре-

ния того, насколько преодолима коллизия микро и макроистории. Как я пытался показать, противостояние этих двух видений прошлого носит по-своему драматический характер. Различна самая природа познавательных процедур, реализуемых в этих двух подходах. Это препятствует любой форме их механического слияния. Речь может идти лишь о таком их соединении, при котором каждый из них сохраняет свою автономию, хотя и взаимосвязан с противостоящим ему. Знания, полученные с помощью одного из этих подходов, существенны для другого и могут повлиять и на выбор исследовательской процедуры, и на содержание получаемых результатов. Но каждый из них, повторю, автономен по своим приемам и назначению.

Такого рода сочетание исследовательских подходов отчасти напоминает сочетание некоторых форм получения информации в квантовой механике, открытое в 1927 г. физиком Нильсом Бором и названное им "принципом дополнительности". Идея применения "своего рода *дополнительности*" к исследовательским методам в истории уже была в другой связи высказана Л.М.Баткиным<sup>61</sup>. Развивая эту идею, я решил бы трактовать соотношение микро и макроистории в этом же ключе и констатировать, что, *хотя коллизия между данными подходами не может быть преодолена, они соединены друг с другом по принципу дополнительности*.

С этой точки зрения микроистория оказывается одним из составных элементов нового видения прошлого. Она помогает осмыслить в высшей степени сложный облик изучаемых историком социальных структур, помогает увидеть не только то, что создает их целостность, но и то, что обуславливает неустранимую неполноту их интегрированности. Могущественное – но не всемогущее! – средство исторического познания, микроистория обнажает таким образом неслиянность двух дополняющих друг друга (но не смешивающихся!) видений прошлого, того, которое базируется на индивидуальности и неповторимости любого предмета исторического анализа, и того, которое претендует на рассмотрение социальных объектов "в их ряду" и повторяемости<sup>62</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> J.L. Fabiani. Compte rendu // Annales 1998 N 2 P.444; E. Grendi. Ripensare la microstoria // Quaderni storici 1994 N86 P. 539 (русский перевод: "Казус – 1996. С. 291 и след.); C. Ginzburg. Mikro-Historie...// Historische Anthropologie, 1993, S.169 (русский перевод: "Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207 и след.)etc.

<sup>2</sup> Giovanni Levi. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing. Oxford, 1991. P. 110; русский перевод: (с некоторыми неточностями): Совре-

менные методы преподавания новейшей истории, Европейский Университет – Фонд Фельтринелли, М., 1996, с. 182.

<sup>3</sup> Paul-André Rosental. Construire le "macro" par le "micro" // Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience. P., 1996. P. 145 ; cf. Fredric Bart. Models of Social Organisation I // Process and Form in Social Life. L., 1981, P. 34-35

<sup>4</sup> Ж.Ревель. Микроисторический анализ и конструирование социального / / Одиссей – 1996, с.115; эта мысль формулировалась Ревелем в одном из ранних французских вариантов цитируемой статьи еще резче: он считал нужным говорить о "вызове" (le pari) микроистории; (имею в виду доклад Ревеля в РГГУ 7 сентября 1994 г.).

<sup>5</sup> Fabiani. Op. Cit. P. 446; Гренди. Цит. соч. С. 292; Гинзбург. Цит соч., С.207, 215.

<sup>6</sup> "Историческое знание прирастает не на основе обобщений, но, если позволительно говорить об этом, используя лексику фотографа, через изменение положения объектива и величины фокусного расстояния" (цитирую известную редакционную статью "Анналов" за 1989 г.-Histoire et sciences sociales : un tournant critique. Tentons l'expérience. // Annales, 1989, N6. P.1321.

<sup>7</sup> Bernard Lepetit. Histoire des pratiques, pratique de l'histoire // Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale sous la direction de Bernard Lepetit. P., 1995, P. 9-22. Более подробную библиографию работ о "другой социальной истории" см. в моей статье "Что за казус?" // Казус-1996.

<sup>8</sup> Анализ этой концепции дан недавно в статье английского историка Джонса (G. S. Jones. Historiographie française, historiographie anglaise. Une autre histoire sociale? // Annales. HSS 1998, N 2), а также в редакционной реплике Анналов к этой статье (Annales. HSS, 1998, N 2).

<sup>9</sup> См. особенно в статье Лепети L'histoire prend-elle les acteurs au sérieux ? // EspacesTemps, 1995, P. 113 et suiv. Термин acteurs не всегда оправданно понимать лишь как простой синоним термина "участники" событий и процессов. Он часто несет на себе следы литературоведческой традиции его первоначального использования, когда он сам и его английский омоним "actor" использовались в контексте обсуждения теоретической функции персонажа или даже абстрактного выражения функциональной сущности персонажа в так называемой "новой критике" (см. Терминология современного зарубежного литературоведения, вып. 1, М., 1992, с.16). Соответственно, под понятием acteurs в той или иной мере подразумеваются не только реальные участники исторических процессов, но и - символически – выполняемые ими индивидуальные функции.

<sup>10</sup> B. Lepetit. De l'échelle en histoire // Jeux d'échelle sous la dir. Jacques Revel. P. 1996, P. 91

<sup>11</sup> B. Lepetit. Le présent de l'histoire // Les formes...P.282-288.

<sup>12</sup> "Что за казус?"...С.24; это отмечает и Jones. Op. Cit. P. 391.

<sup>13</sup> Annales HSS, 1998, N2, P. 393.

<sup>14</sup> Paul-André Rosental. Construire le "macro" par le "micro", P. 145 et suiv. По-

зенталь опирается в этих утверждениях на концепцию известного норвежского социолога Фредерика Барта, использовавшего в качестве основы для ее создания конкретно социологические исследования поведения рыбаков при выборе морских участков для промысла рыбы.

<sup>15</sup> Ibid. P.146-147

<sup>16</sup> Ibid. P.148-149

<sup>17</sup> Ibid. P.141-142

<sup>18</sup> Ibid. P.145 et suiv.

<sup>19</sup> Ibid. P.155-157. Эту же идею развивают Б.Лепти, Жан-Ив Гренье, С.Черутти. Особенно подробно пишет о возможности на основе такого анализа резко усилить исторический подход к общественным феноменам Бернар Лепти, который даже говорит в связи с этим о *tournant historique dans les sciences sociales* (см. интервью, которое Лепти и Гренье дали мне в октябре 1994 г. - *A proposito delle nuove "Annales"* // *Rivista di Storia della Storiografia Moderna*, Roma, 1995, n 3, p.133).

<sup>20</sup> Simona Cerutti. *Processus et expérience : individus, groupes et identités à Tourin , au XYII siècle // Jeux d'échelles ...* P.163-164; 178-182

<sup>21</sup> Ibid. P. 183-185

<sup>22</sup> Ibid. P. 167 et suiv.

<sup>23</sup> Ibid. P. 170-173.

<sup>24</sup> J. Revel. *Présentation // Les échelles...* P. 10. Ж.Ревель. Цит.соч. С. 125.

<sup>25</sup> J.Revel . *L'institution et le social // Les formes...*, P. 79 et suiv.; *Présentation...* P. 12-13 ; Ж. Ревель. Цит.соч. С.115-116, 125. Как видим, и Ревель придает особое значение возможности проследить, как возникают и происходят изменения в поведении индивидов, т.е. тому, о чем писали Лепти и Гренье.

<sup>26</sup> Ж.Ревель. Цит. соч. С.117

<sup>27</sup> J. Revel. *Ressources narratives et connaissance historique // Enquête. Anthropologie, histoire, sociologie. Marseille, 1995,N 1.* P. 66-70.

<sup>28</sup> Ж. Ревель. Цит. соч., с.113,117-118,119,121,125. Внешне этот тезис Ревеля как бы совпадает с принципом "полимасштабности", выдвигаемым и Розенталем. Однако последний исходит из возможности прийти к сочетанию микро и макроподходов, отправляясь именно от микроаналитических процедур, тогда как Ревель исходит из равенства возможностей обоих подходов.

<sup>29</sup> J. Revel. *Micro-analyse et reconstruction du social // Colloque " Anthropologie contemporaine et anthropologie historique "* P. 1993. P.30.

<sup>30</sup> J. Revel. *Présentation. P. 10*

<sup>31</sup> Ж. Ревель. Цит. соч. С.118.

<sup>32</sup> Э. Гренди Цит. соч. С. 296

<sup>33</sup> К. Гинзбург. Цит. соч. С. 227

<sup>34</sup> Ж. Ревель. Цит. соч. С. 122

<sup>35</sup> Fr. Bart. *Op.cit.*; P.- A. Rosental. *Op. Cit.* P. 155-157 ; Э.Гренди.Цит. соч. С.293; Дж.Леви. Цит.соч. С.182-184.

<sup>36</sup> Дж. Леви. Цит. соч. С. 184

<sup>37</sup> Ж. Ревель. Цит. соч. С. 115

<sup>38</sup> См. об этом , в частности, мою статью "Что за казус?" и мое выступление в дискуссии "Споры о казусе" – *Казус-1996*, С. 317

<sup>39</sup> Как отмечал в свое время Л.М.Баткин , два основных способа изучать историю культуру - один, ориентированный на исследование общего, сходного, инвариантного, а другой - на осмысление неповторимого, индивидуально-го - эти два подхода, находящиеся в отношениях своеобразной дополнительности, могут как-то сочетаться; "сочетаться но не смешиваться!" (Л.М.Баткин. Два способа изучать историю культуры. // *Вопросы философии*, 1986. №12.

<sup>40</sup> Эмиль Дюркгейм . *О разделении общественного труда .* М., 1996. С. 7-10

<sup>41</sup> Там же. С. 32

<sup>42</sup> См. Ж.Дюби. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 г. // *Одиссей -1991. С.52.*

<sup>43</sup> E. Goffman. *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis, 1961, P. 41*

<sup>44</sup> Luc Boltanski, Laurent Thévenot. *De la Justification. P. 1991. P. 42 et suiv.*

<sup>45</sup> Ibid., P.42 : " Notre démarche vise à faire voir des éléments de similitude sous l'apparente irréductibilité de l'opposition méthodologique précédente (particulièrement contrastée lorsqu'elle est exprimée dans l'antinomie " individuel " / " collectif " ) etc.

<sup>46</sup> Ibid. P. 11. Строго говоря под понятием ситуации Болтански и Тевено подразумевают "отношение между состояниями, в которых находятся те или иные персонажи, и состояниями, в которых находятся те или иные вещественные явления". По мнению авторов именно таковые состояния заслуживают гораздо большего внимания, чем индивиды, группы или же персонажи как таковые(там же).

<sup>47</sup> Идеи и подходы Болтански и Тевено используются в работах едва ли не всех ведущих сторонников микроистории во Франции – Б.Лепти, Ж.И.Гренье, Ж. Ревеля, С.Черутти, А.Буро. Убедиться в этом можно, познакомившись, например, с научным аппаратом цитировавшейся выше коллективной работы " *Les formes de l'expérience* ".

<sup>48</sup> Ю. Л. Бессмертный. *Как писать историю?* М.,1998. С.3-4.

<sup>49</sup> Там же С. 8

<sup>50</sup> G. Duby. *Le Moyen Age. Entretiens avec A. Casanova // La Nouvelle Critique*, P., 1970.

<sup>51</sup> *Dames du XII siècle, t. 1- 3. P., 1995-1996 .*

<sup>52</sup> См. например его давнюю статью *Is Politics still the backbone of History? / Daedalus*, 1971 (русский перевод: "Тезис", 1994, № 4.

<sup>53</sup> *L'uomo medievale*, Roma, 1987.

<sup>54</sup> См. об этом вводную главу Ле Гоффа к книге.

<sup>55</sup> " *Saint Louis* " P., Gallimard, 1996, 976 p.

<sup>56</sup> Ibid., P.21-22.

<sup>57</sup> Ibid., P. 499 et suiv. Ле Гофф специально останавливается и на дискуссии о понимании индивида разными исследователями – от англичан Ульмана и

Морриса до нашего соотечественника А.Я.Гуревича, подчеркивая свое несогласие со всеми ними.

<sup>58</sup> Pierre Bourdieu. Espace social et pouvoir symbolique. // P. Bourdieu. Choses dites. P., 1987

<sup>59</sup> Natalie Zemon Davis. Women on the Margins. Three Seventeenth Century Lives. Cambridge, Mass. – London, 1995; Роберт Дарнтон. Братство: взгляд еретика // Одиссей – 1994 (статья публиковалась только по-русски).

<sup>60</sup> Я уже говорил о работах Черутти; см также работы: A. Blum et M. Gribaudi. Des catégories aux liens individuelles // Annales HSS, 1990, N6.

<sup>61</sup> Л.М. Баткин. Два способа изучать историю культуры // Он же. Пристрастия. Избранные эссе и статьи о культуре. М., 1994, с.44.

<sup>62</sup> Об апорийном противостоянии этих двух видений прошлого писали самые разные исследователи – и Зигмунд Кракауер, и Г.С. Кнабе, и Бернар Лепти, и Карло Гинзбург, и Жан-Ив Гренье и др. Исключает ли однако противостояние этих видений возможность их *параллельного* использования в качестве не сливающихся между собой, но дополняющих друг друга способов изучения прошлого? Приводившиеся выше суждения по этому поводу, с одной стороны, Л.М.Баткина, а с другой – Л.Болтански и Л. Тевено как будто бы подтверждают такую возможность.

*Л.П.Репина*

## КОМБИНАЦИЯ МИКРО- И МАКРОПОДХОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: НЕСКОЛЬКО КАЗУСОВ И ОПЫТ ИХ ПРОЧТЕНИЯ

Всплеск интереса к микроистории в 1980-е годы был реакцией на истощение эвристического потенциала макроисторической версии социальной истории, что вызвало потребность по-новому определить ее предмет, задачи и методы, используя теоретический арсенал микроанализа, накопленный в современном обществоведении. Впрочем, вся вторая половина 70-х годов была в мировой историографии временем поиска научно-исторической альтернативы как сциентистской парадигме, опиравшейся на макросоциологические теории, так и ее постмодернистскому антиподу.

Утвердившийся в исторической литературе с подачи итальянцев термин “микроистория” в британской историографии используется гораздо реже, и вовсе не потому что там не применяются микроподходы. И в британской, и в американской историографии эти подходы получили широкое распространение и становились все более привлекательными по мере того как обнаруживалась неадекватность макроисторических выводов, ненадежность среднестатистических показателей, направленность доминирующей парадигмы на свертывание широкой панорамы исторического прошлого в узкий диапазон “ведущих тенденций”, на сведение множества вариантов исторической динамики к псевдонормативным образцам или типам. И уход на микроуровень в рамках антропологической версии социальной истории изначально подразумевал последующее возвращение к генерализации на новых основаниях, хотя и с полным осознанием тех труднопреодолимых препятствий, которые встретятся на этом “обратном” пути.<sup>1</sup>

Развитие микроподходов в британской историографии начало осуществляться в рамках новой локальной истории еще в 60-е годы, когда сохранив свое наименование по объекту исследования, она качественно изменила методологию последнего. В отличие от старой локальной истории, которая в основном поставляла необходимый иллюстративный материал для подтверждения отдельных, нередко противоположных, тезисов, выдвигаемых специалистами по национальной и региональной истории, это был совершенно новый тип локальной истории, неразрывно связанный с “новой социальной историей”, с историей со-



циальных групп, но ставящий ее в пространственно-временные рамки реального социального взаимодействия.<sup>2</sup>

В 60-е гг. новая локальная история вела интенсивную “колонизацию” всего сельско-городского континуума, последовательно замещая старые модели исторического краеведения. Методологическое переоснащение локальной истории осуществлялось на основе микросоциологических теорий и подходов. В конце 60-х годов в этой области исторических исследований стала распространяться социологическая теория обмена Дж.Хоманса, а в середине 70-х годов в истории локальных общностей начал активно применяться так называемый сетевой анализ, весьма многообещающий с точки зрения решения проблемы возвращения в историю индивида, который выпал из поля зрения исследователей, увлекшихся поисками статистических переменных.

Родовые отличия британской локальной истории от других национальных школ, например от французской локальной истории, отчетливо проявились уже к концу 60-х годов. Перспективы последней виделись в систематизации монографических исследований и создании коллективных публикаций по провинциям (то есть на вторичном - региональном уровне), а рецепт состоял в том, чтобы “ограничиться рассмотрением одной-двух проблем в одном или двух регионах” - например, брак в Шампани и т.д. Пьер Губер, в частности, писал: “Крупные провинциальные исследования, сосредоточенные на одной важной проблеме, проанализированной в большом диапазоне времени - это вероятно лучший путь для тех, кто хочет остаться верным идее локальной или провинциальной истории.”<sup>3</sup>

В британской же историографии возобладавал совершенно иной подход, основанный на максимальной детализации и индивидуализации исследовательских объектов. Этот тип интенсивного исторического анализа локальных общностей иногда определялся как “микросоциальная история”.<sup>4</sup> Но новая локальная история очень быстро и практически безраздельно стала оплотом микроаналитических исследований в британской исторической науке, и именно поэтому сделала излишним какое-либо дополнительное акцентирование их специфической методологии в самоназвании, что, впрочем, не в меньшей мере объясняется характерной приверженностью национальным традициям, которая распространяется и на классификацию исторических направлений и субдисциплин.

В 70-80-е годы появляется все больше работ, нацеленных на всестороннее изучение той или иной локальной общности как некоего микросмоса, развивающегося социального организма, на создание ее полноценной коллективной биографии. При этом внутри новой локальной истории сложились два различных исследовательских подхода. Первый отталкивается именно от “локальности”, от раскрытия внутрен-

ней организации и функционирования социальной среды в самом широком смысле этого слова, включая исторический ландшафт (“физическую реальность локального мира”) и социальную экологию человека, все многообразие человеческих общностей (неформальных и формальных групп, различных ассоциаций и корпораций) и выявляет их соотношение между собой, а также с социальными стратами, сословными группами, классами. Второй подходит к этой проблеме со стороны индивидов, составляющих ту или иную общность (при этом используется вся совокупность местных источников, фиксирующих различные аспекты деятельности индивидов), описывая жизненный путь человека от рождения до смерти через смену социальных ролей и стереотипов поведения в контексте занимаемого им жизненного пространства.

Такой тип интенсивного микросоциального анализа имел и сверхзадачу - выяснение соотношения между организацией жизни в локальной общине, которая функционирует главным образом как форма личной, естественной связи людей, и социально-классовой структурой, фиксирующей качественно иную - опосредованно-вещный характер социальных отношений. А это значит, что с самого начала был взят курс на поиски выхода из микрокосмического пространства локального социума на более высокие “орбиты”, что ориентировало на последовательную комбинацию инструментов микро- и макроанализа.<sup>5</sup>

Многочисленные локальные исследования 60-70-х годов выявили исключительное разнообразие локальных вариантов демографического, экономического и культурного развития, социальных структур и структур местного управления, но новые теоретические основания для их обобщения на региональном, а тем более на национальном уровне еще не были разработаны. Локальные историки вполне обоснованно исходили из того, что реальность человеческих связей и отношений может быть понята лишь в их субстратной среде, в рамках социальной жизни, приближенных к индивиду, на уровне, непосредственно фиксирующем повторяемость и изменчивость индивидуальных и групповых ситуаций. При этом многие историки прекрасно осознавали условный характер и искусственность вычленения изучаемого объекта из окружающего его более обширного социума. Способ повседневного существования людей устанавливает их отношения друг к другу и образует саму локальную общность, а она, в свою очередь, входит в различные контуры-подсистемы социального управления и играет важную роль в детерминации поведения образующих ее индивидов. Границы же разномасштабных социальных общностей накладываются друг на друга, пересекаясь в локальном микрокосме и даже в одном и том же индивиде.<sup>6</sup>

На рубеже 70 и 80-х годов все больше конкретных локальных иссле-

дований стали приближаться к идеальной модели, получившей признание как образец тотальной истории на микроуровне. Это исследование было направлено не просто на максимально эффективное использование разнообразных приемов анализа и фронтальную обработку данных местных архивов (налоговых описей, приходских регистров, завещаний, судебных протоколов и др.) для восстановления жизненных судеб индивидов и их межличностных взаимодействий. В целостной картине повседневной жизни местной общины они связывались через систему "региональных фильтров" с течением макропроцессов во всех сферах общественного бытия. Непременными атрибутами такого исследования стали анализ основных характеристик и экономической и демографической ситуации в целом, структуры семьи и домохозяйства, порядка и правил наследования собственности, систем родственных и соседских связей, индивидуальной и групповой социальной и географической мобильности, социальных функций полов, локальных политических структур и культурных представлений, сравнительный сетевой анализ индивидуальных и коллективных социальных контактов, анализ функционирования формальных и неформальных средств социального контроля и распределения власти и влияния внутри общины.<sup>7</sup>

В исследованиях этого типа использовалась социологическая концепция "локальной социальной системы", опирающаяся, в частности, на такие критерии, как стратегия выбора брачных партнеров в ближайшей округе, частота обращений за материальной и социальной помощью в пределах домососедства и др. Кстати, результаты анализа множества индивидуальных коммуникативных сетей в английских локальных общностях раннего нового времени, позволили констатировать высокую степень зависимости от ближайших соседей, возникшую вследствие оторванности индивида от родственной группы в эпоху резкого усиления миграционных процессов. Сети же родственных контактов очень редко оказывались плотными и обширными и при этом их интенсивность зависела скорее от темпов роста и уровня географической мобильности населения, чем от какого-либо особого качества сельского или городского социального пространства. Собранные материалы столь же однозначно свидетельствовали о том, что при безусловно первостепенном значении соседских связей в повседневной жизни локальная направленность социальной активности, как в городе, так и в деревне, отнюдь не исключала важных внешних контактов, хотя горизонты социального взаимодействия были относительно широкими лишь на вершине социальной пирамиды и значительно сужались к ее основанию. Разумеется, исследователи локальных систем, исходили прежде всего из того, что социальный статус индивида не может рассматриваться вне контекста локальных социальных общностей (деревенских

общин, городских приходов и т.д.), тем не менее, они непременно учитывали экстралокальные источники влияния и социального престижа, если таковые обнаруживались.<sup>8</sup>

Полноценный сетевой анализ применялся и в исследованиях по истории средневековой Англии, хотя и с меньшим размахом, ввиду большей фрагментарности источниковой базы. В частности, с точки зрения комбинации разных микросоциологических приемов сетевого анализа в одном исследовании, привлекает внимание книга американского медиевиста Джудит Беннет "Женщины средневековой английской деревни", основанная на изучении повседневной жизни манора Бригсток в Нортгемптоншире с 1297 по 1348 г.<sup>9</sup> С одной стороны, исследовательница провела полноценный качественный сетевой анализ, учитывающий не только плотность и интенсивность индивидуальных контактов, но также содержание и направленность межличностных коммуникаций для членов двух семейно-родственных групп, принадлежавших к верхушке крестьянской общины. А с другой стороны, был проведен количественный анализ и сравнение социальных сетей девушек, замужних женщин и вдов (из всех социальных страт) с кругами социальных взаимодействий представителей других половозрастных групп. Беннет удалось в деталях проследить изменение социального статуса женщин на разных стадиях жизненного цикла (в девичестве, в браке и после смерти партнера). Оказалось, что несмотря на меньшую активность в местной общине по сравнению с мужчинами, женщины не замыкались в сфере частной жизни, но их роль обуславливалась статусом микросоциальной группы - домохозяйства и фазой его циклического развития. Выявление всего спектра возможных вариантов позволило сделать вывод о двойственности и противоречивом характере воздействия этой естественной социальной общности на статус женщины, поскольку, задавая социальные нормы, принижающие его на определенных отрезках жизненного цикла, то же домохозяйство способствовало высвобождению социальной активности женщины, создавая многочисленные жизненные обстоятельства, в которых эти нормы отвергались самими потребностями его функционирования. Так с помощью эффективных инструментов и методов микросоциологии локально-историческое исследование корректирует обобщенные утверждения или предположения, построенные на материале нормативных или дескриптивных экстралокальных источников.

Применение социологических и антропологических моделей сетевого анализа межличностных взаимодействий дало импульс развитию контекстуальной исторической биографии, которая, опираясь на ту же сетевую концепцию социальной структуры, объясняет поведение исторического индивида или группы морфологией, плотностью и интенсивностью межличностных контактов. Биография же выстраивается как

вертикальная темпоральная последовательность горизонтальных срезов, на каждом из которых пространственно фиксируется конфигурация социальных связей индивида в соответствующий отрезок его жизненного пути. Конечно, конструируя графический образ последнего, сетевой анализ ориентируется на сравнение по сути анонимных биографий. Но он может послужить и фундаментом для настоящей биографии, здание которой достраивается уже с помощью иных познавательных инструментов. Введение в биографию качественного сетевого анализа при сохранении интереса к ее индивидуально-психологическим аспектам раскрывает перед ней новые перспективы, о которых еще будет сказано ниже.

Однако сами по себе методы микросоциологии не могли в силу своей несовместимости с макроподходами предоставить историкам готовую теоретическую конструкцию для синтеза полученных ими новых данных. Ч.Фитьян-Адамс, оценивая промежуточные итоги развития локальной истории на рубеже 80-х и 90-х годов, писал: "В результате этого длительного историографического процесса от локально-исторических исследований стали ждать не иллюстрации единства национальных процессов, а скорее свидетельства их многовариантности. Таким образом локальная история стала средством углубления нашего понимания отдельных национальных процессов на более низких, но все еще приемлемых уровнях исторического обобщения... Другими словами, академическая локальная история стала рассматриваться как respectable интеллектуальное занятие, больше из-за ее соответствия дезинтегрированной форме историографии, чем из-за ее способности дать интегрированную версию английского, или любого другого национального прошлого".<sup>10</sup>

В это время все острее осознавалась необходимость создания новых теоретических моделей, способных выявить механизмы взаимодействия локальных, региональных, национальных и наднациональных процессов. Между тем еще раньше была осуществлена удачная попытка интеграции микро- и макроподходов в обобщающем труде по истории английского общества в XVI-XVII вв.<sup>11</sup> Один из ведущих британских историков К.Райтсон, опираясь на десятки локально-исторических исследований (в том числе на собственные изыскания), предметно показал, как крупные социальные сдвиги, вызванные совокупным эффектом демографических, экономических, культурных и административных изменений в национальном масштабе, с одной стороны, привели к социальной стратификации на местах, к перестройке в локальных социальных отношениях, а с другой - к интенсификации взаимодействия между разными локальными сообществами и более тесной интеграции последних в национальную общность.

Центральное место в его интегральной теоретической конструкции,

охватывающей семью, локальную общность и систему социальной дифференциации национального масштаба, занимает локальная община, которая включает в себя и микрогруппы, и элементы социальной макроструктуры, и другие фрагменты целого и представляет собой не усредненно-типичное, а конкретное пространственно-идентифицируемое выражение общественных отношений, что дает реальную возможность представить весь диапазон региональных вариаций в их специфической связи с национальным целым.

Институты брака и семьи, внутрисемейные отношения, социальные группы и вертикальные связи локального уровня были рассмотрены в контексте макропроцессов - движения населения, сдвигов в экономической и духовной сферах, в функционировании институтов общественного контроля и механизмов разрешения социальных конфликтов. Именно в углублении социальной дифференциации на местах и поляризации социальных интересов в тысячах провинциальных общин найден ключевой момент связи между макроструктурными сдвигами и повседневной жизнью людей. Локальный микроанализ выявил сосуществование сословно-иерархических и протоклассовых представлений как альтернативных, в зависимости от обстоятельств - в родном приходе или вне его (при относительной стабильности или во время конфликта) и поставил вертикальные патерналистские связи в макроисторический контекст социально-экономического неравенства и реально-го распределения власти в обществе.<sup>12</sup>

Соотношение между двумя системами социальной классификации определялось местной спецификой: локальные модели социальных отношений возникали из согласования между силами социальной идентификации - в качестве родственников, друзей, соседей, патрона и клиента и т.п. - и силами социальной дифференциации - в качестве лендлорда и держателя, хозяина и слуги, богатого и бедного и т.д. Оба измерения социальных отношений присутствовали как повседневная реальность, однако баланс между ними менялся. Наличие двух моделей социальной классификации определяло и наличие двух соответствующих моделей политического поведения. Проведенное К.Райтсоном специальное исследование сложного долговременного процесса трансформации традиционного восприятия социального мира, средневековых представлений об общественной иерархии - через трехчастную модель концептуализации социальной дифференциации в терминах "сортов", или "разрядов" людей - в социологию классов нового времени, позволяет глубже понять социальный динамизм переломной эпохи.<sup>13</sup> По существу в работах К.Райтсона была на практике осуществлена та самая "инкорпорация повседневной жизни в бурные воды исторического процесса", о которой - как о центральной задаче синтетической программы - писал известный американский историк и социолог Ч.Тилли, выдвигая в качестве главной



цели социальной истории “реконструкцию человеческого опыта переживания крупных структурных изменений”.<sup>14</sup>

Дальнейшая разработка этого синтетического подхода была проведена Ч.Фитьян-Адамсом, который предложил модель, учитывающую социально-пространственные структуры разного уровня и различной степени интеграции: “ядро общины”; общину как целое (сельскую или городскую); группу соседских общин; более широкую область с общей социокультурной характеристикой; графство; провинцию, или регион. В основу этой модели положена концепция “социального пространства”, охватывающего по-разному ограниченные и частично перекрывающиеся друг друга сферы социальных контактов. Локальная социальная структура задает пределы реальному поведению индивидов и их межличностным отношениям и выступает как своеобразный фильтр, опосредующий связи между индивидами в более широком социальном пространстве. Взаимосвязанные, но индивидуально различимые “локальные общества”, составляющие целое, объединены не только национальной идеологией, формальными атрибутами и аппаратом централизованного государства, но и разделяемой ими совокупностью общественных норм и ценностей (“социальной организацией”). Социальная структура национального масштаба представляется как набор возможных социальных позиций, специфические комбинации которых на местах могут существенно различаться согласно тому, какая именно структура здесь исторически сложилась. В то же время фундаментальные сдвиги на уровне локальных социальных структур, связанные с приспособлением к новым технологическим, экономическим или иным условиям и с соответствующими изменениями в образе жизни, приводят, в конечном счете, к образованию новых комплексов социальных позиций и отношений на более высоком уровне.

Само понятие “локальное общество” делается в такой перспективе подвижным, а во главу угла ставится проблема последовательной исторической реконструкции каждого из звеньев этой цепочки с обеих ее противоположных концов, на которые расходятся интересы специалистов по локальной и национальной истории. Но последний должен, не ограничиваясь анализом общественного строя и государственных структур, исследовать и различные аспекты национальной культуры (включая право, религию, образование и др.), и нормы поведения, и центростремительные силы “двора и капитала”, и провинциальные “сферы аристократического влияния”, и “соединительную ткань коммуникаций”, а также всю совокупность тех категорий людей - от коммерсантов до бродяг, чьи передвижения способствовали смешению региональных популяций. Сфера деятельности локального историка простирается ниже уровня “посредников национального масштаба”, но связана с ним - через провинциальных лидеров, игравших какую-то роль на на-

циональной сцене, через органы местного управления, через тех, кто вступал в межрегиональные контакты. Так размыкаются интеллектуальные границы социально-исторического микроанализа и нащупывается стык макро- и микроистории на промежуточном уровне, в проводящих прямую и обратную связь локально-территориальных структурах среднего звена.

Поиски синтеза макро- и микроистории, осложненные очевидной несовместимостью их понятийных сеток и аналитического инструментария, разумеется, не ограничиваются рассмотренными выше способами интеграции локальных исследований. Движение в этом направлении весьма заметно и в рамках историко-антропологического подхода “новой политической истории”, который возник как метод осмысления культурных стереотипов в сфере реальных властных отношений и впоследствии обратился к ключевой проблеме соотношения высокой политики и народной культуры, и в новых модификациях событийной истории.

С 80-х годов центральное место в конкретных исследованиях и научных дискуссиях британских и американских историков прочно заняла политическая составляющая проблемы соотношения локального и национального. Ее обсуждение стало, в частности, одной из главных примет современной историографии Английской революции, пытающейся преодолеть ограниченность неоревизионистских концепций и чисто акцидентального подхода к событиям революции. Эта конструктивная тенденция, которую можно условно назвать “постревизионистским синтезом”, выразилась в формировании новых подходов, направленных на переинтерпретацию Английской революции с учетом как ревизионистской критики, так и существенно пополнившегося фонда конкретно-исторических разработок.

Внимание части исследователей оказалось сосредоточено на анализе механизмов развертывания кризиса и изменений его общеполитического и идеологического контекстов. В результате уже опубликованы десятки статей и монографий по политической истории до 1640 года, в том числе те, в которых выясняется повседневное течение политических процессов, как в парламенте, так и вне его. Отходя от традиционного взгляда на события и их последствия, который принимал в расчет только факторы национальной политической системы, они исследуют также ее провинциальные и локальные институты, систему управления и политическую жизнь на местах. Центральной проблемой остается перераспределение политической власти в стране, поскольку оно не может быть объяснено предшествовавшей цепью событий национального масштаба, хотя именно этот тип объяснения обычно применяется в политической истории. Исследования предшествующего этапа очень



многое дали для понимания локальных конфликтов, но столкнулись с реальными трудностями в установлении соотношения между деятельностью и позициями местных элит и политическим процессом в Вест-минстере.

Исследования постревизионистов опираются на новую концепцию соотношения локального/общенационального и регионально-дифференцированный подход к изучению взаимодействия локальной и национальной политики, отвергая объяснение всего конфликта в рамках локально-национальной дихотомии. Понимая "локализм" не как негативную реакцию, а как активную политику, преследующую вполне определенные цели, они специально анализируют соотношение и взаимосвязь между макро- и микро-конфликтами, между политическими и идеологическими размежеваниями в парламенте и в локальных сообществах, при этом схватки на арене провинциальной политики рассматриваются как часть общенационального политического процесса. Особое внимание уделяется процессу политизации многих аспектов общественной жизни на местах, возникновению публичной, политической сферы там, где прежде преобладали межличностные противоречия и конфликты, условиям интеграции центральных и локальных интересов в единой национальной политической культуре и национальной административно-политической системе.<sup>15</sup>

Итак "локалистскому" подходу был противопоставлен "интеграционистский". И все же центральным для всех локальных исследований по-прежнему остается вопрос о методах включения материалов локального анализа в более широкие обобщающие построения на макроуровне. Очень существенную роль в интеграции локальной и национальной истории играет изучение сферы осуществления властных функций на всех уровнях общества. Система распределения власти - властная структура, выполняющая роль арматуры, скрепляющей общественный организм, охватывала сложную иерархию местных самоуправляющихся общин, которая пронизывала всю жизнь английского общества.

Важной ступенью восхождения от синтеза на локальном уровне к общенациональному становится изучение промежуточных сообществ более крупного масштаба, чем сельские и городские приходские общины, так называемых территориальных общностей второго порядка, поскольку до сих пор еще совершенно недостаточно изучена их роль не только в формировании политической культуры (в ее региональных вариантах), но и в опосредовании активного воздействия общегосударственных структур на ситуацию в локальных сообществах. А ведь именно через них осуществлялась обратная связь между центральной властью и деревенскими и городскими общинами (участие в управлении территориальных общин, включая и формирование на базе последних низшей палаты парламента). Внимание исследователей сосредоточи-

вается на том, как функционировала иерархическая система распределения власти в целом, и на изучении системы управления и политической жизни на местах, смещая таким образом фокус анализа политических институтов в направлении тех переходных звеньев, в которых реализовывалась обратная связь между государством и обществом (между макро- и микро-структурами разного уровня).

На этом фоне выделяются успешные попытки американских историков исследовать механизм формирования новой политической культуры, комбинируя методы политического и социокультурного анализа и предлагая оригинальные подходы к изучению размежевания сил в Английской революции на основе детализированной локальной типологии народной культуры, которая отражает специфику местных структур и обычаев, сложившуюся в результате дифференцированной инкорпорации локальных общин в процессы крупных структурных изменений.<sup>16</sup> В постревизионистской интерпретации оказываются в равной степени неприемлемыми все однозначно-альтернативные объяснительные схемы революционного конфликта, а его главное измерение воплощается в дифференцированном "социальном, политическом и культурном опыте английского народа". Каждая из прежде взаимоисключающих гипотез признается "ограниченно годной", адекватной для определенного времени и определенного места, в зависимости от типологических локальных различий в социальной структуре, экономическом развитии и народной культуре. И дело здесь не в склонности к эклектизму.

Речь в данном случае идет о таком подходе, который пытается в полной мере отразить переходный характер общества, подвергнутого анализу, и учесть все возможные модели политического поведения, выбор которых зависел от конкретных обстоятельств места и времени. При вмешательстве центральной власти в провинциальную жизнь локальные противоречия немедленно фокусировались в сфере национальной политики. Признавая "локализм" сильнейшим фактором в мотивации коллективного политического поведения всех социальных групп на местах, этот подход учитывает воздействие на них политических разногласий более крупного масштаба, которые хотя и воспринимались сквозь призму локальных интересов, но тем не менее определяли в конечном счете возможности оптимальной реализации последних. В стыковочном узле локальных и национальных размежеваний, локальных и национальных интересов открывается возможность перехода с одного уровня анализа на другой.

Аналогичный поворот в событийной истории только намечается. В традиционной политической истории вся исторические события объяснялись указанием на интенции действующих лиц и на события, непосредственно предшествовавшие тем, которые подлежат объяснению. В

новой версии событийной истории каждое крупное историческое событие должно рассматриваться не как эпизод, а как процесс, как цепь последовательно сменяющих друг друга исторических ситуаций/конstellаций, каждая из которых может быть, в свою очередь, развернута в реальном времени и в пространстве и представлена множеством менее крупных, мелких и совсем, казалось бы, незначительных событий, происходивших на самых разных уровнях: в жизни индивидов, общностей, или в рамках государственных институтов - то есть целым "веером" микрособытий и фактов.

Как только ни называли то, что случилось в Англии в середине XVII в.: и "Великий мятеж", и "Пуританская революция", и "Английская революция", и даже - совсем недавно - "Великая Британская революция". Опираясь этими терминами, нельзя, однако, упускать из виду, что в каждом случае речь идет не о единичном событии или факте, а о концепции, о теоретической конструкции, построенной в результате анализа внушительного массива извлеченных из источников данных и соответствующим образом используемая для их осмысления и обобщения. Именно из-за их разномасштабности далеко не все эти так называемые исторические факты могут быть выстроены в последовательную цепь событий, но все они могут быть представлены в более сложной цепи исторических ситуаций. При этом решающее значение могут приобрести факты, которые ранее казались второстепенными и имеющими лишь самое косвенное отношение к делу. В каждой исторической ситуации заложены различные сценарии развития событий, имеется некоторый спектр возможных, вариантов поведения, которые актуализируются в результате принятия и реализации действующим лицом исторической драмы того или иного из наличного набора альтернативных решений, в определенной зависимости от многочисленных и разнообразных условий и факторов. Скрытые в спрессованной структуре исторических событий, они проявляются на их видимой поверхности как случайности. Исследовательский инструментальный микроистории имеет все шансы обогатиться новыми модификациями акцидентального анализа, которые позволили бы расширить поле воображаемого исторического эксперимента. Это, однако, остается делом будущего, хотя в работах ряда историков постревизионистского направления делаются довольно уверенные шаги к разработке синтетической модели с включением механизмов личного выбора.<sup>17</sup>

Исследователь на время переносит свое внимание с самого исторического события на обстоятельство, ему сопутствовавшие. Решающее значение в расследовании этих обстоятельств приобретают факты, которые ранее казались второстепенными и имеющими лишь самое косвенное отношение к делу. Плодотворность такого приема была убедительно доказана У.Хантом в статье "Призрачные истоки Английской

революции".<sup>18</sup> Предлагая объяснение длительного и многопланового конфликта, решающим моментом которого были события 1640 г., когда англичане отказались сражаться за своего короля, Хант интегрирует все его измерения (социальные, экономические и политические условия) в детальном анализе кризиса традиционной политической культуры между 1612 и 1629 гг., породившего проблему легитимности. Этот историко-антропологический анализ в терминах культуры как совокупности коллективных представлений и поведенческих стереотипов выявляет процесс и последствия крушения общенационального мифа - культурного комплекса, консолидировавшего общество. Культ принца Генри отражал особый тип национального самосознания, артикулированный ревностными протестантами, которые составляли очень влиятельное меньшинство. Он был построен на убежденности в возложенной богом на английскую нацию особой миссии - утвердить истинную веру и в своей стране, и за ее границами. Нацеленность на осуществление этой миссии требовала, с одной стороны, внутренней культурно-нравственной реформации на базе кальвинистской теологии, а с другой - международной солидарности протестантов. Этот миф был способен оправдать критику и даже радикальную оппозицию режиму в том случае, если последний отошел бы от своего божественного предназначения: ведь тогда перед подданными встала бы задача призвать корону к его исполнению.

Многие простые англичане оставались довольно безразличны и к пуританам, и к арминиянам, но протестантизм, какой бы он ни был условный и неотрефлексированный, к этому времени уже стал интегральной частью коллективного сознания большинства англичан. Преждевременная смерть принца Генри (на него возлагались все надежды, связанные с осуществлением миссии), правление Якова, начало культурной контрреформации, воцарение Карла - все это породило целую цепь обманутых ожиданий. В этих условиях режим, потерявший значение символического центра объединяющего нацию коллективного мифа и, соответственно, свое идеологическое оправдание, был обречен. Его катастрофа лишь выглядит более случайной, чем она есть на самом деле. Обманутые ожидания как исторический фактор огромной потенциальной силы были способны оказать решающее влияние и в последующих ситуациях альтернативного выбора.

Все те разнообразные предпосылки, которые выдвигаются как причины революции вполне могли бы стать предпосылками установления в Англии сильной абсолютной монархии, если бы на месте Карла оказался компетентный и агрессивный монарх, способный в полной мере использовать мифологию протестантского империализма и получить мощную идеологическую поддержку ревностных протестантских проповедников. Именно отсечение этой альтернативы явилось той случай-

ностью, в результате которой осуществилась другая возможность, ставшая таким образом исторической реальностью.

Так *“Призрак Генри”* (курсив мой - Л.Р.) делает зримой ту скрытую альтернативу, которая дает возможность ответить на вопрос, почему все же началась гражданская война, которой никто не хотел. Какие бы более отдаленные предпосылки ни открывались, ближайшей причиной Английской революции была полная утрата режимом легитимности в глазах своих подданных и последовавший в 1640 году отказ политической нации его защищать. Англичане не хотели сражаться за своего короля, так как они считали его режим - не только его политику, но и его личную этику и способы управления - абсолютно несовместимыми с тем, что было в их представлении гораздо более важным, чем просто политика, даже более фундаментальным, чем основные законы страны - с той конечной целью, которую полагала перед собой нация, с ее самыми главными ожиданиями. Этот момент коллективного неповиновения, своеобразный вогот недоверия режиму, открыл зеленый свет всему тому, что последовало дальше: религиозным и конституционным реформам Долгого парламента, постепенному втягиванию общества в гражданскую войну, казни Карла, установлению республики и т.д.

Отталкиваясь от критики ревизионизма, *“постревизионисты”* вывели дискуссию на новый уровень и сделали реальные шаги к новой синтетической интерпретации Английской революции, учитывающей объективные условия и субъективную деятельность, события и структуры, необходимое и случайное, единичное и повторяющееся, индивидуальное и массовое. На этом пути им пришлось не раз специально ставить проблему соотношения и взаимосвязи микро- и макроподходов в истории, как в практическом, так и в теоретическом плане. *“Стрелку”* макро- и микроистории досконально разработал один из лидеров постревизионистской историографии, британский ученый Ричард Каст в классическом казуальном исследовании на самом благодатном, с этой точки зрения, материале скандального судебного процесса, имевшего широкий общественный резонанс.<sup>19</sup> Речь идет о разбирательстве в Звездной Палате в декабре 1607 г. иска, предъявленного неким Томасом Бьюмонтом из Лестершира против соседнего джентльмена о распространении клеветнических утверждений относительно неподобающего сексуального поведения его жены и детей.

Вообще в рассматриваемый Р.Кастом период такого рода судебные иски о сексуальных оскорблениях и о защите чести и достоинства были распространенным явлением, и материалы этих процессов, конечно, не прошли мимо внимания социальных историков, которым удалось извлечь из местных архивов тысячи дел о клевете. Что касается исследователей политической культуры, то они стали обращаться к этим материалам лишь недавно, в связи с проблемой соотношения *“публичного”*

и *“частного”*, *“политического”* и *“персонального”*. Значительную часть из них составляли исследования по гендерной истории, которые демонстрировали инструменты неформального влияния женщин на публичную сферу через их роль в домохозяйстве, и работы политических историков, которых изучали факты и способы манипулирования обвинениями о сексуальной испорченности (в том числе в нелегальной литературе) с целью подрыва доверия к представителям власти. Одна из целей, которую ставил Р.Каст в своей статье, как раз и заключалась в том, чтобы продемонстрировать, какие благодатные перспективы могут быть раскрыты в том случае, если попытаться интегрировать интенсивный анализ подобных казусов с более традиционными методами истории политической культуры начала нового времени. Как же он предлагает это сделать?

Центральным в исследовании Р.Каста оказывается анализ различных концепций *“честь”*, игравших существенную роль в рассматриваемом им судебном деле. Исходя из современного антропологического определения понятия чести как связующего звена между общественными идеалами и их воспроизводством в индивидуе, который стремился эти идеалы персонифицировать, Р.Каст видит в анализе концепций *“честь”*, с одной стороны, средство изучения социальных ценностей и норм, а с другой - способов социальной конкуренции индивидов, пытающихся сохранить или повысить свой статус и влияние в этом обществе. Важнейшим моментом его исследования является выявление сосуществования в Англии раннего нового времени различных концепций *“честь”*, которые по-разному артикулируются в судебных показаниях участников процесса. Разнообразие наличных концепций и дискурсов *“честь”* еще более усиливается, если берутся в расчет те соединительные звенья, которые образуются в связи с их преломлением в концепциях *“частного”* и *“публичного”*. Автор исходит из того, что репутация индивида в обществе определяется сложной амальгамой суждений и оценок, которые могут иметь отношение к его должности либо к признанию со стороны властей, но равным образом - зависеть от таких вещей, как гостеприимство, демонстрация личных качеств, прочность семейных уз, сексуальное поведение. Таким образом, *“приватное”* и *“публичное”* оказываются постоянно и неразрывно сплетенными, особенно в раннее новое время, когда семья обычно воспринималась как некий микрокосм общества и государства.

Автор исчерпывающим образом анализирует всю серию дискурсов о чести, зафиксированных в материалах судебного процесса, разбирая показания его участников как с точки зрения различных способов повествовательного представления интересующих его концепций, так и в отношении дифференцированного содержания последних, которое отражало соответствующие взгляды и ценности. Показания женщин ак-

центрировали заботу о “женской чести”, которая в этом процессе однозначно определялась как репутация, главные слагаемые которой - добродетельность и чистота (в сексуальном смысле). Но гораздо громче в этом процессе прозвучали дискурсы о мужской и дворянской чести. В одном из них делается упор на благородство крови и линияжа и на кодекс чести, основанный на чувстве собственного достоинства, самоуверенности и состязательной напористости. Наряду с этим было в ходу другое представление о чести, которое ассоциировалось с гуманизмом и протестантизмом и в котором подчеркивались такие качества, как мудрость, образованность, благочестие и сдержанность. Наконец, лишь частично перекрывая оба эти представления, выстраиваются дискурсы, выдвигающие на первый план верность монарху, служение государству и законопослушность.

Каждая из этих концепций чести выражается разными способами и оказывается приемлемой для различных целей, согласно обстоятельствам. Особенно очевидной эта подвижность становится в еще одном дискурсе, который выявляется в изучаемом казусе и связывает понятие чести со способностью утвердить патриархальную власть в семье. Кстати, этот последний аспект понятия чести свидетельствует об исключительной проницаемости границ между “частным” и “публичным” в рассматриваемый период. Вообще же, представленные материалы процесса вновь и вновь напоминают о взаимопереплетении “персонального” и “политического”. Автор подтверждает это наблюдение и материалами других судебных казусов, в которых рассматривались сексуальные обвинения против должностных лиц как свидетельство их непригодности именно в качестве таковых.

Пристальное изучение текста судебного дела и его исторического контекста, к которому автор неизменно обращается на всех этапах исследования, позволило показать, сколь многосложными и разнообразными были представления о чести в раннеюготоровской Англии, и убедительно доказать, что было бы заблуждением отдать приоритет какой-то одной из них, рассматривая остальные как маргинальные. Но это последнее утверждение явилось результатом уже не казуального исследования, а сравнительного анализа сделанных наблюдений с данными обширного комплекса нормативных источников и выводами, полученными на серийном материале. Ничуть не смущаясь этим обстоятельством и даже специально его акцентируя, Р.Каст сам признает и оговаривает ограничения казуальных исследований, которые он видит в том, что раскрывая все нюансы богатого спектра представлений в каждый данный момент, оно оказывается не в состоянии описать их изменения во времени. Последняя исследовательская задача требует иного подхода, макросоциального анализа, позволяющего распознать общественные и культурные сдвиги, протестантскую реформацию, ра-

стущую обеспокоенность ослаблением патриархальной власти в семье и расширением полномочий центрального правительства, то есть все те факторы, которые сообщали участвовали в преобразовании концепций чести.

Не менее выразительный пример умелого комбинирования микро- и макроподходов продемонстрировала необычная и по методу, и по содержанию статья Ч.Фитьян-Адамса “Ритуалы личной конфронтации в средневековой Англии”, которая касается истории эмоций и жестов.<sup>20</sup> Формулируя свою позицию, автор пишет, в частности, о том, что современный историк, который пытается посвятить себя исследованию социальных структур, социальных процессов, культурных представлений и ожиданий - в том виде, как они проявляются на всех уровнях исторического общества (от локального до национального), должен сделать “самый первый и обманчиво простой шаг”: представить, как люди того времени вели себя по отношению друг к другу, “согласно своим собственным конвенциям, в реальных ситуациях непосредственного общения, в самых разных обстоятельствах широкого спектра - от нормальных к аномальным”. “Не поняв этого, вообще нельзя постичь инаковость прошлого, не говоря уже о тех более формальных суперструктурах разного рода, которые возвышаются над индивидом в каждом обществе: то, что мы теперь называем социальной структурой, в конце концов складывается или должно складываться из бесчисленных регулярностей, наблюдаемых в практике повседневных социальных отношений”.<sup>21</sup>

Изучая крайние эмоционально-физические проявления конфронтаций, историк неизбежно сталкивается с целым рядом трудностей, главной из которых является статистическая ущербность источниковой базы и неравномерность имеющейся документации по отдельным аспектам межличностной коммуникации. С учетом этого обстоятельства Ч.Фитьян-Адамс и выстраивает стратегию своего исследования. Его программа состоит из трех частей. На первом этапе автор реконструирует отдельные аспекты человеческого поведения, которые формировали его предположительно нормативную, социально-санкционированную модель, включая невероятно широкий репертуар символических действий. Отталкиваясь от этой модели, во второй части он обращается от идеала к реальности, причем не в статических рамках сложившихся правил этикета, а в непрерывно изменяющихся и всегда непредвиденных обстоятельствах реальной личной конфронтации. Важной предпосылкой этого шага является кажущийся парадоксальным тезис о том, что существенные характеристики социальной организации общества рельефнее всего проявляются в тех пунктах, где она, по меньшей мере на первый взгляд, кажется наиболее уязвимой и, таким образом, теоретически наименее эффективной. Задачей этого этапа становится “реконструк-

ция межличностного столкновения как детализированного процесса локального взаимодействия<sup>22</sup> с целью выяснить наличие или отсутствие каких-либо сдерживающих, заданных обществом правил.

Достичь желаемого уровня детализации позволяет казуальный подход. Из множества протоколов королевского совета, заседавшего в суде Звездной палаты, фиксируются разбирательства по фактам личных ссор, которые внезапно выливались в насильственные действия. В центре внимания историка оказывается исключительно полно представленное свидетельскими показаниями дело<sup>23</sup>, которое, будучи рассмотрено во всех его весьма живописных деталях, обнаруживает логику определенного поведенческого кода, включавшего обширное меню словесных оскорблений и угроз, разнообразных приемов демонстрации силы, наконец, набор максимально допустимых и переходящих допустимые границы действий, связанных с физическим насилием. Затем, возвратившись к обобщающим процедурам и опираясь на сравнительный анализ уже серии казусов аналогичного типа, исследователь приходит к выводу о преимущественно метафорическом характере большинства зафиксированных конфронтаций, в которых за угрозами применения насилия скрывалась надежда на то, что в действительности осуществление его в указанной форме вовсе не требуется: гиперболизированный язык угроз был, таким образом, своеобразным "последним предупреждением".

Оценивая весь комплекс привлеченных источников и памятуя о том, что прошлое никогда не могло бы быть таким упорядоченным, каким его делает ретроспективный анализ, Ч.Фитьян-Адамс суммирует некоторые основные правила ритуала конфронтации, обнаруженные в свидетельствах о конкретных обстоятельствах его реализации.<sup>24</sup> По отношению к столь же преувеличенному нормативно-вежливому поведению этот дедуктивно выявленный кодекс конфронтации оказывается на противоположном полюсе широкого спектра ритуальной коммуникации. Однако, будучи скорректировано примирительными конвенциями повседневности, такое поведение видится "не столько все менее узнаваемым продолжением нормы, сколько в общих чертах признаваемой ее частью... И потому, ритуалы конфронтации представляли институционализацию приемлемого физического и, конечно же, словесного насилия как неотъемлемой части общей социальной организации этого периода, в особенности поскольку она выражалась в локальных формах".<sup>25</sup> Таким образом, как это и полагается в микроисторических штудиях, Ч.Фитьян-Адамс, отталкиваясь от анализа атипичных, экстремальных случаев, ставит и решает задачу исследования контекста, проясняя границы его возможностей. Но при этом он постоянно меняет ракурс, в котором рассматривает свой объект: последний то разбухает,

занимая все видимое поле (и даже не вмещааясь в него целиком), то "терзает лицо" в длинном строю "фактов" поглотившей его совокупности.

В последние годы микроподходы занимают все более заметное место и в интеллектуальной истории, которая существенно расширила и качественно изменила свою проблематику, выйдя - вместе с так называемой новой культурной историей - на авансцену современных исторических исследований. Переосмысление предмета исследования на эпистемологических и методологических принципах современного социокультурного подхода, усвоившего уроки "постмодернистского вызова" и предложившего альтернативу последнему, "переплывило" различные по своему происхождению течения в "новую культурно-интеллектуальную историю", которая видит свою основную задачу в исследовании интеллектуальной деятельности и интеллектуальных процессов в их конкретно-историческом социокультурном контексте.

Любопытный казус из этой области историографии находим в недавней работе видного американского медиевиста Кэролайн Байнум, которая от истории средневековой религиозности обратилась к изучению концепций природных и психологических изменений в средневековой литературе о чудесах.<sup>26</sup> Подвергнув специальному анализу средневековую концепцию "удивительного" и ее эмоциональное выражение, К.Байнум констатировала, что Высокое средневековье знало по меньшей мере три дискурса, касающихся удивления. Это, во-первых, теологически-философский дискурс, в котором удивление понималось как побуждение к расследованию, и следовательно к познанию. Во-вторых, в произведениях религиозной литературы разных жанров, где удивление рассматривалось как нечто противоположное подражанию или присвоению. И, в-третьих, в так называемой развлекательной литературе, или "литературе досуга" (включая хроники, описания путешествий и собрания забавных историй), удивление фиксируется в самой уникальности события, его производящего. Байнум не ограничивается изучением теоретических дискуссий средневековья, имевших отношение к данному вопросу, она выявляет особенности репрезентации такого рода реакций и в простых описаниях событий, и в изобразительном искусстве, и в памятниках материальной культуры. Исследование Байнум показывает, что не всякое чудо или странный случай воспринимались с благоговением или ужасом, но скорее средневековые авторы выражали преувеличенные реакции в отношении тех происшествий, индивидов или объектов, которые переступали онтологические или моральные границы, и понимали удивление как вызываемую реальными событиями реакцию, обусловленную местонахождением и перспективой, то есть углом зрения, наблюдателя.

Байнум подчеркивает принципиальные различия между выявленным

в ее исследовании средневековым пониманием удивления и тем, которое "от противного" приписывают средневековым историкам раннего нового времени. Ни один средневековый автор не сводил удивление к психологической реакции удивляющегося. Изумление, обсуждаемое философами, хронистами и путешественниками - в каждом из случаев, проанализированных К.Байнум, и в их совокупности - имеет отчетливо выраженный когнитивный компонент: "удивляешься только тому, чего не смог *понять*" (курсив мой - Л.Р.), и таким образом удивление вызывало стремление к познанию, было стимулом к дальнейшим изысканиям. Средневековые теоретические рассуждения об удивлении рассматривали его как реакцию на нечто скрытое в самом явлении, как ответ на что-то новое и странное, одновременно ускользающее от объяснения и указывающее на то, что за ним стоит какой-то смысл. "Действительно, - заключает Байнум, - можно поражаться только тому, что по меньшей мере в некотором смысле где-то существует. Удивление является ответом на конкретность, специфичность, индивидуальность события."<sup>27</sup>

Средневековая историография, так же как и средневековая литература в целом, привлекает особое внимание американских историков постмодернистской ориентации и их оппонентов с обеих сторон Атлантики. При этом обнаруживаются несколько способов представления результатов исследований по средневековой историографии и включения их в современные теоретические споры. Иногда произведения средневековых летописцев приводятся в качестве примера таких текстов, которые характеризуются минимальной сложностью и воздействуют на читателя наиболее прямыми и стереотипными способами, а затем, в результате анализа этих хроник или анналов с точки зрения их нарративных структур, делается вывод о том, что, если даже подобного рода тексты не могут рассматриваться как простые свидетельства, то тогда это тем более справедливо в отношении любого другого исторического произведения.

Второй способ строится на признании художественной (то есть литературной, а не собственно исторической) ценности средневековой историографии. Предполагается, что понимания истории как нарратива, в духе Хейдена Уайта, достаточно и нет никакой необходимости разбираться в том, как функционируют отдельные произведения средневековых историков в средневековых и более поздних контекстах. Однако наиболее эффективный подход, приоритетно освоенный канадскими и американскими интеллектуальными историками, связан с изучением средневековых авторов как индивидов, а не только как представителей каких-то тенденций, с изучением и оценкой той селекции событий прошлого, которую они осуществляли в соответствии со своими ценностями и представлениями. Сторонники этого подхода пред-

ставляют средневековую историографию как результат серии индивидуальных выборов, обусловленных конкретными социально-политическими обстоятельствами.<sup>28</sup>

Так, например, Габриэла Спигел, анализируя французские хроники XIII века, обращает особое внимание на момент "инскрипции" (фиксации значения), который, в отличие от простой записи (регистрации), представляет собой "момент выбора, решения и действия, который создает социальную реальность текста, реальность, которая существует и "внутри" и "вне" отдельного элемента, инкорпорированного в произведение посредством включений, исключений, исправлений и т.д. Литературный текст формируется из множества невысказанных желаний, убеждений, интересов, которые накладывают отпечаток на все произведение, но возникают "под давлением обстоятельств как интертекстуального, так и социального происхождения".<sup>29</sup>

В настоящее время микроподходы привлекают и внимание исследователей истории политической мысли, которые анализируют содержание произведений политических мыслителей разных времен и народов и их функционирование как в той исторической среде, в которой они были созданы, так и в последующие эпохи. Но еще более плодотворным оказывается соединение этого подхода с персональной историей. Блестящий пример этому находим в книге Майкла Мендла о Генри Паркере, автор которой исходит из убежденности в том, что хотя идеи имеют собственную историю, все же остаются глубоко и неотрывно погруженными в тот период, к которому они принадлежат.<sup>30</sup>

Паркер был "слугой многих господ" и великим оппортунистом - в разное время он занимал разные административные посты и в разных обстоятельствах служил лорду Сэю, Эссексу, Пиму, Кромвеллю и Айртону. Поскольку он писал по поручению своих хозяев, выраженные им взгляды (по поводу "корабельных денег", пуританских убеждений и сопротивления, архиепископа Лода, компетенции парламента и т.д.) не всегда принадлежали ему самому. Мендл показывает Паркера как автора, который мог по разным поводам защищать и парламент, и абсолютизм. Он выступал от имени самопровозглашенных защитников свободы и собственности и одновременно был жестоким критиком "старинной конституции" и общего права, подавал голос за народный суверенитет - и с насмешкой и пренебрежением отзывался о бедных и неграмотных. Так в одном человеке оказались воплощены некоторые конструирующие компоненты Английской революции. "Скручивание" различных тенденций крупномасштабного конфликта в одной творческой личности побуждает, в частности, еще раз пересмотреть однозначно полярную его интерпретацию.

Анализ понятий, представлений, восприятий, идей акцентирует внимание на дискурсивном аспекте социального опыта в широком его по-



нимании и отвергает жесткое противопоставление народной и элитарной культуры, производства и потребления, создания и присвоения культурных смыслов и ценностей, подчеркивая активный и продуктивный характер последнего. Именно в этом варианте новая культурная и интеллектуальная история “воссоединяются”, хотя последняя сохраняет свою специфику в том, что касается ее особого внимания к выдающимся текстам “высокой культуры”.

Параллельно складывается новая традиция исторической критики, которая стремится от описания и “инвентаризации” исторических идей, направлений и школ к более тонкому их анализу, основанному на принципах “новой культурной истории”. В качестве главного предмета этого анализа выступают качественные перемены в области исследовательского сознания историков. Тогда в центре внимания исторической критики оказываются не только “продукты” - результаты профессиональной деятельности историка, но вся его творческая лаборатория, исследовательская психология и практика, и в целом - культура творчества историка.

Состояние интенсивной саморефлексии историков, столь характерное для современной интеллектуальной ситуации, породило оригинальный жанр историописания, который можно условно обозначить как автоисториографики и о котором мне уже приходилось писать.<sup>31</sup> Здесь, видимо, будет достаточно отметить некоторые особенности этого жанра “интеллектуальной автобиографии”. Важным моментом - в связи с сегодняшней темой обсуждения - является то, что свои профессиональные автобиографии, свою персональную интеллектуальную историю ведущие современные историки, прожившие достаточно долгую жизнь в науке и испытавшие немало поворотов на своем жизненном и творческом пути, вписывают в динамичный социокультурный контекст, в котором аккумулируются все вызовы времени и ответы на них. Речь идет, таким образом, о совмещении традиций социально-интеллектуальной и персональной истории в попытках найти “мостик”, соединяющий “историю личности” с Большой Историей.

Пожалуй, именно в истории индивида, или персональной истории, наиболее остро и наглядно ставится ключевая методологическая проблема о соотношении и совместимости микро- и макроанализа. Если до последнего времени историческая антропология оставляла за кадром проблему самоидентификации личности, личного интереса, целеполагания, индивидуального рационального выбора и инициативы, то в конечном счете ответ на вопрос, каким именно образом унаследованные культурные традиции, обычаи, представления определяли поведение людей в специфических исторических обстоятельствах (а следовательно сам ход событий и их последствия) потребовал выхода на уро-

вень анализа индивидуальной деятельности и создания новой интегральной модели.

В связи с этим представляется вполне закономерным совершившийся поворот интереса историков от “человека типичного” или “среднего” к конкретному индивиду, в результате которого историческая биография, будучи одним из древнейших жанров историописания, получает как бы “второе рождение”. В настоящее время проявившиеся в этой области тенденции дают основания говорить о перспективе складывания нового направления со своими специфическими исследовательскими задачами и процедурами, Базовой задачей “новой биографической”, “персональной”, или “истории индивида” является восстановление “истории одной жизни”, а стратегия ее решения, хотя и ориентируется на принципиально различные образцы (от микроистории до психоистории, от моделей рационального выбора до теорий культурной и гендерной идентичности), состоит в том, что личная жизнь и судьбы отдельных исторических индивидов, формирование и развитие их внутреннего мира, “следы” их деятельности выступают одновременно как стратегическая цель исследования и как адекватное средство познания включающего их и творимого ими исторического социума. Иными словами, речь идет об изначально заданной принципиальной установке на выявление социального контекста, на выход в макроисторическое пространство.

“Новая биографическая история” пока находится в стадии становления, и наибольший интерес безусловно представляют те действительно “штучные” работы, в которых яркие достоинства исторической биографии оказываются адекватными действительно новым задачам, и поэтому поставленные цели достигаются именно в результате мобилизации жанровой специфики. Максимальное приближение к этому идеальному типу мне видится в “персональной истории”, как она представлена в работах американских, канадских и британских историков Пола Сивера, Марка Филлипса, Натали Дэвис, Сары Мендельсон и других.<sup>32</sup>

“Персональная история” в широком смысле слова использует в качестве источников самые разные материалы, содержащие как прямые высказывания личного характера (письма, дневники, мемуары, автобиографии), так и косвенные свидетельства, фиксирующие взгляд со стороны или так называемую объективную информацию. На биографические работы, посвященные средневековью, за исключением тех, которые касаются немногих представителей элиты, отсутствие документов личного характера накладывает существенные ограничения. Физическая недостача подобных текстов очевидно создает для исследователей не менее солидные препятствия, чем те, которые связаны с активно обсуждаемыми ныне трудностями герменевтического понима-

ния. Часто средневековый персонаж, лишенный своего голоса (и визуального образа) выступает как силуэт на фоне эпохи, больше проявляя ее характер, чем свой собственный. Поэтому вполне понятен и правомерен особый интерес историков-биографов к более разнообразным материалам личных архивов и многочисленным литературным памятникам Возрождения и Просвещения. И все же в своих попытках восстановить внутренний мир индивида этого времени ученые вынуждены главным образом обращаться к немногочисленным представителям культурной элиты.

Биографический подход сформировал и одно из перспективных направлений гендерной истории, несмотря на то, что здесь общие проблемы индивидуальной истории осложняются гендерной спецификой. В этих биографиях ярко выступают спектр и пределы возможностей, которыми располагает индивид в рамках данного исторического контекста с характерной комбинацией социальной и гендерной иерархий. В гендерных исследованиях подобного рода привлекает исключительно взвешенное сочетание двух познавательных стратегий. С одной стороны, они сосредоточивают внимание на так называемом культурном принуждении, а также на тех понятиях, с помощью которых "люди представляют и постигают свой мир". С другой стороны, в них достаточно последовательно выявляется активная роль действующих лиц истории и тот - специфичный для каждого социума - способ, которым исторический индивид - в заданных и не полностью контролируемых им обстоятельствах - "творит историю", даже если результаты этой деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям.

Вполне понятно, что в фокусе биографического исследования оказывается внутренний мир человека, его эмоционально-духовная жизнь, отношения с родными и близкими в семье и вне ее. При этом индивид выступает и как субъект деятельности и как объект контроля со стороны семейно-родственной группы, круга близких, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных структур разного уровня. В центр внимания многих исследователей, как правило, попадает нестандартное, отклоняющееся поведение, выходящее за пределы освященных традицией норм и социально признанных альтернативных моделей, действия, предполагающие волевое усилие субъекта в ситуации осознанного выбора.

Говоря о состоянии современной исторической биографии в целом, нельзя не признать, что при всех своих естественных ограничениях и несмотря на наличие серьезных эпистемологических трудностей, обновленный и обогащенный принципами микроистории биографический метод может быть очень продуктивным. Но на уровне обобщения методологические проблемы перехода между полюсами индивидуальности и коллективности остаются актуальными.

Возьмем в качестве отнюдь не типичного, а скорее "нормально-исключительного" образца замечательную книгу Натали Дэвис о трех "женщинах, стоящих особняком".<sup>33</sup>

Н. Дэвис исключительно четко формулирует свою исследовательскую программу в Прологе, построенном в виде воображаемого обмена мнениями автора с героинями написанной ею книги: "Я собрала вас вместе для того, чтобы больше узнать о ваших сходствах и различиях. В наши дни иногда говорят, что женщины прошлого похожи друг на друга, особенно если жили в сходных условиях... Мне хотелось через ваши собственные высказывания и поступки показать, в чем вы были близки друг другу, а в чем нет, в чем вы отличались от мужчин своего мира и в чем были такими же... Я выбрала именно вас, потому что все вы были горожанками, все родились в семьях купцов или ремесленников... Мне хотелось представить еврейку, католичку и протестантку, чтобы посмотреть, как влияла на жизнь женщин та или иная религия, какие двери она перед вами открывала, а какие закрывала, выбор каких слов и поступков она вам диктовала... Я хотела узнать, как вы трое боролись с гендерным неравенством... Но я не изобразила вас просто многострадальными. Я также показала, как женщины в вашем положении извлекали из него максимум возможного. Меня в первую очередь интересовали преимущества, которые давала вам маргинальность... Вы извлекали пользу из своего маргинального положения! Вас объединяла предприимчивость. Каждая из троих пыталась совершить нечто до того неслыханное. Мне хотелось разобраться в истоках вашей предприимчивости, вашей страсти к приключениям, в том, какой ценой она давалась в семнадцатом веке... И мне хотелось рассказать о ваших надеждах на изменение общества, на создание рая на земле, потому что я и сама когда-то питала такие надежды..."<sup>34</sup>

Эта столь необычно представленная читателю программа была выполнена во всех своих пунктах. Мельчайшие детали жизненных перипетий, размышлений и самооценок трех женщин не только дали автору богатую "натуру" для необычайно выразительных портретов, но проявили, как в лакмусовом растворе, все сущностные характеристики и процессы их социальной, профессиональной и культурной среды. Из любовно выписанного исследовательницей "тройного портрета" ярко выступили спектр и пределы возможностей, которыми располагал индивид в рамках данного исторического контекста с характерной комбинацией социальной и гендерной иерархий. Более того, за тройным портретом отчетливо проступило масштабное полотно, на котором раскрылись неизвестные ранее аспекты европейской жизни XVII века, включая ее пограничные пространства.

Ясно, что мы имеем дело с интегральной исследовательской установкой на изучение индивидуальной биографии в качестве особого



измерения исторического процесса, что вовсе не исключает, а напротив - предполагает понимание значения системно-структурных и социокультурных исследований и взаимодополнительности всех трех перспектив в целостной картине прошлого. Кстати, во время бурных дебатов на рубеже 80-х и 90-х годов, когда обсуждались судьбы двух форм социальной истории, опирающиеся на два различных типа анализа, Н.Дэвис была в числе тех, кто подчеркивал их комплементарный характер и призывал к тому, чтобы найти способы объяснить и адекватно выразить взаимодействия и сопряжения макро- и микро объектов, социального и культурного.<sup>35</sup> Столь же недвусмысленно высказались о попытках отделить непроходимым барьером "научную форму истории" от "гуманистического подхода" и ряд других американских и британских историков. В частности, Барбара Ханавалт писала: "Количественные подходы могут многое дать для нашего понимания изучаемых текстов (особенно таких массовых, как судебные протоколы), поскольку они предлагают нам некий контекст для их интерпретации... Судебные дела можно читать и как тексты..., в то же время комбинация количественного и литературного анализа обогащает интерпретацию сугубо нарративных источников".<sup>36</sup>

Совершенно справедливо и очень точно (в еще более ранней дискуссии на рубеже 70-80-х годов) охарактеризовал эпистемологическую дилемму Дэвид Ливайн: "Изучение истории требует от нас организовывать множества событий в хронологические последовательности и структуры..., которые неизбежно и существенно отличаются от того, как они могли пониматься людьми прошлого. Это противоречие создает проблему для социальной истории: признавать процесс общественных изменений и одновременно постигать эти структуры так, как они переживались людьми прошлого. По существу, эта проблема подобна той, которая была поставлена Максом Планком и Вернером фон Гейзенбергом в попытке прийти к согласию с новым пониманием физического мира, когда общие теории оказались неспособными объяснить поведение микрочастиц. Здесь требуются два типа объяснения - каждое из которых зависит от типа задаваемых вопросов, причем каждый из этих способов исследования является "правильным" в своей части... Средние показатели могут нам кое-что прояснить, но слишком часто их анализ извращается скрытым предположением о том, что "все картофелины в мешке похожи друг на друга". И это верно, если мы сравниваем их с бананами. Однако, если мы сравниваем их друг с другом, тогда различия становятся более важными и более реальными. Ведь это как раз те различия, которые понимались и переживались людьми прошлого... Но, обращая внимание на эти различия, которые индивидуализировали мужчин и женщин и превращали их жизненный опыт в уникальный, следует избегать феноменологической ловушки... Именно

выяснение средних показателей дает возможность лучше осознать степень соответствия между общественными нормами и реальным поведением... Но сами по себе они не могут рассказать нам о том, как эти нормы интерпретировались индивидами, которые слишком часто изучаются в этом "общем мешке". Только заглядывая за эти средние показатели и рассматривая способы, которыми социальные нормы инкорпорировались в повседневность, мы можем понять жизненный опыт людей прошлого. Ключ к пониманию предложен Бурдье в концепции "стратегий", которая прямо признает разнообразие конкурирующих интересов внутри кажущегося господства нормативных стандартов".<sup>37</sup>

Значительное число британских и американских практикующих историков гласно или негласно принимают теорию структуризации А.Гидденса. Как правило, речь не идет об открытой артикуляции лежащих в ее основе предположений, но их исследовательская платформа так или иначе приближается к тому, что Кристофер Ллойд назвал, может быть, не очень удачным рабочим термином "методологический структуризм". Согласно этой модели, социальные структуры понимаются как складывающаяся совокупность правил, ролей, отношений и значений, "в которых люди рождаются и которые создаются, воспроизводятся и преобразуются их мыслью и действием. Именно люди, а не общество, порождают структуры и иницируют изменения, но их креативная деятельность и инициатива являются социально вынужденными. Согласно онтологии Ллойда "люди имеют действенную силу, а структуры - обуславливающую", она "отвергает легитимность той дихотомии действия и общества, на которую другие - индивидуалистическая и холистская онтологии - опираются, и пытается концептуализировать действие и общество как *взаимопроизводящую дуальность* (курсив мой - Л.Р.)".<sup>38</sup>

Концепция возникающей структуры в этой модели требует многоуровневого видения социокультурного пространства, новые свойства которого возникают на верхних уровнях. Структура может охватывать общество или культуру как системное целое, системные отношения на разных уровнях, или какой-то один общественный институт. Историки могут описывать действия индивида или группы в социокультурных пространствах, выстраивающихся по ранжиру от макроструктур (например, группы государств или их экономических, социальных и культурных систем) до структур среднего уровня (внутриполитических институтов, бюрократий, корпораций, социальных организаций, региональных субкультур) и микроструктур "наверху", "внизу", "в центре" и на общественной периферии (олигархии, элитные клубы, маргинальные группы, семьи). Индивиды и группы имеют большую или меньшую действенную силу и определяют баланс причинности различными способами, нет никакой фиксированной формулы, определяющей вза-

имосвязи макро- и микроструктур: они могут быть организованы в различные схемы. Более того, структурные отношения изменяются разными темпами (иногда катастрофически) и возможности действующих субъектов предположительно меняются вместе с ними.

С этой теоретической платформы ведется сокрушительная критика ложной альтернативы социального и культурного детерминизма, который рисует индивидов как полностью формируемых социальными или культурными факторами. Во всем подчеркивается активность действующих лиц: индивиды не только естественно сопротивляются властям, которые обучают их правилам, ролям, ценностям, символам и интерпретивным схемам, они имеют тенденцию обучаться не тому, чему их учат, поскольку индивиды не только интерпретируют и преобразуют то, чему их научили, в соответствии со своими нуждами, желаниями и принуждением обстоятельств, но их рецепция культуры также отражает причуды культурной трансмиссии. Короче, социализация и окультуривание не дают единообразных результатов и люди часто ресоциализируются и рекультурируются в разные моменты своей жизни и в различных социокультурных «локациях».<sup>39</sup> Это плюралистическое и динамическое видение влечет за собой множество следствий: гораздо более богатое понятие социокультурной гетерогенности, чем предполагалось раньше, гораздо более сложную картину социокультурных изменений, больший простор для деятельности - как индивидуальной, так и коллективной - и для случайности.

Тем не менее, эта модель имеет свои ограничители, которые не позволяют исследователю пройти до конца весь путь «восхождения к индивиду», оставляя непроторенным его важный отрезок, связанный с интериоризацией непосредственного жизненного опыта и формированием психологических установок, готовности и склонности воспринимать, реагировать, думать, оценивать, действовать определенным образом. Известный британский историк Теодор Зелдин так описал перипетии своего исследовательского поиска: «Чтобы избавиться от априорных представлений о том, как именно следует в процессе изучения группировать людей и события, я постарался разбить свой материал на мельчайшие элементы. Я использовал своего рода пуантилизм, который сводит сложные явления к самым элементарным формам. Я разбил классы на группы, группы на меньшие группы, а затем показал, какое разнообразие характеризует даже мельчайшие группы. Когда доходишь до индивида, то убеждаешься, что он очень сложен, что в зависимости от обстоятельств он по-разному реагирует на всякое воздействие, причем так, что это выглядит противоречивым и практически непредсказуемым. Поэтому я не стремился найти единый ключ к объяснению человека. Вместо этого я перешел от пуантилизма к изучению индивида одновременно с разных сторон, как будто рисовал не

только видимую часть лица, но и затылок, располагая их так, чтобы видеть все сразу. Я старался представить жизнь во всем ее богатстве и противоречивости... Для себя я решил эту проблему, поставив индивида в центр своей книги. Я посмотрел на мир его глазами, вместо того чтобы смотреть в обратном направлении и изучать множество не связанных между собой факторов. Я старался больше, чем это обычно делают историки, использовать психологию, но не как разъясняющую теорию, а как доступ к потаенным сторонам человеческой личности».<sup>40</sup> Впрочем, даже умелое использование «психологического микроскопа», не снимает всех преград на пути к изучению исторического индивида.

Несмотря на относительно редкое использование самого термина «микроистория», это не значит, что инструменты микроанализа не находят в британской историографии применения. Напротив, они в ней глубоко укоренены и имеют многообещающие перспективы. Безусловное преимущество как «персонального» подхода, так и всех других микроисторических стратегий состоит в том, что они «работают» на экспериментальной площадке, максимально приспособленной для практического решения тех сложных теоретических проблем, которые ставит перед исследователем современная историографическая ситуация. Более того, постоянно возникающая необходимость ответить на ключевые вопросы: чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, каковы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились массовые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внешние факторы и внутренние импульсы - настоятельно «выталкивает» историка из уютного гнездышка микроанализа в то исследовательское пространство, где царит макроистория.

Специфика микроистории заключается не в масштабе ее объектов, несмотря на нередкие утверждения подобного рода, и даже не в разглядывании подробностей и мелочей. Один и тот же объект равным образом может стать предметом и макро-, и микроисторического исследования. Дело в другом - в том, с какой стороны к нему подходит исследователь, под каким углом зрения этот объект рассматривается, то есть, в конечном счете, в позиции наблюдателя, которую он выбирает в зависимости от своей теоретической платформы и принятой модели развертывания исторического процесса. Иными словами, эта специфика заключается в направлении движения исследовательской мысли: идет ли она от настоящего к прошлому, пытаясь проследить в ретроспективе становление настоящего, то есть мира, в котором мы живем сегодня, или же внимание обращено на само прошлое как нечто находящееся в стадии становления. В последнем случае это движение направлено «про-

спективно" - от прошлого к настоящему, и исследователь ищет ответ на вопрос, какие потенциальные возможности скрывались в последовательных ситуациях исторического выбора, как и почему в этом процессе реализовались именно те, а не иные возможности, каким именно образом субъективные представления, мысли, способности, интенции индивидов действовали в пространстве свободы, ограниченном объективными коллективными структурами, которые были созданы предшествовавшей культурной практикой. В первом ракурсе мы получаем некую одномерную проекцию прошлой реальности на траекторию развития и, таким образом, видим лишь свершившуюся Историю в ее "победившем" варианте, во втором - рассматриваем саму эту исчезнувшую реальность как бы с открытым, непредопределенным будущим, то есть несущей в себе различные (а то и прямо противоположные) потенциальные варианты развития, а значит во всем ее действительном многообразии и полноте.

Экспериментирование с методами не может быть самоцелью, его смысл заключается в том, чтобы приблизить исследователя к решению поставленной им проблемы. Одна из самых трудных задач, с которой сталкивается историк, состоит в том, как концептуализировать взаимодействия между индивидами и обществом, соотношения конкретного и абстрактного, частного и целого, как не теряя из виду единичности, рассмотреть все же "за деревьями лес", как представить себе общность, не элиминируя индивидуальные качества составляющих ее частей - в духе платоновской диалектики. "Тот, кто жаждет узреть совершенное целое, должен разглядеть оное в его отдельных частях... Ты аккумулируешь частности и убиваешь их, анализируя, для того чтобы получить совокупность, и называешь эту совокупность Моральным Законом... Но общие формы обретают свою жизнеспособность только в частностях, а всякая частность есть человек..."<sup>41</sup>

К сказанному остается добавить, что именно логическая "разнонаправленность" и взаимодополнительность микро- и макроисторического подходов делают их комбинационные возможности исключительно перспективными.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Микроистория и в итальянской, и во французской, и в англо-американской интерпретации отвергает когнитивный релятивизм и сведение истории к дискурсу, представляя, таким образом, альтернативу постмодернистской историографии.

<sup>2</sup> Лидирующую роль в этом процессе кардинального обновления британской локальной истории сыграла Лестерская школа локальной истории, осно-

ванная У.Хоскинсом и Г.Финбергом, которые поставили во главу угла не локально-территориальный принцип, а описание и анализ реально существовавших социальных организмов, и приступили к воплощению на локальном уровне познавательного идеала социальной истории - истории общества как целостности. То же направление развивалось и в Центре городской истории Лестерского университета, основанном Г.Дайосом.

<sup>3</sup> Goubert P. Local History // *Daedalus*. 1971. V.100. № 1. P.113-127.

<sup>4</sup> Macfarlane A. History, Anthropology and the Study of Communities // *Social History*. 1977. № 5. P.631-652, esp. p.642.

<sup>5</sup> Оба подхода были эффективно использованы в работах ведущего британского теоретика и практика локальной истории Ч.Фитьян-Адамса: *Phythian-Adams C. Desolation of a City: Coventry and the Urban Crisis of the Late Middle Ages*. Cambridge, 1979; *Idem. Re-thinking English Local History*. Leicester, 1987; *Idem. Local History and National History: The Quest for the Peoples of England // Rural History*. 1991. V.2. № 1. P.1-23; etc.

<sup>6</sup> Различные общности средневековья и раннего нового времени формировали многообразие переплетающихся сетей социального взаимодействия, создавая основу для перекрывающихся друг друга социальных идентичностей.

<sup>7</sup> Подробнее об этом см.: Репина Л.П. На пути к новому синтезу: перспективные тенденции в современной британской историографии // *Методологические и историографические вопросы исторической науки*. Вып.21. Томск, 1994. С.3-18.

<sup>8</sup> Подробнее об этом см.: Репина Л.П. Средневековый человек в системе социальных коммуникаций // *Общности и человек в средневековом мире*. Саратов, 1992. С.23-29.

<sup>9</sup> Bennett J.M. *Women in the Medieval English Countryside: Gender and Household in Brigstock before the Plague*. N.Y., 1987.

<sup>10</sup> *Phythian-Adams Ch. Local History and National History...*, p.1-23.

<sup>11</sup> Wrightson K. *English Society 1580-1680*. L., 1982.

<sup>12</sup> Ibid., p.222-223.

<sup>13</sup> Райтсон К. "Разряды людей" в Англии при Тюдорах и Стюартах // *Средние века*. Вып. 57. 1994. С.46-61.

<sup>14</sup> Tilly C. *Retrieving European Lives // Reliving the Past. The Worlds of Social History / Ed. By O.Zunz. Chapel Hill - L., 1985. P.11-52.*

<sup>15</sup> Подробнее об этом см.: Репина Л.П. От альтернативы к синтезу: высокая политика и народная культура в интерпретациях Английской революции // *Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации*. М., 1995. С.130-141.

<sup>16</sup> Malcolm J.L. *Caesar's Due. Loyalty and King Charles, 1642-1646*. L., 1983; Underdown D. *Revel, Riot and Rebellion: Popular Politics and Culture in England, 1603-1660*. Oxford, 1985; etc.

<sup>17</sup> См., например: *Conflict in Early Stuart England. Studies in Religion and Politics 1603-1642 / Ed. by R.Cust and A.Hughes. L.-N.Y., 1989.*

<sup>18</sup> Hunt W. Spectral Origins of the English Revolution: Legitimation Crisis in Early Stuart England // *Reviving the English Revolution. Reflections and Elaborations on the Work of Christopher Hill* / Ed. by G. Eley and W. Hunt. L.-N.Y., 1988. P. 305-332.

<sup>19</sup> Cust R. Honour and Politics in Early Stuart England: The Case of Beaumont v. Hastings // *Past & Present*. 1995. № 149. P. 57 - 92.

<sup>20</sup> Phythian-Adams Ch. V. Rituals of Personal Confrontation in Late Medieval England // *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester*. 1991. V. 73. № 1. P. 65-90.

<sup>21</sup> Ibid., p. 66-67.

<sup>22</sup> Ibid., p. 73.

<sup>23</sup> Дело Джона Чилтона из Стаффорда от 1540 года.

<sup>24</sup> Подробный и интересный перечень этих "правил" см. в: Ibid., p. 88-89

<sup>25</sup> Ibid., p. 90.

<sup>26</sup> Bynum C. Wonder // *American Historical Review*. 1997. V. 102. № 1. P. 1-26.

<sup>27</sup> Байнум, кстати, вполне серьезно и, на мой взгляд, абсолютно справедливо утверждает, что средневековое понимание удивления уместно приложить к задачам всех историков, как исследователей и как преподавателей. Вспоминая в этой связи мысль одного из схоластов о том, что "если не поверишь в событие, то и не будешь ему изумляться", она призывает историков относиться к прошлому с тем, что в средние века понималось как *admiratio* (изумление, удивление, восторг).

<sup>28</sup> Spiegel G. *Romancing the Past: The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-century France*. Berkeley etc., 1993; Geary P. *Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millennium*. Princeton, 1994; Lifshitz F. *The Norman Conquest of Pious Neustria*. Toronto, 1995; Wolf K. B. *Making History: The Normans and their Historians in 11th-century Italy*. Philadelphia, 1995; etc.

<sup>29</sup> Spiegel G. Op.cit., p. 10. См. также: Spiegel G. *The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography*. Baltimore, 1997.

<sup>30</sup> Mendle M. Henry Parker and the English Civil War: The Political Thought of the Public's "Privado". Cambridge, 1995.

<sup>31</sup> Репина Л.П. Историк в двадцатом веке // *Диалог со временем: историки в меняющемся мире*. М., 1996. С. 3-9.

<sup>32</sup> Seaver P. S. Wallington's World. A Puritan artisan in Seventeenth-century London. Stanford (Cal.), 1985; Phillips M. *The Memoir of Marco Parenti. A Life of Medici Florence*. L., 1989 (Princeton, 1987); Mendelson S. *The Mental World of Stuart Women: Three Studies*. Brighton, 1987; Davis N. Z. *Women on the Margins. Three Seventeenth-century Lives*. Cambridge (Mass.) - L., 1995.

<sup>33</sup> Наиболее заметные гендерные историко-биографические исследования почему-то тяготеют к форме триптиха: именно как "тройные портреты" были задуманы и реализованы монографические исследования Сары Мендельсон и

Натали Дэвис о женщинах XVII века.

<sup>34</sup> Davis N. Z. *Women on the Margins...*, p. 2-4.

<sup>35</sup> Davis N. Z. The Shapes of Social History // *Storia della Storiografia*. 1990. V. 17. P. 28-34.

<sup>36</sup> Hanawalt B. A. The Voices and Audiences of Social History Records // *Social Science History*. 1991. V. 15. № 2. P. 159-161.

<sup>37</sup> Levine D. Tunnel Vision // *Theory and Society*. 1980. V. 9. № 5. (Problems in Social History: A Symposium). P. 677-678.

<sup>38</sup> Lloyd C. *The Structures of History*. Oxford, 1993. P. 43.

<sup>39</sup> Речь идет о вовлечении индивида в группу, придерживающуюся таких правил, которые иногда требуют от него осуществить насилие или отречься от той группы, в которой он был до этого социализирован и окультурен, - будь это банда, армия, религиозная секта, бюрократия, политическая партия, культурное движение или прочее.

<sup>40</sup> Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // *THESIS*. 1993. Т. I. Вып. 1. С. 161.

<sup>41</sup> Blake W. *Jerusalem. Emanation of the Giant Albion* // *The Complete Poems* / Ed. by W. H. Stevenson. L.-N.Y., 1989. Ch. 4. Pt. 91: 20-30.



*С.Г. Ким*

## СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ МИКРО- И МАКРОАНАЛИЗА

Характеризуя современное состояние исторической науки, английский историк Питер Бёрк писал: «Мы живём в век неясных очертаний и открытых интеллектуальных границ, в век, который одновременно и волнует, и приводит в замешательство»<sup>1</sup>. С этим трудно не согласиться. Достаточно лишь вспомнить бурные дискуссии о постмодернизме и новом историзме, о возможностях социальной антропологии и «лингвистическом повороте» в историописании. В этом же ряду стоит и полемика о новых подходах микроистории, особенно активно развернувшаяся в последнее десятилетие. Именно здесь очень ярко проявилось всё то, о чём говорил П.Бёрк. Микроистория волнует, поскольку воскрешает из небытия маленькую средневековую деревню во всём многообразии её жизни, а также выводит на историческую сцену итальянского мельника и аббатису-еретичку. Но вместе с тем она приводит в замешательство, так как не всегда ясно, что является конечной целью таких исследований и каков их реальный вклад в процессы обновления историографии. Нельзя не отметить также, что микроисторики часто черпают свое вдохновение из других дисциплин. И, наконец, туманны сами перспективы развития микроистории, прогноз которых затруднён из-за отсутствия её программы.

Неудивительно поэтому, что многие ученые задаются вопросом, можно ли усматривать здесь новую разновидность социальной историографии или же микроистория останется лишь непродолжительным течением на её периферии. Другими словами, правомерно ли обозначить, вслед за Домиником Ла Капра, книгу Карло Гинзбурга «Сыр и черви» как «эмблему для космоса историка в конце 20 столетия»<sup>2</sup>? Если это так, то в равной мере можно сказать, что микроистория - это эмблема нынешнего состояния исторической науки. Или, ещё точнее - результат её попыток радикальной переориентации. Уже поэтому она заслуживает серьёзного внимания при определении границ и возможностей исторического познания.

Как известно, самые сильные корни новая версия изучения прошлого имеет в итальянской историографии, где собственно и возникло понятие «микроистория»<sup>3</sup>. Работы её сторонников встретили живой, хотя

и неоднозначный отклик в мировой науке. Они дали импульс активным дискуссиям об инновациях микроистории среди американских и французских учёных. Не менее интересен и опыт использования микроанализа в немецкой науке, которая с присущей ей всегда основательностью проводит «инвентаризацию» нового течения<sup>4</sup>.

Безусловно, дать характеристику микроистории сегодня достаточно трудно. Не только потому, что она ещё в стадии оформления, но и потому, что сама историческая наука переживает революционные перемены. Более того, скорость изменений и переоценки ценностей в ней сегодня даже увеличилась. Кризис сциентистской концепции истории, обозначившийся на рубеже 70-80-х гг. и обусловивший переход к постмодернизму, выявил глубокие сдвиги в самом понимании прошлого и методов его анализа. В ходе критической саморефлексии исторической науки наряду с историко-социологическим направлением всё большее значение приобретает историко-антропологическое. Причём, уже в нем, акцент постепенно смещается от изучения активности человека в группе и коллективного менталитета к исследованию индивидуальных форм поведения и его мотивов. Внимание к внешним и внутренним факторам деятельности «маленького» человека, очарование её яркими деталями приводили к рождению новых форм историописания. Параллельно этому шёл переход от макро- к микроанализу, который сопровождается попытками конструирования новой картины истории путем их синтеза<sup>5</sup>.

Историки, как известно, образно подразделяют на две группы: на парашютистов и грибников. Если первые очерчивают открытые взгляды контуры событий, то вторые ищут скрытые сокровища. Микроисторик стремится стать и тем, и другим. С одной стороны, поскольку его символическим инструментом является микроскоп, он анализирует четко зафиксированный во времени и пространстве феномен. Если это индивидуум, то он не только имеет имя, но и локализован во всех его ролевых характеристиках: как работник, супруг, христианин, налогоплательщик и т.д. Исследователь надеется создать таким путём, используя образ итальянских ученых, «разновидность паутины с очень узкими ячейками», ...«дающей наблюдателю как бы графическое изображение сетки социальных связей, в которых находится человек»<sup>6</sup>. С другой стороны, микроисторик с помощью этих «совершенно точных» данных пытается ответить на более общие вопросы. Он стремится не потерять из виду того обстоятельства, что все детали являются частями большого целого. Как формулировал Ханс Медик (варьируя высказывание американского этнолога Клиффорда Гирца)<sup>7</sup>, речь идет не об истории малого, а об истории в малом.

Понятен поэтому интерес к микроанализу приверженцев исторической антропологии, формирование которой в историографии ФРГ 70-х

гг. неразрывно связано с процессами модернизации её теоретико-методологического инструментария. Новое течение возникло на волне поисков так называемой “всеохватывающей” или целостной теории исторического процесса, способной преодолеть крайности как индивидуализирующих, так и генерализирующих подходов к прошлому. В центр внимания исторической антропологии была поставлена задача диалектического разрешения вопроса о взаимозависимости личности и общества. В силу этого перспективы ее развития связывались немецкими учеными с поисками путей создания “учения о человеке в его исторической социальности”<sup>8</sup>.

Разумеется, и историки ФРГ в целом также отказались от “одномерного” подхода к анализу прошлого и намерены рассматривать свой предмет одновременно как “извне”, так и “изнутри”, как “снизу”, так и “сверху”. Правда, по признанию Герда Шверхоффа, при всем своём многообразии и всех инновациях германская историография, хотя и приблизилась к мировой, но не достигла ещё подлинного единства с ней<sup>9</sup>. Характеризуя её современное состояние, Вольфганг Хардвиг констатировал на 39 съезде немецких историков (Ганновер, 1992 г.), что особый путь исторической науки Германии закончился в 60-е гг., когда для неё особенно отчётливой стала проблема “догоняющей модернизации”<sup>10</sup>.

“Методологическую революцию” в историописании ФРГ, по мнению самих немецких ученых, символизирует дуэль между Юргеном Коккой и Хансом Медиком. В её основе лежат разногласия между приверженцами структурно ориентированной истории общества (или исторической социальной науки) преимущественно из Билефельда и сторонниками культурно-антропологически ориентированной социальной истории из Гёттингена. Именно эти два основных пути модернизации традиционного немецкого историзма были представлены в Германии. А поиски в их рамках новых ориентиров изучения прошлого определяют главные характеристики и специфику современной историографии ФРГ. Две формы социальной истории базируются на различиях в выборе объекта и ракурса исследования, на различиях теоретического и эмпирического инструментария. Причём обе модели историописания стремятся как сохранить свою сферу влияния в создании целостной картины истории, так и доказать в допустимых пределах свою правоту.

Наибольшее внимание к построениям микроистории проявили, как уже указывалось, сторонники антропоцентризма, а сам Х.Медик выступил её активным пропагандистом<sup>11</sup>. Это направление надеялось продемонстрировать возможности “поэтического” способа постижения прошлого. Нельзя не отметить, конечно, и журнал “Историческая антропология: культура, общество, повседневность”, выходящий в Германии с 1993 г. Он стал не только путеводителем и справочником по микроистории, но и, в извест-

ной степени, продолжателем её начинаний<sup>12</sup>. Не осталась микроистория вне поля зрения и представителей билефельдской школы, критические отзывы которых о её возможностях столь же интересны, так как отражают сциентистскую реакцию на постмодернизм.

Что касается общих оценок новых подходов, то здесь немецкие ученые единодушны. В свете перспектив развития мировой исторической науки возникновение микроистории рассматривается ими как реакция на тот образец изучения прошлого, который изначально задавался теоретически. Подчёркивается, что подобные исследования были ориентированы на смежные “систематизирующие” науки, на заимствование теорий и понятий социологии, экономики и политологии. Историки занимались в них, главным образом, глобальными процессами и структурами, а их обобщения были основаны на методах серийного и количественного анализа. Социально-научное “выравнивание” прошлого, по мнению учёных ФРГ, воздействовало не только на само понимание науки и её методики. Оно вело к такому понятийно-теоретическому ракурсу видения истории, когда во главу угла ставились макроанализ и изучение объективных закономерностей. Соответственно этому изменялись и организация, и язык интерпретаций прошлого.

Никто из немецких историков не сомневается в том, что данная парадигма исследования способна на многое. Однако её отчетливая ориентация на сферу действия анонимных сил в обществе часто связывалась с преобладанием одностороннего внимания к государству и политическим идеям. Предметом обсуждения, по мнению её критиков, становились долговременные изменения в различных областях жизни. Методы же квантификации подменяли пёструю картину событий жёсткими фактами. Ученые ФРГ соглашались с тем, что социо-структурный способ толкования истории, безусловно, позволял взглянуть на неё с большой высоты. Но он описывал лишь её вершины и отказывался от анализа всей сложности процессов бытия на различных уровнях, что приводило порою к ошибочным выводам и оценкам. В известной степени такой подход содействовал также механистическим трактовкам событий. Как писал Х.Медик, было не всегда ясно, что же скрывается за такими “понятиями-паспорту”<sup>13</sup> как феодализм, антиклерикализм или ранний капитализм, с помощью которых объясняли Реформацию в Германии. В представлении большинства историков подобные “макро-ярлыки” были по меньшей мере, недостаточны. Кроме того, основанные на них построения разрушались при обращении к таким источникам, которые (вслед за Винфридом Шульце) называют это-документами<sup>14</sup>.

Сторонников билефельдской школы в Германии (как модернистов) также долгое время упрекали в том, что они не учитывают уникальность отдельных фактов и свободу действующей личности. Причём



история событий и поведения людей часто понималась учёными как альтернатива или антитеза структурной истории<sup>15</sup>. В последние годы линия размежевания несколько сместилась. Представителей “истории общества” критикуют прежде всего, за то, что их взгляд устремлен лишь на широкие социальные структуры и процессы. Вопрос же о том, как люди испытывают на себе и переживают воздействие этих “невидимых сил”, почти полностью выносится за скобки. Отправной точкой полемики все чаще становится вопрос об ограниченности “исторической социальной науки”, о необходимости внести в её глобальные конструкции свежую струю субъективного фактора. Речь идет о том, “чтобы вернуть жизнь отдельным людям с их желаниями и неудачами, страданиями и способностями к творчеству”<sup>16</sup>. Но разговор об этом имеет тенденцию к превращению из монолога в диалог, с признанием эвристического потенциала различных версий историописания.

Итак, основными недостатками макрообъяснений были названы их поверхностность и отсутствие в них разъяснения внутренних механизмов функционирования общества. Многократно отмечена также деградация субъектов истории к марионеткам объективных сил. Но главная их проблема видится немецким ученым в том, что несмотря на все модификации и расширение горизонтов классической историографии, здесь так и остался нерешённым вопрос о взаимозависимости человека и общества. Именно с его решением связываются, в первую очередь, надежды на новые преобразования и именно под этим углом зрения оценивается опыт микроисторических толкований прошлого. Усилия направлены на учреждение комбинации (или альтернативы) как сциентистской версии изучения прошлого, так и её постмодернистских вариантов.

Современная историография ФРГ ориентирована на поиски золотой середины между моделями макро- и микроистории. Её цель - создание такого образца историописания, который позволил бы дать комплексную картину социального процесса, т.е. увязать воедино развитие глобальных общественных структур и обыденной жизни человека. Другими словами, показать, как историческая необходимость выливается в ту или иную альтернативу развития общества. Притязания на достижение этой цели связываются с изучением многогранной сферы деятельности людей. Ведь, как писали ещё анналисты, каждый индивид одновременно участвует (прямо или косвенно) в процессах разных масштабов и уровней. Как раз поэтому его жизненная практика охватывает экономические, политические, идеологические и прочие структуры и способна в силу этого выступить своеобразной точкой интеграции многомерного социо-антропологического исследования<sup>17</sup>.

Немецкая наука со всей серьёзностью подошла к изучению опыта микроистории. В ходе обсуждения её возможностей с воодушевлением отмечалось возвращение на историческую сцену индивидуума. Оно

рассматривалось, прежде всего, как результат радикального поворота от изучения социума к “истории в лицах”. В центр внимания, по общему признанию, был поставлен субъективный опыт отдельной личности, её восприятие и интерпретации окружающего мира, а также её поведение в этом мире. Явное смещение акцентов к обыденной жизни маленького человека было обозначено как результат разочарования позитивистским модернизмом. Предложенные им интерпретации убеждали в том, что структуры не только определяют мысли людей и ограничивают рамки их поступков, но и что люди могут (и должны) иметь собственную стратегию поведения. В итоге, вновь и в который раз мировая наука, по мнению историков ФРГ, встала перед необходимостью диалектического подхода к взаимозависимости человека и объективных структур<sup>18</sup>. В силу этого субъект истории выдвигается на передний план микроанализа как та фигура, в повседневной деятельности которой переплетены зависимость от общества и свобода творчества.

Соглашаясь с правомерностью данного подхода, немецкие учёные восприняли вместе с тем идею К.Гирца о том, что западноевропейские представления об индивидууме являются спешными, так как часто округляют его как нечто автономное. Исходя из этого, Х.Медик настаивает на необходимости всегда рассматривать личность как сущность, которая несёт в себе изломы и противоречия общества<sup>19</sup>. Наряду с этим нашло признание у историков ФРГ также утверждение К.Гирца о наличии у всякого общества “собственных представлений о том, что есть человек по сравнению с камнем, животным, грозой или богом”. Как раз эти представления о личности являются, по мнению ученых, “превосходным руководством для того, чтобы ответить на вопрос, как приблизиться к образу мыслей другого народа”<sup>20</sup>.

Ещё одно возвращение, которое столь же ярко отразилось в микроистории, - это, бесспорно, возвращение нарратива. Данный процесс идет в мировой науке с начала 80-х гг. и многие микроисторики, экспериментируя с формой изображения прошлого, предприняли попытки литературного оформления своих интерпретаций. Анализируя их, немецкие учёные признают, что интерес к повествовательному стилю изложения также является в известной степени реакцией на работы приверженцев макроанализа. Отмечено преобладание в таковых не только сухой систематики, но и то, что написаны они были “на форсированном историко-китайском”<sup>21</sup>, где доминировало использование иностранных слов и сугубо научных формулировок.

Разумеется, о структурах и социальных процессах трудно “рассказать”, а научные понятия, конечно, далеки от обыденного опыта. Существует множество методов овладения историческим материалом и способов его оформления. Язык макрообъяснений столь же мало применим для изображения мира жизни реальных людей в обществе, как и

обречены на неудачу попытки микроисторика “структурировать” свое повествование. Однако нельзя не согласиться с тем, что отказ социальной истории от рассказа о “казусах прошлого”<sup>22</sup>, усиливает её удаление от широкой общественности. Отчасти это лишь аспект общего процесса дифференциации и специализации. Но ведь не все историки должны писать только для своих коллег. И то, что их работы, оставаясь научными, могут стать бестселлерами, продемонстрировали произведения многих сторонников микроанализа.

Стремление постичь “поэтику исторического дискурса”, а также попытки уловить сложности человеческого существования, делают вполне естественными литературно опосредованные формы интерпретации. Так известная трактовка “мира жизни” (или микрокосма) итальянского мельника оформлена К.Гинзбургом в жанре детектива. Автор начинает с представления своего героя и деревни, в которой он живет. Затем ученый формулирует проблему и на протяжении всего повествования снова и снова возвращается к вопросу, как Миноккио пришёл к своей космогонии и что за этим стоит. К.Гинзбург предлагает разные ответы на него, проверяет их и отвергает ложные. Читатель, таким образом, является как соавтором исследования, так и соучастником событий, напряжение и драматизм которых постоянно нарастают<sup>23</sup>.

Правда Михаэль Маурер, анализируя подобные работы, оценил их как “книги, которые ни один немецкий историк не будет писать”. Он заявил, что речь идет о грандиозной попытке манипуляции источниками и читателем, столь характерной для современной публицистики. Неприятие М.Маурером техники повествования как “халтуры”, свойственной “новейшей истории скандалов”, было распространено автором на всю микроисторию. Под лозунгом “Никаких экспериментов!” он не стал касаться теоретических аспектов нового течения и его возможностей в преодолении уже известных недостатков исторического описания. Более того, ученый обходил вниманием тот факт, что “литературная техника” произведений, которые он анализирует, тесно связана с их содержанием. Вместо этого М.Маурер призывает вернуться к старым сциентистским стереотипам и “понятиям-паспорту”. Причём он уверен, что только с их помощью, возможно проникнуть во внутренний мир людей и объяснить их поступки<sup>24</sup>.

Столь резкие рассуждения не нашли отклика среди большинства немецких историков. Отто Ульбрихт, полемизируя с ними, подчеркивал, что “микронарратив” - это вызов традиционной историографии, результат внутренней логики её развития и трансформации. Новый жанр, на его взгляд, вновь ставит на повестку дня старую проблему, как увязать друг с другом анализ и повествование, а также повествование и адекватное отражение прошлого. Решение этой задачи всегда было нелегким. Ещё более трудно, по мнению ученого, найти технику изло-

жения для микроисторического толкования прошлого, ориентированного на живые, конкретные, а порой и удивительные факты<sup>25</sup>. Действительно, поиски возможностей для достижения тех целей, которые ставит перед собой микроистория, лишь начинаются. К.Гинзбург и Натали Земон Дэвис решились на этот эксперимент, попытались “рассказать” об антропологических структурах, не стирая границ между фактом и вымыслом. Более того, они попытались прийти к обобщениям “снизу вверх”, опираясь на материалы, предоставленные источниками. И как раз в этой пограничной области их ожидали наибольшие трудности, которые учёные ФРГ не только отмечают, но и пытаются найти пути их преодоления.

Вопрос о взаимоотношениях между малым и большим, отдельным и общим, микро и макро остается одним из самых актуальных для исторической науки в целом. Усилия микроистории в его разрешении, безусловно, не лишены недостатков, что не делает её опыт менее интересным. Проблема репрезентативности предложенных заключений была видна с самого начала. Еще К.Гинзбург попытался её решить с помощью использования сочетания “нормальное необычное”, предложенного его соотечественником Эдуардо Гренди<sup>26</sup>. Нечто подобное представляет собою модель К.Гирца “Джонстаун есть Америка”, т.е. модель микрокосмоса, где описание поведения человека (в пределах единичного случая) выступает как тест для определения, соответствуют ли его поступки генеральной линии развития общества.

Именно эти размышления стали отправной точкой построений немецких историков. Используя “элегантный оксюморон” о “нормальной парадоксальности”, К.Гинзбург и Карло Пони предложили, как известно, несколько вариантов его применения в микроанализе прошлого<sup>27</sup>. В первую очередь, они привели аргументы в пользу того, что порою незначительные факты из реальной жизни намного больше говорят об обществе, чем правовые и гражданские документы, его регулирующие. Так, к примеру, источниками для изучения правового поведения нижних слоев населения всегда являлись акты судебных процессов. Между тем, на практике происходили, казалось бы неожиданные и нестандартные случаи. В ходе их анализа ученые показали, что эти казусы нельзя оценивать лишь как таковые, ибо в реальности они в полной мере соответствовали общественным отношениям времени. Насилие, скажем, было типичным для мира позднего средневековья и начала нового времени. Более того, оно не выступало ни социально, ни политически дискриминирующим фактором, а мелкое воровство вообще являлось обыденным. В силу этого, заключали авторы, нарушение правовых норм (исключительное) оказывалось на деле абсолютно нормальным.



Наряду с этим, ученые подчеркивали хорошо известный факт, что имеющиеся в наличии у историка серийные и массовые источники предлагают изложение событий в недостаточном или искаженном виде, отражая интересы прежде всего господствующего класса. Исходя из этого, на их взгляд, необычный, т.е. статистически редкий документ, дающий исследователю лишь информацию к размышлению или предположение, может быть "гораздо более содержательным, чем тысяча стереотипных источников"<sup>28</sup>. Иными словами, приверженцы микроистории настаивают на том, что окраины общества дают о нем ничуть не меньше (если не больше) сведений, чем его центр. Причём, по их убеждению, всякий единичный случай, если рассматривать его в контексте времени, приобретает общие черты. Когда жизненный мир мельника Меноккио, подчёркивает Н.З.Дэвис, изучается на фоне событий итальянской деревни рубежа XVI-XVII веков, тогда историк способен прийти к репрезентативным заключениям о вере и неверии в этот период<sup>29</sup>.

Продолжая ход этих рассуждений, Х.Медик настаивает на следующем. Вместо того, пишет он, чтобы подниматься к обобщениям путем простого сложения равноценных фактов, необходимо "многофокусное сравнение". Именно здесь, на его взгляд, при сопоставлении предмета исследования со многими разновеликими фактами, изучаемый феномен не потеряет своих особенностей. Полученное же таким путём обобщение будет не линейным, а развернутым, поскольку продемонстрирует как элементы подобия, так и различия<sup>30</sup>. Такой путь генерализации, основанный на системном (или "паутинообразном") анализе социальных взаимосвязей, без сомнения, заслуживает внимания историков. В объёмном и многогранном "микроскопическом" сравнении более чётко проявляются черты общего и особенного. Поэтому оно вправе стать шагом в преодолении их бинарной оппозиции, к чему так долго стремятся историки.

Итак, основной вывод немецких учёных гласит, что микроистория не только (и не столько) претендует на интерпретацию малых единиц как таковых. Она скорее надеется выявить в них или перепроверить те или иные абстрактные понятия и теории, связав друг с другом "дух" и "материю". Целью сокращения масштаба исследования является поэтому желание ученых опуститься с макроуровня в те глубины, где структуры находят свою реальную конкретизацию или как раз не находят её. Именно здесь, на их взгляд, можно увидеть подводные течения макроисторических процессов, а именно неодновременность их на разных уровнях, сопротивление им или же полное неприятие их хода. Здесь проявляются также отступления от правил, моменты инертности, отсутствие подобия различных систем и т.д. Одним словом, подчеркивается, что общие законы развития на макроуровне, которые выводятся из правил формальной логики, не всегда реализуются в

реальной жизни. С этим вряд ли кто будет спорить. Но главное здесь в другом. Сторонники микроисторических трактовок настаивают на ограниченности и малопродуктивности общих схем, а также подхода к исследованию реального прошлого с мерками социальных наук. Поэтому они надеются преодолеть с помощью микроанализа изжившие себя методы историописания и найти новые познавательные возможности.

Поиски учёных ФРГ в этом направлении достаточно разнообразны. "Почти без шума, совершенно мирным путём в исторической науке Германии произошла смена перспектив. От изучения ... деяний великих личностей и государственных событий, от анализа глобальных общественных структур и процессов она обратилась к малым жизненным мирам, серым зонам и нишам повседневности"<sup>31</sup>. Это высказывание Фолкера Ульриха совершенно точно описывает тенденции развития новейшей историографии ФРГ, которые отдельные историки оценивают по-разному и которые уже явились поводом для многочисленных дебатов в 80-е гг.<sup>32</sup>.

Что касается немецкой версии микроистории 90-х гг., то она проявляет себя в двух вариантах, ориентированных один - на социальные, а другой - на культурные аспекты в изучении прошлого. При этом очень трудно (да и вряд ли нужно) разграничить её с такими направлениями исследования, как история повседневности, история культуры, историческая демография и т.д. Примечательно поэтому определение микроистории К. Гирцем, который считал, что - это всё то, чем занимается историк-практик<sup>33</sup>. В силу этого вполне объяснимо столь широкое многообразие микроисторических толкований в ФРГ. Причём в каждом из них отражаются специфические интересы ученого, что приводит к совершенно различным экспериментам в этой области. Объединяет их желание эмпирическим путем подойти к тем постулатам, которые логически обосновывались теорией, либо провести их экспериментальную проверку. Что касается ракурса видения прошлого, то, принимая во внимание специфику предмета микроанализа, здесь не всегда пригодны традиционные герменевтические методы событийной истории. Для того чтобы объяснить явления, которые кажутся необъяснимыми и запутанными, которые не поддаются законам логики, нужны совершенно иные подходы. Их совокупность обозначалась К.Гинзбургом как "парадигма косвенных уликов"<sup>34</sup> и была подвергнута в немецкой науке обстоятельному анализу.

Исходным пунктом размышлений К.Гинзбурга по этому поводу как раз и стал тот факт, что микроисторик зачастую останавливается на необычных фактах прошлого. Поэтому ученый-гуманитарий, по его мнению, должен работать одновременно как психоаналитик Фрейд, историк культуры Морелли и писатель-криминалист Конан Дойль.

Только объединив их усилия, он будет способен обнаружить даже едва заметные следы прошлого, уловить пульсацию наиболее глубоких и оттого иначе недостижимых слоев исторической реальности. К.Гинзбург подчёркивал возможность на основе малых, незначительных указаний ("симптомов болезни") поставить "диагноз" большим величинам, недоступным исследователю непосредственно<sup>35</sup>.

В ходе анализа учёными ФРГ предложенной парадигмы исследования был сделан вывод, что по сути дела у К.Гинзбурга речь идет о принципиальных изменениях историописания. Он разграничивает методы наук, основанных на "косвенных уликах", и методы экспериментальных наук, которые исходят из теоретических посылок и используют для их проверки статистические доказательства. Однако при новом подходе, по мнению немецких историков, встает вопрос о том, как аргументировать, что вывод, сделанный на основе интерпретации "следов больших феноменов", является правильным. Конечно, на их взгляд, его можно проверить при помощи накопления аналогичных указаний и идентификации тем самым неизвестных фактов с известными. Можно использовать также и негативную селекцию, т.е. устранять все альтернативные оценки до тех пор, пока не останется одна единственно возможная. Но вопрос о ненадежности заключений микроистории практически неустраним, так как речь ведется только о косвенно постижимой реальности, и о догадках её исследователя.

Поэтому проблема методологического инструментария микроанализа достаточно активно обсуждается в германской историографии<sup>36</sup>. Поскольку "детективный метод" противопоставлялся, в первую очередь, методам структурно ориентированной науки, то наиболее серьезная критика в его адрес звучала, прежде всего, со стороны её представителей<sup>37</sup>. Наиболее активен здесь Ю.Кокка, давший энергичный отпор всем обвинениям. Он подчеркивал, что в годы становления модернистских школ в мировой науке само время требовало заниматься не реконструкцией человеческих действий, опыта и идей, а анализом логики и динамики изменений, которые заключало в себе прошлое и которые приводило в движение настоящее. Именно в русле этих тенденций, на его взгляд, были обозначены в 60-70-е гг. основные программные положения "исторической социальной науки"<sup>38</sup>. Это - акцент на структурах и процессах исторической эволюции; требование дополнить герменевтические трактовки классической историографии за счет обобщающих приемов анализа; призыв к тесному сотрудничеству со смежными социальными науками и заимствование их методов, теорий и результатов; и, наконец, притязания на познание экономического, социального, политического и культурного контекста деятельности людей.

Исходя из этого, Ю.Кокка резюмировал, что структурная история обладает таким научным потенциалом, который можно применять ко

всем сферам исторической реальности, то есть как к изучению экономического развития общества, так и духовного мира идей и культуры. Правда, он вынужден согласиться с тем, что на переднем плане интересов билефельдской школы остаются объективные тенденции и процессы. Взгляд её представителей обращен скорее на условия деятельности людей, чем на сам индивидуальный опыт человека, на его решения и поступки. Однако всё это отнюдь не означает, по его мнению, возможностей макроанализа в создании комплексной картины истории. Просто предпринятые постмодернизмом исследования индивидуальных форм бытия обратили внимание на *внутреннюю* сторону субъективного фактора, на его содержание, которые всегда оставались вне поля зрения сциентистской истории. Вместе с тем, по его признанию, вызов, брошенный ей представителями микроанализа, заключает в себе гораздо большее, чем просто необходимость дополнения одного другим. Он требует поиска новых подходов к объяснению логики взаимодействия человека и общества на пути создания полимасштабной конструкции исторического процесса<sup>39</sup>.

Антропологически ориентированное направление историографии ФРГ также вынуждено было признать наличие у микроистории (при всех её позитивных достижениях) определенных слабостей и недостатков<sup>40</sup>. Его сторонники подчеркивают, что их обращение к данному способу рассмотрения связано с надеждой открыть что-то новое или иначе увидеть уже известное исторической науке. Речь идет не столько об уменьшении предмета исследования, сколько о микросоциальном методе изучения прошлого, об изменении самого ракурса интерпретации и его инструментария. Ведущая тенденция такой модернизации сегодня заключается в постепенном сближении антропоцентризма социальной истории 70-80 гг. с идеями "новой истории культуры".

Этот шаг обусловлен, в значительной степени, самим объектом изучения. Ученый стремится микроскопически, а это значит, исходя из очень точного анализа мелких событий, приблизиться к широким толкованиям и абстрактным формулировкам. Его целью является воссоздание всего разнообразия переплетенных друг с другом представлений людей и разъяснение таковых как того комплекса, который определяет их поступки. Отталкиваясь от "частной ситуации", микроистория пытается реконструировать сам способ, каким индивиды строят социальный мир. При этом её интересует не его форма, а содержание, т.е. не структуры и механизмы упорядочения социальных отношений, а тактика и стратегия деятельности актеров истории.

Внимание к "заурядным биографиям", к воссозданию "индивидуальных инициатив" и "персональных пространств", безусловно, возвращает немецких ученых к классической истории событий. Вместе с тем они настаивают на том, что в микроистории речь не идет только

(как иногда пишут) “о педантичном изображении самых маленьких деталей” и не только о “точном воссоздании поступков людей”<sup>41)</sup>. Вряд ли можно ограничиться, на их взгляд, и определением микроанализа как “смешанной нарративно-теоретической формы логического обоснования”<sup>42)</sup>. Историки ФРГ призывают не терять из виду, что таковая всё же включает в себя давно известный метод герменевтики. Однако видится он сегодня им под новым углом зрения. Суть инноваций в этой области связана с ориентацией на понимающую или символическую антропологию, в первую очередь, К.Гирца, а также Маршала Салинса. Новое направление историописания было обозначено немецкими учёными как “путешествие Клио в Океанию”<sup>43)</sup>.

Центральным для этнографии К.Гирца, как известно, является семиотическое понятие культуры, определяемое как сетка смыслов и значений, которыми человек измеряет свои поступки<sup>44)</sup>. Другая составляющая его учения - метод известный как “плотное (или сгущенное) описание”<sup>45)</sup>, приобретающий между тем при интерпретации социальной истории совершенно новые формы. Это ярко продемонстрировали первые попытки применения данных ориентиров в объяснении прошлого. В американской историографии, скажем, их использовал Роберт Дарнтон в своем широко известном исследовании французской культуры - “Великая казнь кошки”<sup>46)</sup>.

Смысл нового подхода сводится к следующему. К.Гирц объясняет социальные поступки, исходя из того, что в них заложено символическое содержание. Это возможно, тем не менее, лишь в том случае, когда культура общества раскрыта как кодовая система таких символов. А поскольку поступку можно придать самые разные значения, он изучается как “текст”, из которого этнограф выбирает символические аспекты. При этом лишь те, которые эти поступки реально содержат и которые таковым ни в коем случае не противоречат.

И ещё на один существенный момент в построениях К.Гирца и М.Салинса обращают внимание немецкие историки. Мир прошлого должен объясняться не из теорий и представлений современного ученого, а из понимания этого мира его “аборигенами”. Они соглашаются с тем, что воссоздание совершенно иной, чужой действительности - задача чрезвычайно трудная. Об этом говорит часто цитируемое высказывание К.Гирца, что уловка исследователя заключается в том, чтобы выяснить то, о чем думал дьявол ещё до того, как с людьми что-либо произошло. При этом К.Гирц не ведёт речи о “вживании” или о попытке духовной идентификации с субъектом изучения. Он надеется достичь своей цели с помощью этнографии и этнологии, а именно путём сгущения интерпретации (а не описания)<sup>47)</sup>, т.е. путём создания некоего микрокосмоса и всестороннего толкования его при помощи множества теорий и инструментов познания.

Таким образом, понимающая антропология была воспринята учеными ФРГ и как ориентир для изменения ракурса историописания, и как историческая версия метода “плотного описания”<sup>48)</sup>. Правда они отмечают, что, если полностью следовать за К.Гирцем, то внимания историка достойны лишь те поступки людей, которые имеют символический характер. Это чаще всего церемонии в повседневной жизни людей, их симпатии и антипатии, ритуальные действия и т.д. Несомненно, они любопытный предмет для микроанализа, - соглашаются историки, - но что дальше?

Ограниченность таких ориентиров сразу же была отмечена представителями билефельдской школы. Доводы, пишет Ю.Кокка, которые, начиная с 50-х годов, выдвигались против классического историзма, в полной мере относятся и к возможной абсолютизации подхода к прошлому с позиций истории мироощущений “маленьких людей”. Он в который раз подчёркивает, что история не исчерпывается знаниями людей о мире и о себе, а также их установками. Более того, на его взгляд, выводы, опирающиеся на изучение символов и жизненного опыта, могут быть просто “обманчивыми”. Лишь когда историк попытается, заключает Ю.Кокка, не только действительно серьезно отнестись к субъективным представлениям участников событий, но и одновременно понять объективную ситуацию (или контекст) их жизнедеятельности, он сможет приблизиться к исторической правде. Однако для этого, по его мнению, микроисторик должен подробно рассмотреть всё то, что называется макроанализом структур и процессов. Причём последний не должен подменять эмпирическую реконструкцию чувств и поступков человека, также как и его, в свою очередь, нельзя подменять микроанализом<sup>49)</sup>.

Вывод Ю.Кокки однозначен. Основанное лишь на герменевтическом постижении символических или смысловых характеристик конструирование истории не способно дать её целостной картины. Между тем учёный не в силах указать и пути к достижению этой цели. По его признанию, историкам различных школ и направлений ещё предстоит достичь согласия по столь сложному вопросу как создание интегральной версии изучения прошлого<sup>50)</sup>. Безмерное расширение предмета исследования и методов его анализа вылилось в “постмодернистский хаос” в историописании. Картина прошлого дробилась “историей снизу” на множество разноцветных осколков. Нужны были логические правила для воссоздания социальной целостности, которые предлагались “историей сверху”. Необходимость соединения микро и макро осознается сегодня всем историческим сообществом.

Поиски амбивалентной парадигмы историописания в немецкой науке достаточно многообразны. Антропологически ориентированные историки возлагают большие надежды на изучение сферы деятельнос-

ти человека. При этом они активно используют новые трактовки культуры (в антропологическом смысле этого слова) как “культурной практики”, создающей сеть повседневных отношений и выражающей то, как общество в данное время и в данном месте увидело и отразило свое отношение к миру. Как раз это понятие культуры, правда не без критических замечаний, принял Х.Медик, чтобы создать такой вариант социальной истории, где были бы раскрыты взаимосвязи объективных структур и субъективного опыта. Вместе с тем, в ФРГ серьезно изучаются эксперименты в этой области американских и французских ученых<sup>51</sup>. В интерпретации культуры как “самотканой материи смыслов” немецкие историки надеются найти сегодня ключ к разрешению многих проблем своей науки.

Новая дефиниция культуры была воспринята даже той частью ученых Германии, которая “поклонялась святому триединству: экономика, общество и власть”<sup>52</sup>. Более того, можно отметить элементы её мифологизации. Так семиотическая трактовка культуры явилась поводом для бурного изучения символических аспектов бытия. А высказывания о том, что всякое явление - это культурная конструкция стали привычными. Вместе с тем, соглашаясь в целом с высокими оценками в адрес новых подходов, немецкие историки настаивают на необходимости определения радиуса действия и “мощности” понятия культуры при изучении прошлого. О.Ульбрихт, к примеру, задается вопросом, можно ли его распространять на все области исторической реальности и не является ли более осмысленным сужение этого понятия<sup>53</sup>.

Отвечая на него, ученые ФРГ единодушны в том, что существуют такие сферы бытия, объяснение которых сквозь призму культуры наиболее оправдано. Это ярко продемонстрировали, на их взгляд, работы Р.Дарнтона, Н.З.Дэвис, Р.Шартье и других исследователей, посвященные проблемам символической антропологии и, прежде всего, анализу смысловых характеристик поведения людей в истории. Не отрицают немецкие историки наличия культурных аспектов и в других областях жизни общества, например, в экономических процессах. Однако они считают правомочным спросить, даёт ли их рассмотрение под новым углом зрения достаточно оснований для “широкого” понимания и объяснения исторических явлений. Исходя из этого, подчёркивается необходимость определения границ культурологического подхода, а, следовательно, и тех сфер, где он вряд ли даст ожидаемые результаты.

Ю.Кокка, скажем, соглашается с продуктивностью культурно-исторических подходов у К.Гирца, П.Бурдьё и П.Бёрка. Он видит положительные результаты понимания культуры как системы (или некоей “сетки”) знаков, которая позволяет осмыслить действительность значительному числу людей. Именно освоение этой “сетки”, по его признанию, делает возможными социальные отношения (т.е. коммуни-

кацию, объединение и размежевание в межличностных связях). Кроме того, она определяет отношение человека к самому себе и к своему окружению. Система таких символов, отмечает учёный, действительно содержит информацию о верном и ложном, добром и злом, прекрасном и безобразном. Но главное, по мнению Ю.Кокки, в том, что она формирует контекст, в котором люди воспринимают действительность и упорядочивают свои представления о ней. Здесь они дают нравственные оценки поступкам другого человека и нововведениям, а также вырабатывают свои эстетические суждения<sup>54</sup>.

В ходе обсуждения предложенных образцов интерпретации культуры, связанных с определением смысловых характеристик реальности, отмечено, что она находит свое выражение во множестве феноменов менталитета, деятельности и образа жизни людей<sup>55</sup>. Это не только определенные тексты, нормы морали, произведения искусства, устная традиция и т.д., которые напрямую служат толкованию смысла, но и “творения человека”, имеющие совершенно иные функции. С точки зрения историков, многие действия человека и их результаты (скажем, ремесленный труд, парламентскую речь, любовные отношения, меры наказания, образцы промышленных изделий) можно одновременно интерпретировать и как составляющие культурных связей. Было указано также, что культура в этом смысле, хотя и изменяется во времени, но не подвержена быстрой трансформации. Напротив, она обладает достаточным постоянством для того, чтобы, несмотря на эволюцию индивидов, опыт которых она выражает и воспроизводит вновь и вновь, сохранять способность оставаться идентичной самой себе и передаваться от человека к человеку, от поколения к поколению<sup>56</sup>.

Важным предметом анализа в немецкой науке стала также тема символа и возможностей символической антропологии<sup>57</sup>. Было аргументировано отсутствие однозначности таких конструкций, а также наличие как социально, так и регионально различных знаковых систем. Исходя из этого, вновь был поставлен вопрос о месте и значении их интерпретаций при объяснении прошлого. Германские ученые соглашались с тем, что символы конструируются из духовной атмосферы истории на основе аналогий, т.е. они могут быть сформулированы только на микроуровне. В таком случае, заключают они, возможно большое количество совершенно различных толкований, качество и адекватность которых нельзя проверить, поскольку механизмов их контроля не существует<sup>58</sup>.

Как видим, репрезентативность результатов исследования остается наиболее слабым пунктом микроистории. Даже утверждение К.Гинзбурга, что её итальянская ветвь эту проблему решила<sup>59</sup>, не убеждает немецких ученых. Они соглашались с предложенными им обоснованиями особого исходного пункта микроанализа. Тем не менее, для них

является фактом, что казусы прошлого передают, к примеру, лишь поведение конкретного индивида, а не большинства населения. Более того, на их взгляд, оно не может, в конечном счете, на них распространяться. Вопросы о том, как экстраполировать результаты таких толкований в сферу коллективного опыта, каковы методы их включения в обобщающие построения на макроуровне, остаётся для историков ФРГ открытым.

Показательна в этом отношении оценка исследования "жизненной материи" ("ткани жизни") в Лайпциге 1650-1900 годов, предложенного Х.Медиком<sup>60</sup>. По его собственному признанию, многие приведённые им факты повседневности нужно рассматривать "в глобальной европейской и немецкой перспективе ... как исключительные случаи"<sup>61</sup>. Ученый указывает, правда, на нормальность парадоксальных явлений в переходные периоды истории, и считает их изучение вполне оправданным. Но следующий шаг в объяснении социальной реальности он видит все-таки в возвращении к менее скандальным случаям, в интерпретации типичного и тривиального. В качестве позитивного примера на этом пути следует отметить работу Норберта Шиндлера о культуре и образе жизни нищих Зальцбурга в конце 17 столетия<sup>62</sup>. Основанная на изучении актов ведовских процессов 1675-1690 гг., она не обходит вниманием и другие тщательно отобранные и весьма разнообразные источники. Причем, следует указать на тот факт, что стремление к проверяемости и доказуемости своих выводов приводит ученого к несколько иным постановкам вопросов, чем те, которые предполагались изначально.

Интересен в этом плане ход размышления Х.Медика, особо подчеркивавшего роль культуры как самостоятельной движущей силы в истории. В фокусе его внимания - вопрос о размерах и радиусе действия этой силы<sup>63</sup>. Пытаясь ответить на него, он оказался перед серьезной проблемой. Если культура вызывает изменения в обществе, то что вызывает тогда изменения культуры? Здесь ученый сталкивается с необходимостью анализа контекста её развития, т.е. экономических, политических и идеологических аспектов бытия. Наряду с этим, перед ним встает проблема структурных изменений самой культуры во времени. Это, разумеется, шаг к макроанализу и к взаимопониманию со сторонниками социально ориентированной историографии. Ведь, как свидетельствуют работы того же Х.Медика, широкое понимание микроанализа в Германии ориентировано, в конечном счете, на воссоздание (пусть в малом), но комплексной или всеохватывающей картины события<sup>64</sup>.

Новые ориентиры современной немецкой историографии, несомненно, сближают её столь различных представителей. Анализ культуры как социальной практики подводит учёных к обыденным установкам, опыту, мировосприятию и поступкам людей, живущим в одно время. Ис-

торики задаются вопросами: что означал для них окружающий мир? Как его изменения осознавались ими? Почему эти люди занимали по отношению к происходящим событиям ту или иную позицию и оценивали их так, а не иначе? На все эти вопросы можно ответить, только обладая четким представлением о культуре конкретной социальной группы как некоего единства и, прежде всего, о свойственном ей менталитете и о её способностях рассуждать и принимать решения. Именно культура в таком понимании, по их мнению, задает координаты мировосприятия конкретной личности, её жизненного опыта, а, следовательно, определяет её установки и инициативные действия. Более того, все чаще подчёркивается, что распространение этой "знаковой сетки" во времени порою опережает изменения опыта отдельных людей. Поэтому, чтобы расшифровать "смысловые характеристики" культуры, требуется нечто большее, чем реконструкция опыта конкретных людей, в котором этот смысл представлен лишь отчасти и, возможно, в искаженном виде.

Свой путь решения данных проблем предложили сторонники билефельдской школы. Ю.Кокка настаивает на том, что дефиниции "культура" и "структура" не являются ни противоположностями, ни понятиями, между которыми существуют "натянутые отношения". Кроме того, подчёркивает он, культурная история не идентична лишь эмпирической истории. Ей нужны и обобщающие теории, и, соответственно, методы макроанализа. Учёный считает необходимым разработку такой модели интерпретации культуры, которая не ограничивалась бы лишь реконструкцией повседневного жизненного опыта, и уж тем более только видением предмета "изнутри". Ю.Кокка согласен, что опыт людей определенной эпохи нельзя воссоздать без учета характерных для них образцов толкования окружающего мира. Но, с другой стороны, если ограничиваться только герменевтической трактовкой его смысла, понять их культуру, на его взгляд, невозможно<sup>65</sup>.

Проблема об отношениях микро- и макроанализа дискутируется в германской историографии особенно активно. К.Гирц, как известно, сознательно отказывался от создания общих теорий и настаивал на самоограничении в рамках единичных случаев. Для немецких историков это неприемлемо. Даже Х.Медик, один из ведущих сторонников антропоцентризма, однозначно заявлял, что способы видения прошлого должны вести ученого от единичного к генерализации<sup>66</sup>. Учёные, конечно, обращаются к идее "индивидуальной тотальности" классического немецкого историзма. Вместе с тем, активно используя построения К.Гирца, историки ФРГ стремятся представить его "плотное описание" не только как герменевтический подход, но и как разновидность метода идеальных типов<sup>67</sup>. Очень давний и отчетливый интерес к теории М.Вебера стимулирует также тот факт, что его концепция уже была

опробована немецкими социологами для разрешения “проблемы взаимоотношений микро и макро” на их собственном уровне<sup>68</sup>.

Поиски путей включения результатов микроанализа в рамки всеобщей истории остаются для германских ученых одной из главных задач. При её решении в специфической форме ставится вопрос о связях незначительных деталей и генерализирующих формулировок. Более того, как подчеркивает Винфрид Шульце, от микроистории вообще неотделима проблема обобщения её результатов, которая возникает вновь и вновь в связи с необозримым расширением сферы исторической реальности<sup>69</sup>. Немецкие историки задаются вопросом, что нужно сделать, чтобы микроистория не осталась в аппарате примечаний, куда так часто относят её толкования? Ответ практически единодушен. Для этого необходима “двойная перспектива” постижения исторических событий. Однако осуществить такой подход на практике оказалось гораздо труднее, чем в теоретических рассуждениях. Некоторые контуры новой интегральной парадигмы были, безусловно, обозначены. Она ориентирована, в первую очередь, на отображение многомерного характера исторического процесса, на создание его объёмной конструкции с помощью социо-культурного синтеза. Стремление найти опору для этого в диалоге микро- и макроистории всё более стирает грани между ними в новых полимасштабных исследованиях. Причем, надо отметить, что движение навстречу друг другу идет с обеих сторон.

Интересны в этом плане размышления Ю.Кокки о различиях в понятиях “структура”, с одной стороны, и “событие”, “поступок”, “опыт” - с другой<sup>70</sup>. Учёный настаивает на том, что структуры и исторические процессы в целом представляют собой нечто большее, чем сумма индивидуальных “жизненных опытов”. Кроме того, они часто не присутствуют в последних или же присутствуют здесь в искаженном виде. И, наоборот, - опыт не детерминируется целиком структурами и объективными процессами. Эти два измерения действительности не совпадают между собой. Поэтому, по его признанию, с одной стороны, структурная история без эмпирической страдает односторонностью и неполнотой. С другой стороны, она не растворяется в событийной истории, она шире её. И уж совсем не следует ожидать, по мнению Ю.Кокки, что эмпирический материал можно использовать для подтверждения синтезирующих обобщений структурного анализа. Микроистория, заключает он, не представляет собой альтернативу прежней социальной истории, даже если она способствует ее внутреннему обогащению и смене акцентов<sup>71</sup>.

Рассуждения и выводы Ю.Кокки, в определённой степени, очерчивают контуры постструктурализма, о котором так много говорят в историографии Германии в последние годы<sup>72</sup>. Учёный заявляет, что макроподход не является монополией социально ориентированной науки,

но и последняя не сводима лишь к анализу структур. В задачи “новой социальной истории”, на его взгляд, входит также исследование идей, поступков и мировоззрения людей. Тот, кто ограничивается анализом глобальных процессов, отказывается тем самым от фундаментального положения о том, что таковые (особенно в фазе их возникновения) являются следствием индивидуальных и коллективных действий. Никогда нельзя забывать о том, подчёркивает историк, что структуры постоянно испытывают их влияние, укрепляясь и изменяясь под их воздействием. Структуры всегда зависимы от человека, какой бы ни была их собственная динамика, какой бы отпечаток они, в свою очередь, не накладывали на субъективную сферу, и как бы мало они в итоге не совпадали с целями деяний людей или с их жизненным опытом<sup>73</sup>.

Речь идет у Ю.Кокки, в общем, о том, что связь между микро- и макроуровнями социальной реальности следует понимать как исторически меняющееся отношение преломления и несовпадения. Пренебрегать ею, по его мнению, означает в методологическом смысле либо объективистское сведение исторической действительности к структурам и процессам, либо субъективистский отказ от постижения ее как единства духа и материи. Любой из этих подходов будет, бесспорно, свидетельствовать о несовершенстве наших представлений о прошлом.

Подводя некоторые итоги “методологической революции” в историографии ФРГ, следует отметить, что она далека от завершения. В.Хардиг, к примеру, характеризует нынешнюю постмодернистскую ситуацию в науке как состояние “чрезмерного плюрализма”, когда путь от частных наук к интегральной парадигме ещё не ясен<sup>74</sup>. Вопрос о том, что более значимо для объяснения прошлого - изучение общественных связей и отношений или же их восприятия и интерпретации актёрами истории, остается нерешённым. Тем не менее, сделанные выводы о непродуктивности изолированного рассмотрения отдельных фигур и плодотворности включения их в социальный и интеллектуальный контекст эпохи, открывают перед сторонниками микроанализа новые горизонты. Об этом свидетельствуют и те направления его использования, которыми идут немецкие учёные.

Первое (традиционное) видится в интерпретации микрособытий как частных случаев больших процессов. Правда, и здесь пытаются найти новые формулировки и новые подходы к уникальным и парадоксальным явлениям. По меньшей мере, подчеркивается необходимость их комплексного анализа. Второе направление связывается с многоуровневой концепцией истории. Как раз при помощи выделения таких уровней, которые соединены друг с другом совершенно по-разному, историки надеются представить эволюцию общества со всеми её прерывностями и неодновременностью. Это будет означать, по мнению О.Ульбрихта, новое видение прошлого, разрушающее традиционную цент-



рированность, непрерывность и линейность. Более того, на его взгляд, в какой-то мере оно будет противостоять “унифицированному пониманию синтеза”<sup>75</sup>, а именно, выявлению своих точек интеграции на каждом уровне. Конечно, данный путь кажется большинству немецких историков более привлекательным, но вместе с тем и более трудным. Он создает новые и серьезные проблемы как в сфере теории и методологии историописания, так и в технических средствах изображения прошлого<sup>76</sup>.

Действительно, историческое явление нельзя объяснить какой-либо одной причиной. Непригодно также и простое сложение нескольких факторов. Важнейшей задачей мировой исторической науки сегодня является построение “дифференцированных моделей” объяснения прошлого с последующим синтезом результатов разноуровневых толкований. С одной стороны, спектр социальных исследований постоянно расширяется. С другой - их авторы стремятся (пусть в малом) ориентироваться на решение системных вопросов, чтобы заложить фундамент для обобщающих интерпретаций. Поиски интегральной парадигмы историописания требуют учета взаимодействия реальностей разных уровней и масштабов. Хорошо известна концепция Ф. Броделя о трех уровнях времени. Ханс-Ульрих Велер, один из основоположников билефельдской школы, зовёт к признанию трёх принципиально равнозначных осей развития общества: экономической, политической и культурной. На его взгляд, как раз их взаимодействие определяет ход и динамику общественного развития<sup>77</sup>. Таким образом, выявление уровней развития идёт как по вертикале, так и по горизонтали. Причём предполагается разный масштаб видения событий и процессов на этих уровнях.

Решение проблемы синтеза микро- и макроистории нацелено, словами Уте Даниэль, на преодоление этой “кажущейся оппозиции”, а также против любого “методологического фетишизма”<sup>78</sup>. Вместе с тем, необходимость сочленения объективных структур и субъективных представлений людей требует поиска не только новых ориентиров, но и новых исследовательских пространств. Здесь немецкие ученые активно восприняли импульсы, исходящие из-за границы, где историки пришли к выводу, что к “большим” вопросам лучше всего подходить через “малые”, т.е. через насыщенные материалом источников региональные исследования. Именно в “новой локальной истории”, заявившей о себе в 70-80-е гг., видится перспективный путь к осуществлению намеченных проектов<sup>79</sup>.

И впрямь, никто не считает микроанализ настолько пригодным для объяснения прошлого как представители региональной и локальной истории. Показательно, что такие исследователи как К.Гинзбург и Н.З.Дэвис, которые часто символизируют микроисторию, являются

знатоками один - Фриули, другая - Лиона<sup>80</sup>. Есть даже мнение, что эти дисциплины способствовали возникновению микроистории. По меньшей мере, в них можно наблюдать сходные тенденции эволюции. Оценить вклад региональной истории в новые интерпретации прошлого и определить её возможности на этом пути попытались также немецкие ученые. Взгляд был обращен к работам таких известных в Германии её представителей, как Гене Бруккер, Сильке Гётч, Клаус Вульф<sup>81</sup> и др.

В ходе их критического анализа был сделан вывод, что, поскольку региональная история изучает конкретные факты, которые достаточно хорошо документированы, она имеет все основания для “широких толкований”. Причем, репрезентативность её выводов является важной предпосылкой к тому, чтобы, исходя из малого, ставить большие вопросы. Вместе с тем ученые ФРГ соглашались с тем, что любой “краевед” знает мельчайшие подробности истории своего региона, которые, безусловно, содержат социальную драму. Однако объяснить её он, по их признанию, часто не в силах, ибо не владеет инструментами для этого. Чтобы постичь сценарий этой драмы, О.Ульбрихт призывает исследователей открыть для себя новые познавательные процедуры микроистории и под новым углом зрения взглянуть на имеющиеся источники. С помощью социо-культурных ориентиров региональная история сумеет, на его взгляд, выявить смысловые характеристики зафиксированных фактов и событий, обозначить их место в сознании людей, а также, наконец, объяснить механизмы социального действия<sup>82</sup>.

Особенно плодотворным представляется использование микроанализа при изучении тех фактов, которые не вписываются в стандарты и никогда не будут истолкованы на макроуровне. Так К.Вульф, к примеру, констатировал, что во время эпидемии чумы жители города Рендсбурга возмущались “благоразумными” приказами и не выполняли их<sup>83</sup>. Объяснить такое поведение с помощью логических заключений трудно. Но оно станет более понятным, по его мнению, если поставить вопрос о том смысле, который в него вкладывали горожане или, более широко, об их культуре (в антропологическом понимании этого слова).

Следовательно, как раз в рамках регионального исследования ученые ФРГ надеются обратить взор своей науки на конкретных людей. Вместе с тем, интерпретируя человеческую жизнь в социо-культурных измерениях, они надеются не потерять из виду нацию и государство. Историки подчеркивают, что, с одной стороны, глобальные процессы нельзя понять без анализа изменений в конкретном регионе. Но в тоже время именно здесь проявляются особенности, противоречия и многовариантность таких процессов. В силу этого, по их признанию, данный подход даёт возможность объединить предположения и догадки микроисторика и жесткие формулировки макрообъяснений. С его по-



мощью они надеются найти золотую середину между ними, средний уровень обобщения. Как заметил Х.Медик, в предложенном им исследовании вюртембергской деревни Лаихинген было прослежено воздействие специфически региональных характеристик на общие процессы эволюции. Но проявились они, считает историк, в совершенно другой форме, чем ожидалось<sup>84</sup>. Поэтому путь обновления региональной истории видится в том, чтобы (словами О.Ульбрихта) поставить заключения макроистории об особенностях локальных изменений на испытательный стенд микроанализа<sup>85</sup>. Кроме того, именно на этом промежуточном уровне учёные пробуют обозначить точки соприкосновения микро- и макроистории.

Для характеристики нынешнего состояния исторической науки Германии показательны также трансформации социально ориентированного направления. Его представители в целом признали продуктивность критики в свой адрес. Конструктивно ответив на "вызов постмодернизма", они надеются открыть для себя множество новых тем и сфер исторической действительности, которые традиционно оставались вне поля их зрения. Более того, на этом пути они ищут возможности создания специфических для социальной науки интерпретаций общественных феноменов, стремятся чётко обозначить свою "зону влияния". Происходит смена акцентов в пользу многомерной социо-культурной концепции. С помощью новых подходов сторонники билефельдской школы намерены увязать опыт, представления и действия людей со структурами и процессами. При этом внимание по-прежнему концентрируется на внешней, а не на внутренней стороне субъективного фактора.

По мнению приверженцев этой школы, сугубо эмпирическая история является еще более односторонней абстракцией, чем чистая структурная история. В силу этого, попытки взаимодополнения или объединения обеих ставят перед исследователями непростые проблемы, которые предстоит осмыслить, в первую очередь, теоретически. И здесь Ю.Кокка по-прежнему непреклонен. В своих недавних выступлениях он подчеркивает, что от приверженцев антропоцентризма в решении этих задач многого ждать не приходится<sup>86</sup>. Их склонность к микроисторическим деталям - пишет он - их, как правило, теоретически скудное, но окрашенное симпатией к простым людям пристрастие к реконструкции тёмных ниш прошлого, конечно, важны. Но такие построения, на его взгляд, часто непродуктивны, сбивают с толку и создают преграды для познания исторического процесса. Ю.Кокка ставит учёных перед вопросом, на основании чего в лоне изучения "воздушных замков культурологии"<sup>87</sup> возникнут синтезирующие понятия, методы и теории, которые дадут возможность реконструировать историю в ее существенных чертах и связях? Эта возможность, по его мнению, заблокирована, так как объяснить феномены прошлого "изнутри" невозмож-

но в принципе. Учёный с сожалением вынужден констатировать, что вопрос о том, каковы реальные пути преодоления этих трудностей сейчас, на исходе XX в., остаётся открытым.

Таковы некоторые итоги трансформации исторической науки ФРГ, её стремления поставить новые вопросы и найти более эффективные методы анализа<sup>88</sup>. Цель принципиального обновления исторического знания - создание комплексной картины прошлого путём её объёмного и многомерного конструирования. Найти возможности для этого учёные пытаются в исследованиях сферы деятельности субъектов истории. На передний план анализа выдвигаются процессы культуры как социальной практики, локальные и групповые конструкции среднего уровня. При этом активно используются достижения в этой области мировой науки, а также собственные традиции. Немецкие историки надеются наглядно и подробно показать роль объективных факторов как контекста деятельности людей, поскольку в определенных границах и под определенным углом зрения "невидимые детерминанты" всегда присутствуют в жизненном опыте и "культурной практике". Поиск такой комбинации теоретического и методологического инструментария, которая позволила бы показать линии взаимосвязей между общественными системами и жизненными мирами, продолжается. Но уже сделаны важные шаги в этом направлении. Всеми признаны познавательные возможности как структурной, так и событийной истории, а также очерчены контуры их сфер полномочий. Задача сегодня заключается в том, чтобы обозначить плодотворные пути сочетания микро- и макроанализа. Ведь только так можно приблизиться к познавательному идеалу современных учёных - к истории общества как целостности. Следовательно, новая парадигма историописания основывается на принципах плюрализма, сосуществования и взаимодополняемости различных вариантов толкования прошлого.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Burke P. History and Social Theory. Cambridge, 1992, S. 21.

<sup>2</sup> La Capra D. Der Käse und die Würmer. Der Kosmos eines Historikers im 20. Jahrhundert // ders. Geschichte und Kritik. Frankfurt a.M., 1987. S.41.

<sup>3</sup> Об истории понятия см.: Ginzburg C. Mikrogeschichte. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiss // Historische Anthropologie. 1993. H.1. S. 169-176.

<sup>4</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1994. H. 6. S. 347-367.

<sup>5</sup> См. об этом: Социальная история: проблема синтеза. М., 1994; Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // Одиссей. Человек в истории. М., 1994. С. 1-22; Гуревич А.Я. Историк конца XX века в поисках метода // Одиссей 1996. М., 1996. С. 5-10 и др.

- <sup>6</sup> Ginzburg C. und Poni C. Was ist Mikrogeschichte? // Geschichtswerkstatt. Jg. 6. 1985. S. 50.
- <sup>7</sup> „Этнология исследует не деревню..., она исследует в деревне”: Geertz Cl. Dichte Beschreibung // ders. Dichte Beschreibung. Frankfurt am Main, 1983. S.32.
- <sup>8</sup> См. об этом: К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной западной исторической мысли. Томск, 1994. Глава 4. С. 130-190.
- <sup>9</sup> Шверхофф Г. От повседневных подозрений к массовым гонениям // Одиссей 1997. Человек в истории. М., 1997. С. 327.
- <sup>10</sup> Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine Diskussion / Hrsg. von W. Schulze. Göttingen, 1994. S. 19.
- <sup>11</sup> Medick H. Entlegene Geschichte? Sozialgeschichte und Mikro-Historie im Blickfeld der Kulturanthropologie // Zwischen den Kulturen / Hrsg. von Joachim Matthes. Göttingen. 1992 (= Soziale Welt, Sonderband 8). S. 167-178; ders. Ketzerei und „wilde Hermeneutik“ in der Volkskultur der frühen Neuzeit // Journal für Geschichte. B. 2. 1980. H.4. S. 32-36; ders. Mikro-Historie. Neue Pfade in die Sozialgeschichte. Frankfurt am Main, 1994; ders. Mikro-Historie // Sozialgeschichte - Alltagsgeschichte - Mikro-Historie / Hrsg. von W. Schulze. Göttingen, 1994; Медик Х. Микроистория // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 193-202.
- <sup>12</sup> Historische Anthropologie: Kultur, Gesellschaft, Alltag. Köln, Weimar, Wien, 1993. H.1-3.
- <sup>13</sup> См.: Medick H. „Missionäre im Ruderboot?“ Ethnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung an die Sozialgeschichte // Geschichte und Gesellschaft. Jg. 10. 1984. S. 302.
- <sup>14</sup> Schulze W. Ego-Dokumente. Annäherungen an den Menschen in der Geschichte // Von Aufbruch und Utopie. Perspektiven einer neuen Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters. Für und mit Ferdinand Seibt aus Anlass seines 65. Geburtstags / Hrsg. von Bea Lundt und Helma Reimöller. Köln, Weimar, Wien, 1992. S. 417-450.
- <sup>15</sup> См. напр.: Persönlichkeit und Struktur in der Geschichte / Hrsg. von M. Bosch. Düsseldorf, 1977; Born K.E. Der Strukturbegriff in der Geschichtswissenschaft // Der Strukturbegriff in den Geisteswissenschaften. Mainz, 1973, S. 17—30.
- <sup>16</sup> Ullrich V. Entdeckungsreise in den historischen Alltag. Versuch einer Annäherung an die „neue Geschichtsbewegung“ // Geschichte in Gesellschaft und Unterricht. 1985. Jg. 36. S. 403—414.
- <sup>17</sup> См. об этом: К новому пониманию человека в истории... С. 130-190.
- <sup>18</sup> См.: Schulze W. „Von den grossen Anfängen des neuen Welttheaters“. Entwicklung, neuere Ansätze und Aufgaben der Frühneuzeitforschung // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1993. H.4. S. 17.
- <sup>19</sup> См.: Medick H. Missionäre ... S. 319.
- <sup>20</sup> Geertz Cl. „Aus der Perspektive des Eingeborenen“. Zum Problem des ethnologischen Verstehens // ders. Dichte Beschreibung. Frankfurt am Main, 1983. S. 293.
- <sup>21</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung... S. 356.
- <sup>22</sup> См.: Бессмертный Ю.Л. Что за „Казус“? // Казус. 1996. М., 1997. С. 7-24.
- <sup>23</sup> См.: Ginzburg C. Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600. Frankfurt am Main, 1983. Правомочность такого анализа ученый подтверждает и в последующих работах: Ginzburg C. Mikrogeschichte ... S. 182-183.
- <sup>24</sup> Maurer M. Geschichte und Geschichten. Anmerkungen zum publizistischen Ort der neueren „histoire scandaleuse“ // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Jg. 42. 1991.

- S. 674-691. Цитаты см.: S. 674, 688, 691. Ученый анализирует произведения Гинзбурга, Дэвис и Броуна.
- <sup>25</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung... S. 358.
- <sup>26</sup> См.: Гренди Э. Ещё раз о микроистории // Казус. 1996. С. 291-302.
- <sup>27</sup> См.: Ginzburg C./ Poni C. Was ist Mikrogeschichte?... S. 51.
- <sup>28</sup> Ibid.
- <sup>29</sup> См.: Davis N.Z. The Shapes of Social history // Storia della storiografia. 1990. W. 17. P. 31.
- <sup>30</sup> См.: Medick H. Entlegene Geschichte? ... S. 174-176.
- <sup>31</sup> Ullrich V. Entdeckungsreise in den historischen Alltag... S. 403.
- <sup>32</sup> „Geschichte von unten — Geschichte von innen“. Kontroversen um die Alltagsgeschichte / Hrsg. von F.-J. Brüggemeier und J. Kocka. Hagen, 1986; Peukert D. Arbeiteralltag — Mode oder Methode? // Arbeiteralltag in Stadt und Land / Hrsg. von H. Haumann. Berlin, 1982; Tenfelde K. Schwierigkeiten mit dem Alltag // Geschichte und Gesellschaft. 1984. Jg. 10. S. 376-394; Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte / Hrsg. von H. Süssmuth. Göttingen, 1984.
- <sup>33</sup> См.: Geertz Cl. Dichte Beschreibung... S. 10.
- <sup>34</sup> См.: Ginzburg C. Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest Morelli - die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst / / Freibeuter. Bd. 3. 1980. S. 7-17 und Bd. 4. 1981. S. 11-36.
- <sup>35</sup> Ginzburg C. Spurensicherung ... 1980. S. 16.
- <sup>36</sup> См.: Adams M.M. Theorie und Methode der Geschichte. Ein Literaturbericht // Archiv für Sozialgeschichte. Jg. 33. 1993. S. 627.
- <sup>37</sup> См.: Kocka J. Zurück zur Erzählung? Plädoyer für historische Argumentation // Geschichte und Gesellschaft. Jg. 10. 1984. S. 407. См. также: Chartier R. Die unvollendete Vergangenheit. Beziehungen zwischen Philosophie und Geschichte // ders. Die unvollendete Vergangenheit. Frankfurt am Main, 1992. S. 39-40.
- <sup>38</sup> Kocka J. Historische Sozialwissenschaft // Handbuch der Geschichtsdidaktik. Düsseldorf, 1985. S. 170-172.
- <sup>39</sup> См. напр.: Kocka J. Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme. Göttingen, 1986. S. 167-174.
- <sup>40</sup> См.: Medick H. Mikro-Historie. Neue Pfade in die Sozialgeschichte. Frankfurt am Main, 1994.
- <sup>41</sup> Das Schwein des Häuptlings. Sechs Aufsätze zur Historischen Anthropologie / Hrsg. von Rebekka Habermas und Nils Minkmar. Berlin, 1992. S. 15.
- <sup>42</sup> Dülmen R. van. Historische Anthropologie in der deutschen Sozialgeschichtsschreibung // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Jg. 42. 1991. S. 705.
- <sup>43</sup> См.: Daniel U. „Kultur“ und „Gesellschaft“. Überlegungen zum Gegenstandsbereich der Sozialgeschichte // Geschichte und Gesellschaft. Jg. 19. 1993. S. 81-84.
- <sup>44</sup> Сравни: Великовский С.И. Культура как полагание смысла // Одиссей 1989. Человек в истории. М., 1989. С. 17-20.
- <sup>45</sup> Geertz Cl. Dichte Beschreibung... S. 30.
- <sup>46</sup> См.: Darnton R. Das grosse Katzenmassaker. Streitzüge durch die französische Kultur vor der Revolution. München, 1989.
- <sup>47</sup> См.: Geertz Cl. „Aus der Perspektive des Eingeborenen“... S. 292.

- <sup>48</sup> См.: Medick H. Missionäre ... S.314.
- <sup>49</sup> См.: Kocka J. Historisch-anthropologische Fragestellungen — ein Defizit der Historischen Sozialwissenschaft // Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte. Göttingen, 1984, S.73-83.
- <sup>50</sup> См.: Кокка Ю. Аналитический и нарративный подходы к социальной истории // Социальная история: проблемы синтеза. М., 1994. С.46-54.
- <sup>51</sup> См.: Репина Л.П. "Постмодернистский вызов" и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // сё же. "Новая историческая наука" и социальная история. М., 1998. С. 224-247.
- <sup>52</sup> См.: Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1. München, 1987. S. 11-12.
- <sup>53</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung ... S. 362.
- <sup>54</sup> Кокка Ю. Социальная история между структурной и эмпирической историей // THESIS. 1993. Весна. С. 174-189.
- <sup>55</sup> См.: Реутин М.Ю. Народная культура Германии: Позднее средневековье и Возрождение. М., 1996.
- <sup>56</sup> Medick H. Plebejische Kultur, plebejische Öffentlichkeit, plebejische Ökonomie // Klassen und Kultur. Sozialanthropologische Perspektiven in der Geschichtsschreibung / Hrsg. von R.M. Berdahl u.a. Frankfurt a.M., 1982. S. 157— 204.
- <sup>57</sup> На немецкий язык было переведено большое количество работ на эту тему. См. напр.: Chartier R. Text, Symbol und Frenchness. Der Historiker und die symbolische Anthropologie // ders. Die unvollendete Vergangenheit. Frankfurt am Main, 1992. S.74-85.
- <sup>58</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung ... S. 362.
- <sup>59</sup> Ginzburg C. Mikrogeschichte... S.191.
- <sup>60</sup> Medick H. Weben und Überleben in Laichingen 1650-1900. Studien zur Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte aus der Perspektive einer lokalen Gesellschaft im frühneuzeitlichen Württemberg. Göttingen, 1994.
- <sup>61</sup> Medick H. Entlegene Geschichte ... S. 173.
- <sup>62</sup> См.: Schindler N. Die Entstehung der Unbarmherzigkeit. Zur Kultur und Lebensweise Salzburger Bettler am Ende des 17. Jahrhunderts // ders. Widerspenstige Leute. Frankfurt am Main, 1992, S.258-314.
- <sup>63</sup> См.: Medick H. Entlegene Geschichte ... S. 168, 169; ders. Missionäre ... S. 309.
- <sup>64</sup> См.: Medick H. Missionäre ... S.319.
- <sup>65</sup> Кокка Ю. Социальная история... С. 174-189.
- <sup>66</sup> См.: Medick H. Missionäre... S.315.
- <sup>67</sup> См.: Schulze W. Mikrohistorie versus Makrohistorie. Anmerkungen zu einem aktuellen Thema // Historische Methode / Hrsg. von Christian Meier und Jörn Rüsen. München, 1988. S. 340.
- <sup>68</sup> См.: Schwinn Th. Max Webers Konzeption des Mikro-Makro-Problems // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 1993. Jg.45. S.220-237.
- <sup>69</sup> См.: Schulze W. Mikrohistorie versus Makrohistorie... S. 325-333.
- <sup>70</sup> Kocka J. Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme... S. 73-75.
- <sup>71</sup> Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie... S. 34-37.
- <sup>72</sup> См.: напр.: Danial U. Clio unter Kulturschock. Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1997. Jg. 48. H.4-5/6.

- <sup>73</sup> Кокка Ю. Социальная история ... С. 185-187.
- <sup>74</sup> Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie...S. 19-20.
- <sup>75</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung ... S. 363.
- <sup>76</sup> См.: Schulze W. "Von den grossen Anfängen"... S. 15.
- <sup>77</sup> См. об этом: Патрушев А.И. Социальная история в Германии: проблемы синтеза // Социальная история: проблема синтеза. М., 1994. С.55-62.
- <sup>78</sup> Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie...S. 55-56.
- <sup>79</sup> См. напр.: Репина Л.П. Локальные исследования и национальная история: проблема синтеза // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 1. М., 1989. С. 148-158.
- <sup>80</sup> Ginzburg C. Die Benandanti. Feldkulte und Hexenwesen im 16. und 17. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1980.
- <sup>81</sup> Brucker G. Florenz in der Renaissance. Reinbek bei Hamburg, 1990; ders. Florenz. Stadtstaat, Kulturzentrum, Wirtschaftsmacht. München, 1984; Götsch S. Alle für einen Mann. Leibeigene und Widerständigkeit in Schleswig-Holstein im 18. Jahrhundert. Neumünster, 1991; Wulf C. Die Pest in Stadt und Amt Rendsburg // Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Rendsburg. 1960.
- <sup>82</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung ... S. 365.
- <sup>83</sup> См.: Wulf C. Die Pest in Stadt und Amt Rendsburg... S. 81-82.
- <sup>84</sup> Medick H. Entlegene Geschichte ... S. 172 -174.
- <sup>85</sup> См.: Ulbricht O. Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung... S. 365.
- <sup>86</sup> Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie... S. 34-37.
- <sup>87</sup> Ibid. S. 37.
- <sup>88</sup> См. также: Оболенская С.В. "История повседневности" в современной историографии ФРГ // Одиссей 1990. М., 1990. С. 182-198; Ястребицкая А.Л. История повседневности и проблема исторического синтеза // Социальная история: проблема синтеза... С.73-84; Патрушев А.И. Вернер Конце и пути немецкой социальной истории // Диалог со временем: историки в меняющемся мире. М., 1996. С.127-141.



И. М. Савельева  
А. В. Полежаев

## МИКРОИСТОРИЯ И МИКРОАНАЛИЗ

### 1. Определение.

Определений микроистории немногим меньше, чем авторов работ, принадлежащих к данному направлению. Это обстоятельство позволяет нам, не утомляя читателя сопоставлением достаточно противоречивых формулировок, предложить и аргументировать свой вариант дефиниции. Мы определяем микроисторию как историографическое направление, изучающее прошлую социальную реальность на основе микроаналитических подходов, сформировавшихся в современных социальных науках (прежде всего в социологии, социальной психологии, экономике и культурной антропологии), включая как выбор объектов исследования, так и соответствующие им методы (теоретический и эмпирический инструментарий). Иными словами, микроистория — это микроанализ, разработанный в социальных науках и примененный к прошлому.

Данное определение отчасти имеет нормативный характер. Некоторые самоопределения, которые дают «микроисторики», с ним расходятся, по крайней мере частично. Не вполне подпадают под него и многие исследования, квалифицируемые самими авторами или их коллегами как микроистория. Тем не менее предлагаемая формулировка как минимум позволяет устранить некоторые неясности, возникшие в ходе историографических дискуссий последнего десятилетия.

### 2. История и социальные науки.

Предложенная трактовка микроистории вытекает из нашего понимания истории прежде всего как полидисциплинарной науки, конструирующей прошлые, уже несуществующие социальные объекты<sup>1</sup>. Таким образом, историческое знание, в нашей интерпретации, оказывается не одной наукой, а системой или совокупностью социальных наук<sup>2</sup>, объектом которых является прошлая реальность. В силу своего полидисциплинарного характера история естественным образом использует достижения общественных наук, занимающихся современностью, и обращается к теоретическим схемам, моделям, категориям и понятиям, разработанным в различных социальных дисциплинах.

Однако, всякий раз, когда история использует достижения других

наук, щелкает переключатель времени: ведь история заимствует методы и приемы извне с целью изучения *прошлого*, а не *настоящего*. Поэтому история не может механически применять аппарат социальных наук, но должна видоизменять и развивать его применительно к отсутствующим социальным объектам. В идеале историки вынуждены не просто овладевать теориями других общественных наук, но, отталкиваясь от них, создавать новые (или, по крайней мере, модифицировать теории, ориентированные на анализ настоящего).

Далее, если общественные науки (экономика, социология, политология) обычно трактуются как сугубо аналитические, то лишь благодаря тому, что функция сбора и систематизации информации вынесена за рамки «чистой» науки или играет в исследованиях вспомогательную роль, которую берет на себя «младший научный персонал». В основном же первичным сбором и обработкой экономической, социальной, политической и т. п. информации занимаются государственные статистические ведомства, центры, проводящие социологические опросы, наконец, журналисты и информационные агентства. Но их деятельность относится лишь к существующей, сегодняшней реальности — для прошлого эту работу выполняют историки. Поэтому для каждого из «социальных» направлений, относящихся к прошлому, должна быть создана эмпирическая «подкладка» в виде соответствующих описательных дисциплин — например, экономической или демографической статистики, обработанных архивных материалов, собрания фактов политической жизни и т. д.

В результате различия в предмете и методе между историей и социальными науками во многом являются вторичными или производными, они обусловлены прежде всего *временным положением* объектов изучения, соответственно, прошлой и настоящей реальности (недоступность объекта для прямого наблюдения, невозможность эксперимента, малое число наблюдений и прочее), а также неразделенностью аналитической и информационной составляющих научного исследования, характерной для историографии<sup>3</sup>.

Итак, в идеале историки, во-первых, должны знать методологию общественных наук и уметь ее использовать; во-вторых, адаптировать и развивать инструментарий общественных наук с учетом отличий прошлых реальностей от настоящей; в-третьих, брать на себя не только аналитические, но и информационные функции, связанные со сбором и первичной обработкой данных.

Понятно, что в силу относительно низкого приоритета исторических исследований с точки зрения потребностей общества в целом, историческая наука и соответствующее ей научное сообщество не располагают адекватными ресурсами для того, чтобы справиться с анализом прошлых обществ на столь же высоком эмпирическом и теоретическом

уровне, на каком работают представители социальных наук, сосредоточенные на познании современности. Что бы ни говорили историки, философы и писатели, для общества в целом его настоящее всегда важнее, чем прошлое, что проявляется, в частности, в соответствующем распределении общественных ресурсов.

Тем более значимыми для истории являются междисциплинарные отношения, становящиеся все более существенной характеристикой эволюции исторического знания. Последовательные и постоянные контакты с социальными и гуманитарными науками (а также с литературой и другими видами искусства) модифицируют облик истории, дают ей возможность проникать в закрытые для нее самой зоны знания, использовать новые методы, экспериментировать с историческим материалом. Благодаря такому синтезу история соответствует своему времени, последовательно отражая основные научные парадигмы эпохи.

Использование в исторических исследованиях микроанализа — очередной шаг на этом пути. И хотя, в силу разных причин, сам размах этого шага можно в известной мере охарактеризовать как “микро” и длина пройденного пути пока невелика, далее мы попытаемся обосновать особую перспективность движения в этом направлении.

### 3. Микроанализ в социальных науках.

Как известно, в научной терминологии “микро-” используется в качестве первой составной части сложных слов, указывающей на малый размер объекта, к которому она прилагается. Например, микроб (микро- малый, биос - жизнь) — общее название всех микроорганизмов. Иными словами, это прежде всего характеристика размеров объекта, а не его значимости или роли. Соответственно, микроистория предполагает изучение малого исторического объекта. Небольшая величина объекта, в свою очередь, определяет специфику методов его изучения. Микроанализ — это изучение или измерение малых величин.

Поскольку микроистория, согласно нашему определению, конструирует историческое исследование по образу и подобию соответствующих направлений социальных наук, естественно вначале рассмотреть, как там трактуется объект и каковы основные направления микроаналитического подхода.

Прежде всего отметим, что далеко не все социальные дисциплины оперируют понятием микроанализа. Наиболее последовательно оно концептуализировано в экономике и социологии, что возможно, связано с историческим становлением этих наук как системных (в отличие, скажем, от психологии, которая всегда имела дело с отдельным субъектом). Ориентация обществоведения XIX в. на изучение экономических и социальных *систем* на определенном этапе познания, а именно в первой половине XX в., вызвала вполне осознанную потребность

в исследовании малых экономических объектов или первичных уровней социального взаимодействия.

В экономической теории четкое разделение микро- и макрообъектов и соответствующих им методов анализа сложилось уже в 1920-1930 годы, но канонический характер это различие приобрело после выхода в свет учебника “Экономическая теория” П. Самуэльсона в 1945 г. В социологии различие микро- и макроанализа возникло несколько позднее, чем в экономической науке. Формирование микросоциологии как самостоятельной области начинается с 1930-х годов, а резкое размежевание на микро- и макросоциологию произошло в конце 1960-х годов, т.е. ненамного опередило появление микроистории.

Что считается объектом микроанализа, в каждой науке определяется по-своему. Например, объектом *микроэкономики* является рыночное поведение (принятие решений, взаимодействие и т.д.) отдельных экономических агентов, определяемых по их экономическим функциям: потребителей (домохозяйств), предпринимателей (фирм), собственников и т.д. В центре ее внимания — цены и объемы производства и потребления конкретных благ, состояние отдельных рынков, распределение ресурсов между альтернативными целями. *Макроэкономика* исследует функционирование экономической системы в целом и крупных ее секторов. Объектом изучения ее являются национальный доход и общественный продукт, совокупные потребительские расходы и сбережения, деньги и экономическая деятельность государства, общий уровень цен и инфляция.

В свою очередь *микросоциология* определяется как область социального знания, ориентированная на изучение сферы непосредственного социального взаимодействия (межличностных отношений и процессов социальной коммуникации, сферы повседневной реальности и т.д.). К микроуровню относится также анализ социальных групп, находящийся на стыке с социальной психологией — членство, структура, групповая идентичность, внутригрупповое взаимодействие (отношения власти, способы коммуникации, распределение ролей и т.д.). *Макросоциология* традиционно ассоциируется с анализом крупномасштабных социальных явлений и связана с агрегатными моделями социальных структур (наций, государств, социальных институтов и организаций, классов, социальных групп и т.д.).

Как видно из этих стандартных определений, несмотря на вполне естественные различия в конкретных определениях предмета, общий подход к разделению микро- и макро объектов анализа в экономике и социологии оказывается достаточно однотипным. На микроуровне объектом анализа является поведение экономических или социальных субъектов и их локальное взаимодействие (на отдельных рынках или внутри малых групп).

Разделение предметных областей микро- и макроанализа сопровождается формированием специализированного инструментария изучения соответствующих объектов. Иными словами, различие в предмете неотделимо от различия в методе. И в экономике, и в социологии для анализа микро- и макроявлений и процессов используются разные теории, концепции, подходы, методы, предпосылки, исследовательские процедуры, способы представления материала и т.д.

Заметим, что деление объектов анализа на “микро” и “макро” ни в экономике, ни в социологии не является абсолютно жестким. Здесь, в частности, проявляется обратная связь между предметом и методом — не только специфика предмета диктует необходимость выработки специальных методов его анализа, но и использование конкретных теорий, концепций или предпосылок определяет трактовку объекта их приложения как “микро” или “макро”.

Например, “при изучении вопроса о ценах в отдельной отрасли в микроэкономической теории удобно предположить, что цены на других рынках уже заданы. В макроэкономической теории, когда мы рассматриваем общий уровень цен, чаще всего имеет смысл игнорировать относительное различие цен товаров в разных отраслях.

В микроэкономике представляется удобным считать, что общий доход всех потребителей задан, и затем поставить вопрос о том, как распределяются имеющиеся у них доходы между разными товарами. В макроэкономической теории, напротив, именно совокупные уровни дохода и расхода относятся к числу важнейших показателей, подлежащих изучению” (*Дорнбуш, Фишер* 1996 [1994], с. 14).

В социологии проблема уровня анализа (микро- или макро-) “зависит от социального контекста. Повседневное общение между членами семьи осуществляется на микроуровне. В то же время семья является социальным институтом, изучаемым на макроуровне; где он связан с рынком рабочей силы, законодательной системой и системой общественных классов” (*Смелзер* 1994 [1988], с. 131-132).

Таким образом, микроподход (в не меньшей, если не в большей степени, чем макроподход) связан с определенными концепциями, подходами или моделями. Микроанализ в социальных науках — это прежде всего некая область теоретических исследований (что, естественно, не исключает проведение соответствующих данным теориям эмпирических разработок).

В экономической науке к числу основных направлений микроанализа можно отнести различные теории фирмы (неоклассическая, менеджериальная и т.д.), теории потребительского поведения и спроса, теории конкуренции и организации рынков (включая проблемы монополистической организации отраслей), теории общественного выбора и благосостояния; неоинституциональное направление (роль правовых

и социальных норм, отношений собственности, концепцию агентских отношений и т.д.).

К микросоциологии относятся, как отмечалось выше, теоретические подходы, связанные с изучением межличностного взаимодействия (символический интеракционизм; феноменологическая социология, этнометодология; управление впечатлениями; концепции социального обмена, анализ социальных сетей и др.). В рамках анализа социальных групп наиболее известными направлениями являются социометрия (анализ межличностных отношений симпатии и антипатии, образующих неформальную структуру групп), теории групповой динамики (анализ отношений внутри группы, динамики власти и подчинения, стилей лидерства), психотерапевтическое направление (игровое, “спонтанное” моделирование внутригрупповых отношений).

Как мы увидим далее, многие из перечисленных теорий были использованы в микроисторических исследованиях.

#### 4. Генезис.

Как показывает опыт экономической науки и социологии, сам по себе микроанализ не является школой или направлением. Последние возникают в рамках микроаналитического подхода. Но большинство историков не очень считается с этим опытом, и часто микроистория определяется как направление, представленное итальянскими историками, группирующимися вокруг журнала “*Quaderni storici*” и серии “*Microstorie*”, выходившей в издательстве Эйнауди. Эта дефиниция, конечно, не вполне соответствует требованиям, предъявляемым к определению научных школ. Но, может быть, за географическим названием стоит школа? Как франкфуртская или чикагская? Или знаковое значение для посвященных имеет само название журнала (подобно “*Анналам*”)? Отчасти верно и то, и другое. Но если франкфуртская школа, чикагская школа или школа “*Анналов*” отличались, прежде всего методологическим единством, то, как справедливо замечает Э. Гренди, ученым, выдвинувшим программу микроисторических исследований, “не было свойственно единство мнений по многим вопросам (как теоретического, так и практического характера), которое дало бы им чувство принадлежности к одной школе” (*Гренди* 1997, с. 292).

Кроме того, применение микроанализа в исторической науке начинается в другом месте и в другое время. Известные работы американских авторов по новой экономической истории А. Конрада и Дж. Мейера, Р. Фогеля и С. Энгермана, написанные в 60-е годы — это ни что иное, как микроэкономическая история (см.: *Conrad, Meyer* 1958; *Fogel, Engerman* 1974). Сюда же справедливо отнести школу новой локальной истории, представители которой (У. Хоскинс, Г. Финберг, Г. Дайос) отказались от локально-территориального принципа, сосредоточив



шись на описании и анализе реально существовавших социальных организмов. Социологическая теория обмена Дж. Хоманса стала использоваться в английской историографии уже в конце 60-х годов (Ретина 1998, с. 43). У. Хоскинс не только применил микросоциологические теории в историческом исследовании, но и задумывался о возможности введения в научный оборот термина “микроистория”, однако отказался от этой идеи (Гренди 1997, с. 292).

С приходом итальянцев термин утвердился, и микроистория была институционализована. Образовался микроисторический Интернационал, немногочисленный, но с отчетливыми национальными оттенками.

Так же, как в экономике и социологии, обращение к микроанализу в истории было реакцией на доминирование макроподхода. Как писали К. Гинзбург и К. Пони в одном из текстов, положившем начало систематическим размышлениям о микроистории, “большой успех микроисторических реконструкций находится во взаимосвязи с возникающими сомнениями по поводу известных макроисторических процессов” (Ginzburg, Poni 1985, S. 49). Их немецкий коллега Г. Медик также заметил, что “будь то сомнения в идентификации с теорией прогресса, отказ от эволюционного понимания истории или критика глобально-исторической евроцентристской точки зрения — эти возникающие в результате современного “изменения опыта” сомнения в существовавших до сих пор историко-философских и социально-теоретических интерпретациях связывались и связываются с возникновением микроистории” (Медик 1994, с. 195).

Другая важная причина появления микроистории — сциентистская реакция на постмодернизм. Так, Дж. Леви подчеркивает “антирелятивистский настрой и стремление к формализации, которые присутствуют или... должны были бы присутствовать в работе микроисториков” (Леви 1996а, с. 186). Эту же мысль проводит К. Гинзбург: “В последнее десятилетие Джованни Леви и я все время полемизировали с релятивистскими взглядами, среди которых — разделяемый и горячо отстаиваемый Ф. Анкерсмитом, сводящий историографию к текстуальному измерению и лишаящий ее какой бы то ни было познавательной ценности”<sup>4</sup>. В итальянской микроистории “акцентирование конструктивного начала, присущего исследованию, сочеталось с четким отказом от скептических (постмодернистских, если угодно) выводов, столь широко распространенных в европейской историографии 80-х — начала 90-х годов. По моему мнению, специфику итальянской микроистории следует искать именно в этой установке на познавательность” (Гинзбург 1996, с. 226).

### 5. Преимущества микроанализа для истории

В середине 50-х годов немецкий историк В. Конце написал, что “время одинокого историка прошло” (Conze 1956, S. 22). На самом деле это не так — занятия историей по-прежнему требуют уединенности, и большинство историков, даже причисляющих себя к какой-либо школе, остается “одинокими старателями”. Из наших рассуждений об ограниченности ресурсов для изучения прошлого следует предположение, что, может быть, микрообъект как раз посилен “одинокому историку”, который в состоянии освоить источниковую базу, овладеть соответствующей социальной теорией и адаптировать ее к прошлому при ограниченном размере изучаемого объекта. Сегодня мы имеем достаточно много интересных примеров конструирования микроистории по образу и подобию микросоциологии и микроэкономики с применением соответствующих концепций.

В наиболее явном виде понятийный, концептуальный и теоретический аппарат социальных наук применяется в работах Дж. Леви, посвященных экономической и социальной истории, а также обсуждению теоретических проблем микроанализа. В этом смысле творчество этого итальянского историка чрезвычайно репрезентативно.

Приведем лишь некоторые примеры продуктивного использования социальных теорий микроанализа в работах Леви (см., в частности: Levi 1985). Из микроэкономики он использовал концепцию “ограниченной рациональности” поведения экономических субъектов, разработанную Г. Саймоном, который впоследствии получил Нобелевскую премию по экономике, и неинституциональную теорию функционирования рынков, которая восходит к работам Р. Коуза а с 1960-х годов разрабатывалась А. Алчианом, Д. Нортом и др. (Коуз и Норт также получили Нобелевские премии по экономике). Из аппарата микросоциологии Леви заимствует теории символического интеракционизма (Дж. Г. Мид, Г. Блумер); “масштабов социального взаимодействия” Ф. Барта; символической власти П. Бурдьё, сетевых взаимодействий Дж. Хоманса и т.д.

Феномен Леви демонстрирует еще одну указанную нами особенность положения истории. В силу нехватки людских ресурсов историк обречен на междисциплинарный, а точнее, на полидисциплинарный подход. Конечно, Леви в этом смысле уникален. Если в лексиконе микроисториков существует понятие “нормального исключения”, предложенное Э. Гренди, то работы Леви в этой проекции — “исключительная норма”. Он выбирает один объект и прикладывает к нему десяток теорий, в отличие от социальных наук, где одна теория прикладывается ко многим объектам.

Впрочем, исследовательские интересы К. Пони, К. Гинзбурга или



представителей английской новой локальной истории тоже отличаются разнообразием. Они свободно оперируют набором имеющихся социальных теорий микроанализа, прикладывая их к экономическим, социальным, политическим и культурным объектам. Так, некоторые итальянские историки не только разрабатывали микроэкономическую и микросоциологическую проблематику, но и, опережая политическую науку, осуществили исследования по микрополитологии в истории (см., в частности, специальный номер "Quaderni storici", 1986, no. 63 — "Conflitti locali e idiomi politici").

То, что микроисторический подход оказался примененным к политической истории вообще знаменательно, ибо как раз в 60-е годы с той же категоричностью, с какой век назад политическую историю относили к самой передовой отрасли исторического знания, ее стали числить чуть ли не самой теоретически отсталой. Для того, чтобы она смогла присоединиться к "новым" историческим субдисциплинам, потребовалось ее полное методическое переоснащение. Использование микроисторического анализа, антропологических и социологических понятий (таких как клиентела, фэйда, посредники или "социальная практика") и моделей (например, "изучения феноменов коммуникации") — один из редких примеров теоретического авангардизма в исторической науке.

Микроанализ в определенной мере предлагает решение (или суррогат, фикцию решения) давней проблемы исторического исследования: эксперимента. В значительной мере развитие экспериментальной истории в последние десятилетия было связано с тем фактом, что научное сообщество осваивает парадигму постмодернизма, постструктурализма и деконструкции. Но, в случае с микроисторией, мы имеем сциентистский вариант экспериментирования. Конечно, речь идет не о постановке эксперимента, но о некотором подобии экспериментальной проверки теории. При этом соблюдается условие экспериментального подхода: эксперимент имеет смысл лишь в том случае, если он может потерпеть и неудачу.

Еще одно бесспорное достижение микроистории относится к области выполнения информационной функции — сбора и обработки источников. Результатом пристального изучения, основанного на микроанализе, стало создание новых типов коллекций источников.

Однако далеко не все, пишущие микроисторию, хорошо владеют методами социальных наук. Отсюда во многом возникает тот разноречивый мнений, определений и деклараций, который касается таких кардинальных вопросов, как представление об объекте, роль теории в микроистории, отношения микро- и макроуровней и т.д. Причина разноречивости скорее не в сознательном противопоставлении "духа изящного" "духу социального", а в недостаточной теоретической оснащенности

сти исторической науки в целом. Никак не способствует методологическому единству и исходно неравный уровень интереса к теории (и, соответственно, владения теорией), характеризующий историков, работающих в области микроистории. В результате одни занимаются микроанализом, а другие безмятежно изучают отдельные события, казусы, деревни и фабрики. Разброс между первыми и вторыми, в равной степени ассоциирующими себя с микроисторией, и объясняет, по нашему мнению, разнообразие вариантов понимания сути этого направления.

## 6. Распространенные ошибки.

### а) Генерализация и индивидуализация.

Представление о том, что цель микроисторических исследований — "не в воспроизведении панорамы явлений или процессов, но в осмыслении поведения одного или группы индивидов или же в переосмыслении какого-либо одного конкретного события" (Бессмертный 1998, с. 3), способствовало оживлению старой дискуссии о генерализирующем и индивидуализирующем подходе. Надо сказать, что дебаты по этому вопросу, давно решенному в социальных науках, в историографии возрождаются всякий раз, когда речь идет об изучении традиционных "индивидуальных" объектов; особенно это касается истории событий. Что уж говорить об исследовании, ориентированном на микрообъект.

В контексте привычных историку дихотомий: общее - особенное (частное), массовое - единичное, закономерное - случайное — микроистория, естественно, тяготеет ко второму компоненту. Однако, вопреки представлениям многих историков, история здесь не специфична. В любой науке изучается как общее, так и особенное, но изучение особенного (частного) *всегда* подразумевает наличие общего, концептуализированного в явном виде. И в решении вопроса об отношении уникального объекта, изучаемого с помощью микроанализа, к типичному, общему и т. д., историки, к сожалению, тоже делятся на "хорошо" и "не так хорошо" образованных.

Говоря о противопоставлении генерализирующего и индивидуализирующего познания применительно к микроистории, Дж. Леви пишет: "... Мы считаем, что микроанализ есть анализ отдельных примеров... ради упрощения процедуры анализа: селекция позволяет проиллюстрировать на примерах общие концепции в определенной точке реального мира" (Леви 1996а, с. 170).

При этом, как подчеркивает Леви, в рамках микроанализа взаимодействие общего (массового) и единичного идет не только от первого ко второму (проверка общих теорий на практике), но и в обратную сторону — от единичного наблюдения к теоретическим обобщениям. Микроистория "не склонна отринуть всякую абстракцию: малозамет-

ные признаки или отдельные казусы могут содействовать выявлению более общих феноменов. В слабой науке... даже мельчайшее несоответствие <постулированным ранее общим закономерностям. — И. С., А. П. > образует такие знаковые показатели, которые могут стать общезначимыми” (Леви 1996а, с. 184).

Такой подход не закрывает перспективу “общего”, а в определенном смысле раздвигает ее, позволяя “идентифицировать не случайные отклонения, а *иные*, не обнаруживаемые на макроуровне *тенденции*” (Репина 1998, с. 49). “Нормальное исключение” подразумевает документы и факты, которые только кажутся исключительными, а на самом деле способны открыть для историка пласты, в которых эти исключения являются нормой, или даже заставить усомниться в господствующей парадигме.

Но наряду с таким подходом, который с позиций современной социальной теории может быть охарактеризован как здравый, не составляет большого труда найти, например, высказывания, связывающие возникновение микроистории с “инстинктивным предпочтением дисциплины, которая относится с недоверием к общим формулировкам и абстракциям” (Ревель 1996, с. 237).

#### б) Мелочи и подробности

В процессе концептуализации микроисторического подхода зачастую смешиваются проблемы специфики объектов микро- и макроанализа и степени детализации исследования, которые лежат в разных плоскостях. Этому, к сожалению, отчасти способствовало известное высказывание Дж. Леви: “Микроистория означает не разглядывание мелочей, а рассмотрение в подробностях” (цит. по: Медик 1994, с. 193). И хотя Леви, как отмечалось выше, пожалуй наиболее четко выстраивает микроисторию по канонам соответствующих разделов социальных наук, это выражение явно не согласуется с общепринятыми представлениями о микроанализе. Дело в том, что и в экономике, и в социологии микроанализ отличается от макроанализа именно “разглядыванием мелочей”, т.е. изучением “мелких” объектов, а отнюдь не степенью детализации исследования (“рассмотрением в подробностях”).

Проще всего это различие пояснить на примере экономики. Как отмечалось выше, типичным микрообъектом является фирма, столь же типичным макрообъектом — государство. В свою очередь типичным источником информации о деятельности фирмы является ее баланс (доходов/расходов или активов/пассивов), а главным источником сведений о государственной экономической политике — государственный бюджет (который также является ни чем иным, как балансом государственных расходов и доходов).

Оставляя в стороне различия между теориями фирмы и теориями государственного регулирования экономики, на эмпирическом уровне

балансы фирмы используются в микроанализе, баланс государственных расходов и доходов (бюджет) — в макроанализе. При этом подразумевается, что по сравнению с государственными финансами фирма является микрообъектом (“мелочью”), хотя на практике это далеко не всегда верно (например, если мы сопоставим оборот “Дженерал моторс” и государственный бюджет Лихтенштейна).

Совершенно очевидно, что как баланс фирмы, так и баланс государственного бюджета могут публиковаться и изучаться с самой разной степенью детализации. Например, при публикации в прессе в доходной и расходной частях обоих балансов выделяется всего несколько высоко агрегированных статей. На самом же деле и баланс фирмы, и баланс государственного бюджета состоят из сотен, если не тысяч статей доходов и расходов. Чем выше степень детализации баланса (“рассмотрения подробностей”), тем больше исследователь может сказать о деятельности фирмы или государства. Именно поэтому так называемые “полные” балансы недоступны для широкого ознакомления и составляют предмет коммерческой или, соответственно, государственной тайны.

В любом случае, даже максимально подробный баланс государственного бюджета не делает его объектом микроанализа, равно как и самый агрегированный баланс фирмы не превращает его в макрообъект.

#### в) Понятия и образы

В ходе международной дискуссии по проблемам микроистории, развернувшейся в 1990-е годы, некоторые научные понятия (концепции), используемые представителями итальянской микроистории, начали трактоваться как образы, и, наоборот, некоторые образы стали применяться для концептуализации микроистории. В результате исходные тезисы приобретают некий новый смысл, который может существенно отличаться от первоначального. В качестве примера мы рассмотрим два таких случая или “казуса”.

Первый связан с понятием “масштаб”, который в работах микроисториков используется в качестве концепта. Концепция “масштаба социального взаимодействия” была предложена социологом и антропологом Ф. Бартом. В соответствии с ней масштаб является важной характеристикой социального взаимодействия, которая включает числовые параметры взаимодействия и его различные пространственные среды. В рамках этого подхода делается попытка “описать разные комбинации масштабов взаимодействия в различных существующих социальных организациях, чтобы измерить роль, которую они играют в отдельных сферах жизни, придавая им особую форму” (Barth 1978, p. 273). Здесь, как подчеркивает Дж. Леви, “масштаб есть предмет анализа и служит для измерения реальных параметров поля взаимодействия, но вовсе не <способ изображения объекта> и <не>

процедура анализа" (Леви 1996а, с.169).

В понятийном аппарате микроистории термин "масштаб" стал весьма популярным, и с энтузиазмом использовался многими авторами. Однако данное слово стало применяться не для обозначения *предмета* анализа ("масштаба социального взаимодействия"), а в качестве характеристики *метода* изображения в соответствии с первоначальным значением слова "масштаб"<sup>5</sup>. Наконец, это слово стало активно использоваться и в переносном смысле, как синоним "размера, размаха"<sup>6</sup>, в результате чего возникла окончательная путаница с тем, что такое "мелкий" и "крупный" масштаб.

Другое ключевое слово — "микроскоп", с которым произошло обратное превращение. Появившись впервые в качестве метафоры в одной из работ Дж. Леви, "микроскоп" стал очень популярным образом при разъяснении непосвященным или сомневающимся, чем же собственно занимаются историки-микроаналитики<sup>7</sup>. Но со временем понятие микроскопа стало применяться чуть ли не как концепт (в том числе в словосочетании "микроскопическое исследование"), используемый для определения сущности микроисторического анализа<sup>8</sup>.

Известно, что метафоры и аналогии — вещь в науке весьма опасная. Тем не менее, коль скоро представители микроистории выбрали для себя такую аналогию, мы тоже проследуем некоторое время по этому пути, но затем все же сойдем с него как с не слишком плодотворного<sup>9</sup>.

Как известно, микроскоп используется в качестве одного из инструментов в микробиологии. При этом объектом микробиологического анализа являются микробы (в современной терминологии — микроорганизмы), к которым относятся бактерии, актиномицеты, дрожжевые и плесневые грибы. Поэтому при обсуждении микроистории в "биологических" терминах естественно прежде всего задать вопрос, что в этом случае является микроскопом, а что — микробом? Иными словами, как в микроисторическом анализе концептуализируются инструментарий и объекты исследования? Именно с ответов на эти вопросы, как мы попытались показать выше, начинается концептуализация микроанализа в общественных науках, занимающихся современностью.

Образ микроскопа не вполне применим к микроисторическим исследованиям и еще по одной причине. Как известно, изобретение микроскопа позволило обнаружить нечто такое, о существовании чего естествоиспытатели раньше не подозревали (микробы—микроорганизмы). Так ли это в микроистории? Удалось ли историкам изобрести новые инструменты анализа? Удалось ли в ходе этого анализа обнаружить некие неведомые ранее обществоведам микрообъекты? Пожалуй, нет — большинство объектов и методов исторического микро-

анализа давно известны в социальных науках и лишь заимствованы оттуда историками.

## 7. Проблемы второго порядка

В настоящее время микроистория как самостоятельное направление исследований еще находится в периоде становления, который в других общественных науках (и, прежде всего, в экономике и социологии) завершился несколько десятилетий назад. Количество работ, которые четко относятся к микроуровню исторического анализа, пока сравнительно невелико (напомним, что к микроисторическому направлению мы относим работы, в которых используются элементы теоретического анализа микросоциальных объектов). В то же время, например, в экономической науке количество работ в области микроэкономики многократно превышает число работ из сферы макроанализа, а в последние годы и в социологии соотношение микро- и макроисследований начинает складываться в пользу первых.

Поэтому в заключение мы хотели бы коротко упомянуть о некоторых проблемах, которые, судя по опыту социальных наук, неизбежно возникнут на последующих этапах развития микроистории.

### а) Взаимодействие микро- и макроанализа

В принципе, эта тема уже появляется в историографических дебатах, но как показывает опыт экономической науки и социологии, данная проблема далеко не так проста, как это представляется некоторым историкам. Позиция многих участников дискуссии сводится к формуле "пусть расцветает сто цветов" — пусть будет и микро-, и макро-, и вообще любая история. Если же обсуждается проблема "синтеза" микро- и макроистории, то одни участники дискуссии выступают в защиту синтеза макро- и микроуровней, другие настаивают на его принципиальной недопустимости. Одни обеспокоены "раздроблением истории", другие вдохновляются открывающимися возможностями "смены парадигм". Дело, однако, не столько в программных установках "за" или "против" "синтеза", сколько в объективных трудностях, о которых хочется напомнить.

Если долгое время макроаналитические модели служили инструментом для истолкования локальных процессов, то с появлением микроистории возникает другое искушение — использовать микроисторические исследования в качестве "первичных блоков в более амбициозных проектах социоистории" (Репина 1998, с. 46). Но, как показывает опыт полувековых дискуссий о соотношении макро- и микроанализа, ведущихся в экономике и социологии, эти два подхода не сводимы один к другому, и микроаналитические исследования не могут служить блоками для построения макротеорий общественного развития. Несмотря

на постоянно возобновляющиеся попытки некоторых представителей микроанализа из социологов и экономистов соединить микро- и макротейории в непротиворечивую систему, до сих пор это не удавалось (см., например: Dow 1985; Nelson 1984; Collins 1981; Knorr-Cetina, Cicourel 1981; Alexander 1987).

#### б) Настоящее и прошлое.

До сих пор мы абстрагировались от вопроса о пределах применимости теоретического аппарата социальных наук для конструирования исторической реальности. Между тем, это вопрос, который требует самого внимательного отношения как со стороны тех, кто пишет "микроисторию", так и тех, кто ее анализирует. Ведь микроистория в той части, в которой она теоретична, довольно жестко привязывает историю к "чужому" инструментарию, рассчитанному на изучение современности.

Однако, как мы уже говорили, в общественных науках не существует "теории вообще", не соотносимой с временем и пространством. Даже самые формальные модели исходят из некоей реальности, существующей в определенное время и в определенных странах. В этом смысле "исторический подход" особенно актуален для истории, которая ограничена от социальных наук *временным* объектов изучения. Сфера действия и применимости большинства современных экономических, социологических, политологических концепций не превышает 100—150 лет (а во многих случаях много меньше).

Типичную попытку "продлить настоящее в прошлое" по существу представляла собой "новая" экономическая и социальная история 60-х годов. Ее сторонники на первом этапе явно или неявно исходили из возможности применения аппарата современных общественных наук к прошлому. Тем самым по существу постулировалась относительная неизменность общества, его социальной или экономической структуры. Однако чем больше отличалось от современного то общество, которое пытались реконструировать представители "новых историй", тем очевиднее были неудачи. Типичный пример — уже упоминавшаяся книга американских историков Р. Фогеля и С. Энгермана "Время на кресте" (Fogel, Engerman 1974), где общество, основанное на рабском труде, анализировалось в терминах современного неоклассического микроэкономического анализа. После этого в большинстве случаев американская новая экономическая история старалась не касаться периодов, предшествовавших окончанию Гражданской войны в США, или предпочитала ограничиваться историей нерабовладельческих штатов.

По мере углубления в прошлое современный теоретический аппарат становится все менее пригодным для анализа менявшегося общества. Поэтому, начиная с какого-то момента, для анализа исчезнувшей реальности надо разрабатывать другие схемы, модели и концепции или

модифицировать имеющиеся<sup>10</sup>. Условно говоря, в идеале, например, для эпохи Просвещения должны существовать своя социология, экономическая наука, политология и т. д. Или по-другому: должны существовать социология эпохи Просвещения, Возрождения, позднего Средневековья, раннего Средневековья и т. д.

\*\*\*

Если от идеала перейти к действительности, то многие предпосылки и составляющие научного исторического исследования — соответствие ресурсов историков задачам научного исторического исследования, проводимого с учетом достижений современной социальной теории; модификация социальных теорий с учетом времяположения объекта; возможность "экспериментальной" проверки теории; реальность создания достаточно полных информационных баз, описывающих анализируемые объекты — характеризуют именно микроисторию. Поэтому нам представляется, что у этого направления неплохие перспективы. Но при этом надо отдавать себе отчет в том, что ряды микроисториков пока крайне малочисленны, и при существующих сегодня ограничениях вряд ли приходится ожидать значительного роста микроисторических исследований.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Как можно заметить, мы являемся сторонниками феноменологического подхода к изучению общества, в рамках которого социальная реальность тождественна социальному запасу знания о нем (см., например: Бергер, Лукман 1995 [1966]).

<sup>2</sup> Точнее, множеством систем, каждая из которых соответствует какому-либо типу общества из существовавших в прошлом (к этому вопросу мы вернемся ниже).

<sup>3</sup> Здесь мы не рассматриваем проблему отношений историографии с литературой и, в частности, вопрос о характере историографических *текстов*, который требует специального обсуждения, выходящего за рамки данной статьи.

<sup>4</sup> Речь идет, в частности, о статье Анкерсмита "Историография и постмодернизм" (Ankersmith 1989), в которой он отождествлял микроисторию с фрагментарными исследованиями и утверждал, что тенденция концентрировать внимание на фрагментах, а не на более объемном целом — наиболее типичное явление "постмодернистской историографии".

<sup>5</sup> Масштаб (Maßstab — нем.) — отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине соответствующей линии в натуре. Изображается в виде дроби, числитель которой равен 1, а знаменатель — числу, показывающему степень уменьшения длин линий.

Ср.: "Географ, изучающий региональную систему железных дорог, не будет использовать карту с масштабом 1:25 000, но такая карта превосходно подходит для изучения связи между размещением поселков и организацией сети

проселочных дорог. По аналогии можно предположить, что для проверки разных гипотез подходят разные масштабы" (*Lepetit* 1994, с. 70). Или: "Изменение масштаба анализа — основная, сущностная часть понятия микроистории... Используя сравнение, изменение масштаба в картографии... приводит к трансформации содержания представляемого объекта (т.е. происходит выбор того, что можно представить на карте)" (*Ревель* 1996, с. 240).

<sup>6</sup> "В современной Франции под микроисторией обычно подразумевают углубленное крупно-масштабное исследование..." (*Бессмертный* 1998, с. 3).

<sup>7</sup> Р. Зидер в качестве образа использует лупу (*Зидер* 1993, с. 177), Ж. Ревель — фотообъектив с изменяющимся фокусным расстоянием (*Ревель* 1996, с. 240), а Ю. Бессмертный — телескоп ("*Казус* 1996", 1997, с. 317). Используя выражение того же Ревеля, можно уже говорить о "микроисторической оптике" (*Ревель* 1996, с. 244).

<sup>8</sup> Ср.: "Специфические возможности познания в микроистории... определяются ее способностью к сужению поля наблюдения и изучению его с помощью микроскопа" (*Медик* 1994, с. 196).

<sup>9</sup> См., например: "*Казус* 1996", 1997, с. 314—315.

<sup>10</sup> Применительно к экономике эту идею развивали представители немецкой историко-экономической школы XIX — начала XX в. (К. Бюхер, А. Шпитгоф и др.), считавшие необходимой разработку специальных экономических теорий для каждой "хозяйственной стадии" или "хозяйственного стиля". Такие теоретические концепции, привязанные к тому или иному историческому периоду, они именовали "наглядными теориями" в противоположность "вневременной" или "формальной" теории хозяйства, которая предназначена для объяснения явлений, якобы не подверженных историческим изменениям.

### Литература

**Бергер П., Лукман Т.** Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. Пер. с англ. М.: Академия-центр; Медиум, 1995 [1966].

**Бессмертный Ю. Л.** Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // *Одиссей* 1995 (Человек в истории), 1996, с. 5—19.

**Бессмертный Ю. Л.** Как писать историю. Французская историография в 1994—1997 гг.: методологические веяния. М.: ИВИ РАН, 1998.

**Гинзбург К.** Микроистория: две—три вещи, которые я о ней знаю. // Современные методы преподавания новейшей истории. Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский университет, 1996, с. 207—235.

**Гренди Э.** Еще раз о микроистории // *Казус* 1996 (Индивидуальное и уникальное в истории), 1997, с. 291—302.

**Дорнбуш Р., Фишер С.** Макроэкономика. Пер. с англ. М.: Изд-во Московского университета, 1996 [1994].

**Зидер Р.** Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении социального // *THESIS*, 1993, вып. 1, с. 163—181.

**Леви Дж.** К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей истории. Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский университет, 1996а, с. 167—190.

**Леви Дж.** Биография и история // Современные методы преподавания новейшей истории. Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский университет, 1996, с. 191—106.

**Медик, Х.** Микроистория // *THESIS*, 1994, вып. 4, с. 193—202.

**Ревель Ж.** Микроанализ и конструирование социального // Современные методы преподавания новейшей истории. Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский университет, 1996, с. 236—261.

**Репина Л. П.** Социальная история в историографии XX века: научные традиции и новые подходы. Дисс. на соиск. уч. ст. д.и.н. (в форме науч. докл.) М. 1998.

**Смелзер Н.** Социология. Пер. с англ. М.: Феникс, 1994 [1988].

**Alexander J. C. et al. (eds.).** The Micro—Macro Link. Berkeley: University of California Press, 1987.

**Ankersmith F. R.** Historiography and Postmodernism // *History and Theory*, 1989, no. 28, p. 137—153.

**Barth F. (ed.).** Scale and Social Organization. Oslo, etc.: Universitetsforlaget, 1978.

**Collins R.** The Microfoundations of Macrosociology // *American Journal of Sociology*, March 1981, no. 86.

**Conrad A. H., Meyer J. R.** The Economics of Slavery in the Ante Bellum South // *Journal of Political Economy*, April 1958, v. 66, no. 1, p. 95—130.

**Conze W.** Strukturgeschichte des technisch-industriellen Zeitalters als Aufgabe für Forschung und Unterricht. (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 66). Köln u. a.: Westdeutsch. Verlag, 1956.

**Dow S. C.** The Microfoundations of Macroeconomics. // S. C. Dow. Macroeconomic Thought. A Methodological Approach. Oxford: Basil Blackwell, 1985, ch. 4, p. 82—111.

**Fogel R. W., Engerman S. L.** Time on the Cross. 2 vols. Boston; Toronto: Little, Brown & Co., 1974.

**Ginzburg C., Poni C.** Was ist Mikroggeschichte? // *Geschichtswerkstatt*, 1985, H. 6, S. 48—52.

**Grendi E.** Micro-analisi e storia sociale // *Quaderni Storici*, 1977, T. 35, p. 506—520.

**Knorr-Cetina K., Cicourel A. V. (eds.).** Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies. Boston, etc.: Routledge and Kegan Paul, 1981.

**Lepetit B.** Macro-analysis, Micro-analysis and the Problem of Generalization in Social History. // Социальная история: проблемы синтеза. Ред. В. В. Согрин. М.: ИВИ РАН, 1994, с. 63—72.

**Levi G.** L'eredità... immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino: Einaudi, 1985.

**Nelson A.** Some Issues Surrounding the Reduction of Macroeconomics to Microeconomics // *Philosophy of Science*, December 1984, v. 51, no. 4, p. 573—594.



С.В. Оболенская

## ХАНС МЕДИК. ОПЫТ СОПРЯЖЕНИЯ МИКРО- И МАКРОИСТОРИИ

Еще в 1984 г. Х.Медик в статье "Миссионеры в лодке?" Этнологические способы познания как вызов социальной истории"<sup>1</sup>, получившей широкую известность не только в Германии, утверждал, что в рамках "новой социальной истории" (или "исторической социальной науки"), представленной билефельдской школой и прежде всего такими крупнейшими германскими историками, как Х.-У. Велер и Ю. Кокка, трудно понять *составляющий основу возможного исторического синтеза "двойной смысл" или "двойной состав" (Doppelkonstitution) истории* - сложное взаимодействие и взаимовлияние структур и "социальных актеров". Настоящая социальная история может быть создана только через исследование исторических субъектов, учитывающее действия и способы жизни конкретных лиц и конкретных групп. Тогда, в 1984 г. Медик видел способ разрешения этой задачи во введении в социальную историю "истории повседневности", ибо именно в повседневной жизни происходит соединение структур, с одной стороны, действий и восприятий "социальных актеров" - с другой. Микроистория тогда для Медика как бы сливалась с историей повседневности. Традиционно все социальные трансформации рассматривались лишь "снаружи"; исследователь, использующий микроисторические подходы, видит свою цель в реконструкции их "изнутри".

В 1992 г., выступая на 39 съезде историков Германии в Ганновере в рамках дискуссии "Что следует за историей повседневности?", Медик, разграничив "историю повседневности" и микроисторию, вступил в спор с Ю. Коккой, утверждавшим, что постановка вопросов "снизу" или изнутри в узких рамках микроистории, концентрирующей внимание лишь на восприятии, будущего не имеет. Нет, возражал Медик, это макроистория не дает *достаточных* знаний о прошлом. Чем крупнее масштаб наблюдения, тем скуднее выглядит историческая реальность. Взгляд с большого расстояния извлекает лишь средние ситуации, долгосрочные процессы, идеологические тенденции и пр. А микроистория (теперь он, не смешивая два понятия, называет микроисторию "сестрой истории повседневности") с ее интересом к малым жизненным мирам, микромирам, в центре которых стоит отдельный человек, воспринимающий всю сложность окружающей действительности и дей-

ствующий в ней, предлагает современной исторической науке новый путь - вне рамок макроисторической синтетической истории, равно как и вне постмодернизма с его сведением истории к "фрагментам" и его отказом от поиска глобальных смыслов и понимания целого. Но микроистория не замкнута в себе самой. С одной стороны, интерес к особому и к истории маленьких локальных сообществ вовсе не исключает изучения глобальных, исторически значимых ситуаций и процессов. С другой - и это главное - часто именно *наблюдение в микроисторическом поле изменяет понимание широких проблем*. Микроистория, подчеркнул Медик в своем выступлении, осознает себя как импульс и предпосылку для развития *социальной истории 90-х гг.*, именно она открывает для социальной истории новые перспективы.

К моменту этого выступления у Х.Медика уже была готова докторская диссертация, составившая основу его капитального труда "Weben und Überleben in Laichingen vom 17. bis 19. Jahrhundert. Untersuchungen zur Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte in den Perspektiven einer lokalen Gesellschaft Altwürttembergs", вышедшего в свет в Геттингене в 1995 г. Уже в следующем, 1996 г. появилось второе, существенно переработанное и расширенное издание этой книги.<sup>2</sup>

По определению самого Медика, его книга "Weben und Überleben..." - это историко-антропологическое микроисторическое исследование, экспериментальное исследование сети социальных отношений и связей в определенном месте и в определенное время. Предметом изучения является история маленького вюртембергского сельского местечка Лайхинген, расположенного на плоскогорье швабской Юры. С конца Средневековья и до начала XX в. население здесь жило скудным сельским хозяйством и домашним ткачеством. Медик намеревался показать, как протекало и от чего зависело трудное "выживание" лайхингенского локального общества.

При этом важное значение автор придавал контексту: обще германским и общеевропейским социальным, экономическим, культурным и политическим условиям и ситуациям, проявляющимся в плотной сети местных отношений и связей и влияющим на них. Таким образом, начиная работу, Медик осознанно поставил перед собой проблему проблем - соединение микро- и макроистории. Способом ее решения должен был служить разработанный Медиком метод - соединение исследования биографий жителей местечка и квантитативный анализ всей целостности лайхингенского общества. Такой подход, равно как и способ изложения, предназначались для того, чтобы не дать "раствориться" в средних статистических данных найденным в источниках отдельным жизням и в то же время использовать статистически-серийный анализ для обсуждения более широких проблем.

В начале работы из церковных книг, а также других источников



были извлечены сведения о населении Лайхингена, был составлен список имен всех индивидов, которые жили, работали и умирали в Лайхингене со второй половины XVII и до конца XIX в. Теперь возможно было соединить эти простейшие данные о каждом жителе местечка с материалами о них из налоговых списков, описей имущества, составленных при вступлении в брак и после смерти одного из супругов, светских и церковных судебных актов. Далее следовала реконструкция сложной сети экономических, социальных отношений, отношений власти в Лайхингене в контексте социальной, экономической, политической и культурной ситуации в регионе.

Характеризуя экономику Вюртемберга эпохи Старого порядка, особенности здешней индустриализации, а затем анализируя лайхингенское ремесленное ткачество, переплетавшееся у жителей местечка с сельскохозяйственным трудом, особенности социальных структур, социальных и экономических отношений, определявших поведение людей, а также и то, как сами люди, рядовые жители маленького местечка создавали, поддерживали и развивали эти отношения, Медик приходит к заключению, что история "выживания" Лайхингена не соответствует "среднестатистическому" представлению о типичном. Главное же, он показывает, что "Weben und Überleben" здесь зависело не только от экономической ситуации, в которой решающим моментом было наличие наряду с ремесленным производством также и сельскохозяйственной деятельности на основе мелкой собственности. Быть может, главную роль сыграла "культура выживания", определявшаяся специфическим вюртембергским лютеранским пиетизмом и представлявшая собой особый вариант протестантской этики Макса Вебера. Хотя примерно половина объема большой книги Медики посвящена экономике и социальным структурам, главный интерес автора отдан этой "культуре выживания", пиетистскому варианту веберовской протестантской этики. Говоря об основном содержании своей книги, автор неизменно подчеркивает, что он исследовал *религиозные установки отдельных лиц и групп в местечке Лайхинген и влияние этих установок на повседневный труд, материальную культуру и отношения собственности.*

Этот основной смысл книги Медики особенно ясно выявляется в главе о книжной культуре Лайхингена. Здесь автор обосновывает и излагает главный свой вывод, который, в сущности, и выдвигает его труд в ряд лучших работ в германской исторической антропологии. Извлекая из списков имущества жителей Лайхингена, вступающих в брак или составляющих завещания, сведения о книгах, входивших в состав имущества лайхингенцев, исследователь соединяет эти данные с именами владельцев, сведениями об их возрасте, профессии, о составе их семей, об их имущественном и социальном положении и соотносит все эти сведения, касающиеся частных лиц, с материалами об общем состоянии книговладения в Вюр-

темберге в это время, о видах распространенных книг и, наконец, об их содержании (заметим в скобках, что лайхингенцы приобретали исключительно религиозные книги).

Далее, в соответствии со своим методом, Медик переходит от анализа цифр к реконструкции биографий, которые позволяют ему проникнуть в процесс составления библиотек на протяжении жизни книговладельца в контексте его образа жизни и приблизиться к пониманию его религиозной ментальности. К. Лайхингер - ткач, поденщик и могильщик, швея Кристина Шамлер, ткач Финк, учитель Швенк помогают автору прийти к заключению, что жизнь лайхингенцев была "жизнью с книгами", что книга составляла важную часть их биографий, независимо от имущественного положения и социальной принадлежности.

К сожалению, источники не позволяют Медика сделать заключения о том, читали эти книги их владельцы или же не читали, а если читали, то что они из них извлекали, что о них думали. Он и сам говорит об этом, ссылаясь на Шартье, напоминающего, что историческое сочинение - это в сущности изучение соотношения между представлениями и практиками, и историку всегда следует помнить о "незавершенности" и "предположительности" его работы<sup>3</sup>. У Медики речь идет скорее не о читателях, а о книговладельцах. Тем не менее, рассматривая книгу как знак и сообщение, он все-таки рассчитывает, сопоставляя данные источников и интерпретируя их, получить сведения о культурно-религиозных представлениях, установках и практиках, о способах поведения их "потенциальных" читателей.

Анализ читательских интересов и предпочтений, насколько он возможен на основании наличных источников, и подробный анализ лайхингенских "бестселлеров" приводит Медику к заключению, что для здешней книжной культуры характерно было медленно, но верно развивавшееся предпочтение пиетистских авторов.

У этих авторов последней трети XVIII в., особенно популярных у лайхингенцев, идея освящающей аскезы как испытания благочестивой души в тяготах повседневности, в болезни, нужде и смерти, а также и в труде, в профессиональной деятельности, помещена в эсхатологическую перспективу. В этих сочинениях, обращенных к простому народу, отмеченных оттенком недружелюбия к князьям, свойственного, - в отличие от пиетизма северо-германского, - вюртембергскому пиетизму, выявляется особая форма "протестантской этики": "возрождение" и "созидание" благочестивой души поставлены в тесную зависимость от восприятия и практического преодоления жизненных тягот. Жизнь благочестивого христианина - это некая промежуточная станция на пути в царство Божие, время решающих испытаний и оценки. Жизненные невзгоды и труд - испытание, к которому нужно стремиться на пути



индивидуального “возрождения”. Это и есть тернистый путь, которым человек следует за Христом. В пиетистской литературе с середины XVIII в. постоянно повторялись известные строки из Нагорной проповеди: “входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их” (Ев. Мтф. VII, 13). Во многих вюртембергских домах с конца XVIII в. появились картины, живописно изображающие то, что сказано в этих строках.

По мнению Медика, представление о широком и узком пути было, повидимому, главным в той системе ценностей, которую проповедовали вюртебергские пиетисты. Не предпринимательский, экономический успех в делах, а вступление на “узкий путь” в небесные пределы, путь, полный страданий, нужды, повседневных жизненных невзгод и тяжкого труда, и еще важнее - способность удержаться на этом пути и выстоять до конца рассматривались здесь как знак небесного благоволения и залог достижения высшей цели. Вюртембергский пиетизм, требовавший от человека трудолюбия, умеренности и строгого контроля за собственным поведением, рождал, по крайней мере в лайхингенском варианте, говорит Медик, некий парадокс: в испытаниях страданием, болезнью, смертью, повседневными заботами и тяготами, в упорном труде человек ищет и находит источник радости и надежды, ибо это означает, что он выбрал верный путь и идет дорогой Христа.

Хотя религиозная ментальность и культура труда в облике вюртембергского пиетизма близки к тому, что Макс Вебер назвал “протестантской этикой”, здесь, однако, не просматривается тот важный шаг, который, по М. Веберу, ведет европейское общество по пути модернизации. Сложившийся в Лайхингене специфический сплав религиозных установок пиетизма, традиционного швабского трудолюбия и приверженности мелкой собственности, поддерживаемой прежде всего постоянным разделением наследства между родственниками и детьми, не рождает здесь веберовский “дух капитализма”. Капиталистические структуры в этом маленьком сельском местечке старого Вюртемберга, живущем ремесленным производством и сельским хозяйством, не могли внедриться и укрепиться вплоть до начала XX в. Отношения мелкой и мельчайшей собственности влияли на местную окраску протестантской этики. В свою очередь, религиозные установки вюртембергского пиетизма “освящали” здешнюю трудовую этику, тесно связанную с социальными и экономическими структурами мелкой собственности.

В глобальной европейской или хотя бы центральноевропейской перспективе “лайхингенский случай” представляется нерепрезентативным. Но для своего региона и своего общества, для вюртембергского “Старого порядка” это знаменательная деталь, то самое “исключительное нормальное”, что, по Медину, выявляет исторически возможное и

проливает новый свет на “нормальное”. Медик часто прибегает к понятию “исключительное нормальное”. В частности, роль книг в жизни лайхингенцев и, главное, лайхингенский вариант протестантской этики - все это “исключительное нормальное”, что может быть выявлено только в микроисторическом исследовании. Заметим, однако, что особое внимание к “исключительному нормальному” иногда создает впечатление, что выявляющаяся в микроисследовании многослойная подробность жизненной действительности несколько нарочито противопоставляется обобщенным представлениям, возникающим в макроисторической перспективе.

Встает вопрос, который в теоретическом плане постоянно ставится и сторонниками, и критиками микроистории: как микроистория может быть сопряжена с макроисторией и что, в сущности, означает это сопряжение? Использование результатов микроисторических исследований для объяснения культурных или иных процессов в масштабах целых обществ или даже для объяснения “последних причин” исторического развития? Ревель, и он далеко не одинок, пишет, что стремление к познанию “последних причин” - всего лишь “старая мечта”. Что же - историк действительно всегда должен помнить, что его удел - фрагментарное постижение прошлого? Спор о “каботажных плаваниях” и далеких океанских маршрутах очень стар, но сохраняет свой смысл, поскольку пытливый ум историка неизменно стремится к постижению именно “последних причин”.

Происходит ли в книге Х. Медика провозглашенное им необходимым сопряжение микро- и макроистории? Думается, что постижение “исключительного нормального” как исторически возможного, с одной стороны, и “двойного состава” исторической действительности - с другой составляют по крайней мере один из возможных путей этого сопряжения. Автор говорит: лайхингенский пример исторически возможного освещает, в сущности, нормальность общества, поздно нашедшего свой путь к массовому промышленному производству. Он ставит вопрос: не были ли исключительные случаи правилом в процессе долгого и многослойного перехода к современному обществу? Если так, то понимание этого перехода как чего-то объединяющего или даже единого должно быть последовательно деконструировано, прежде чем его можно будет вновь реконструировать. И эта “деконструкция” может происходить в сравнительном микроисторическом изучении отдельных случаев. Но нет ли в этом выводе оттенка банальности: значит, в действительности переход к индустриальному обществу протекал, как постоянно говорят, всего лишь “гораздо сложнее”, чем это было принято считать до сих пор, и задача заключается в том, чтобы обрисовать возможно больше “слоев” этого перехода. К тому же, этот вывод - о неодновременном и долго протекавшем процессе индустриализации - был,

в основном сделан в рамках проекта "Индустриализация до индустриализации", участником которого Медик был еще до того, как написал свое *микроисторическое* исследование.

Х. Медику удалось показать на примере Лайхингена, как религиозные установки членов этого небольшого людского сообщества и поведение людей в соответствии с этими установками определили альтернативный путь перехода к индустриальному обществу в этом регионе Старого Вюртемберга. Вот что важно и что, возможно, важнее всего остального в книге Медики. "Культурное измерение социального" в его труде приобрело характер равно значимой части исторического познания. Автор не только теоретически признает существование "двойного состава" исторической действительности, как это делают и представители исторической социальной науки. Микроисторический масштаб исследования, микроисторическое видение предмета позволили ему ярко и убедительно раскрыть этот "двойной состав" на примере лайхингенского варианта протестантской этики. Медику удалось "наделить речью, именами и обликом могильщика, ткача и поденщика". Он говорит об этом с некоторым пафосом, вовсе, однако, не случайным. Э.П. Томпсон видел свою задачу в том, чтобы "спасти бедного чулочника... от чудовищного высокомерия потомков" и блестяще выполнил эту задачу, обратившись в своих замечательных работах к исследованию "плебейской культуры". Но у него это некий "обобщенный" бедный чулочник. Под пером Медики обрели свою речь, облик и характер - и не благодаря красноречию автора, но благодаря его методу - соединению исследования биографий жителей местечка и количественного анализа всей целостности лайхингенского общества, что действительно, как он и замышлял, не позволило "раствориться" в средних статистических данных отдельным жизням - смутьян-бочар, протестующий против запрета входить в присутственные места в рабочей одежде, могильщик, являющийся обладателем самого большого количества книг в Лайхингене и завещающий своим потомкам не просто хранить их, но читать, черпая из них силы в жизненных трудах, учитель, которого костюм превращал в выдающееся явление лайхингенской повседневности, деревенский лекарь, одеждой и украшениями обозначавший свое продвижение в деревенской иерархии - все это материал интереснейших страниц книги Медики. Но автор стремится не только воскресить в памяти потомков образы, судьбы "простых людей", но и показать, что их жизнь, труд, поведение, их культура, сплетаясь с экономическими и социальными процессами, самым конкретным образом определяли то "исключительное нормальное", без учета которого, полагает он, невозможно адекватное понимание глобальных исторических процессов. Именно это выдвигает исследование Х. Медики в число лучших микроисторических работ.

Как вписывается книга Медики и его методологические установки в перспективы германской исторической науки? О.Г. Эксле, выступая с докладом в Институте всеобщей истории, утверждал, что даже Г. Велер видит ее будущее в "культурно ориентированной" социальной истории. Заметим в скобках, что в вышедшем в свет в 1995 г. 3-м томе капитального обобщающего труда Велера "Deutsche Gesellschaftsgeschichte"<sup>4</sup>, посвященного второй половине XIX и началу XX в. автор, как и в предыдущих двух томах, увидевших свет в 1987 г., делит изложение и анализ на четыре комплекса - экономика, общество как система социального неравенства, политическая власть, культура (понимаемая в историко-антропологическом смысле), толкуя их как структурообразующие и составляющие основу общества элементы. Но эти элементы не представляются равно значимыми. Значение движущей силы Велер отводит экономике. Что касается "культурного измерения" истории, то, во-первых, оно не уравнивается с другими, а во-вторых практически рассматривается все же только на институциональном уровне - церковь, школа, университет и т.п.; повседневной жизни внимания почти не уделяется.

По-видимому, "лингвистический поворот" не был воспринят немецкими историками как нечто основополагающее для судеб исторической науки; в Германии время размышлений о постмодернизме осталось уже позади. Идут поиски нового. Р. Зидер говорит о "культурно-теоретическом повороте" в социальной истории, о создании новой "исторической культурной науки" (Historische Kulturwissenschaft) или, как он еще ее называет, "социальной истории с культурной ориентацией" (Kulturwissenschaftlich orientierte Sozialgeschichte). Он противопоставляет ее исторической социальной науке Велера.<sup>5</sup> М. Дингес предлагает свою, основанную на разработанной им "теории стилей поведения и стилей жизни" концепцию "культурной истории повседневности" (Kulturalltagsgeschichte), которая должна соединить в себе исследовательские задачи исторической антропологии и социальной истории, и намечает для них общую исследовательскую перспективу<sup>6</sup>.

А Ханс Медик? Его ответ на вопрос о будущем немецкой исторической науки - книга о Лайхингене. Он рассматривает как "микроисторическое исследование социальной истории отдаленного локального общества в контексте более широкой постановки вопросов и проблем".<sup>7</sup> Главное, по-видимому, состоит в том, что Медик выступает в ней как представитель новой социальной истории 90-х гг., не только расширенной, но и в самой своей основе переосмысленной с помощью "культурного измерения социального".

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Medick H. "Missionäre im Ruderboot"? Ethnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung an die Sozialgeschichte // Geschichte und Gesellschaft. 1984. H. 10.

<sup>2</sup> Medick H. Weben und Überleben in Laichingen 1650-1900. Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte. Göttingen, 1996.

<sup>3</sup> Medick H. Weben und Überleben... S. 456

<sup>4</sup> Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd 3. Von der Deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des ersten Weltkriegs. 1849-1914. München, 1995. В первых двух томах излагается история германского общества со второй половины XVIII в. до окончания революции 1848 г., автор предполагает довести изложение до 1990 г.

<sup>5</sup> Sieder R. Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kulturwissenschaft? // Geschichte und Gesellschaft. 1994/ N 3.

<sup>6</sup> Статья М. Дингеса "Историческая антропология и социальная история: через теорию "стиля жизни" к "культурной истории повседневности" будет опубликована в сборнике "Одиссей 1999".

<sup>7</sup> Medick H. "Weben und Überleben..." S. 33

И. Е. Андронов

## К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ МЕТОДА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ, НАЗЫВАЕМОГО "МИКРОИСТОРИЕЙ"

1. В начале 50-х гг., когда итальянская историческая наука преодолела исключительную политизированность и модернизацию первых послевоенных лет, выявился серьезный кризис методологических школ, доминировавших в европейской исторической науке до войны. Либеральная традиция изучения истории общественной мысли вынуждена была отступить перед новыми космополитическими идеалами, родившимися в ходе недавнего крупнейшего политического катаклизма, охватившего весь континент. Кроме того, сами базовые посыпки либеральной школы уже не казались бесспорными. Еще в 20 - 30-е годы выявился острый кризис самого принципа историзма<sup>1</sup>.

На новом этапе особое внимание историков уделялось прежде всего истории итальянской и европейской общественной мысли. Не последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что в результате победы движения Сопротивления, краха фашистской диктатуры наступило глубокое разочарование в существовавших неоклассических моделях исторической реконструкции, сопряженное с не менее глубоким оптимистическим зарядом, уверенностью в возможности создания разумного общества, ориентирующегося в своем развитии на достижения передовой научной, в том числе - исторической, мысли. Этого оптимистического заряда хватило очень на долгое время, и он вдохновлял дискуссии историков в течение нескольких десятилетий<sup>2</sup>.

Если пытаться вкратце охарактеризовать ситуацию в итальянской историографии после второй мировой войны, нельзя не отметить значительное влияние, оказываемое не только в общественной жизни, но и - в особенной мере - в социальных науках учеными левой политической ориентации. В Италии традиционно были сильны левые настроения среди интеллигенции, и ИКП содержала в себе значительно больший элемент интеллектуальной элитарности, нежели аналогичные партии в других странах. После второй мировой войны это привело к тому, что многие направления исторического исследования, как, например, интеллектуальная история, стали "доменом" историков марксистского толка. Проявления этого особенно заметны в послевоенной историографии XVII - XVIII вв., где, пожалуй, только один "гранд" -



Франко Вентури - не исповедовал левые настроения (впрочем, в отношении этого историка необходимо сделать оговорку, касающуюся его кратковременного участия в партии "Справедливость и свобода"). Значительно меньшим влиянием пользовались историки церкви (опять же вследствие доминанции светского элемента в эстетике Сопротивления), однако их присутствие в историографической панораме все же ощущалось.

После войны стало очевидным, что изучение истории ментальности не могло больше подменяться исследованиями по истории философии, литературы, искусства. Великие произведения в этом ключе уже были написаны, но и они не давали ответов на формировавшиеся запросы нового европейского общества. Многие оценки безнадежно устарели и требовали пересмотра, который, в свою очередь, был невозможен без выхода за рамки окостеневшей традиционной методологии.

Для итальянской историографии 50 - 70-х гг. характерным было особое внимание к биографии отдельных персонажей как к объекту исследования. Немало способствовало этому издание 75-томной антологии итальянской литературы<sup>3</sup>, потребовавшей титанического труда десятков специалистов, не только подготовивших к публикации массу неизвестных или малоизвестных текстов, но и проведших большую работу по реконструкции биографий авторов. Получившаяся картина была настолько разнородной и объемной, что в 1967 г. на конгрессе в Перудже, посвященном проблемам итальянской историографии, известный историк П. Виллани осудил установку на изучение деятельности отдельных персонажей, на воссоздание целостной картины из множества персоналий. Основная опасность такого подхода, по его мнению, заключалась в тяготении к "фрагментарному и атомистическому видению" исторических процессов и, как следствие, в потере "фундаментальных тем исторического исследования"<sup>4</sup>.

В конце 60-х годов в европейской историографии различных направлений вырисовывается проблема соотношения исторического дискурса и биографий отдельных персонажей. Ф. Фюре, без сомнения, отметил более или менее общую для школы социальной антропологии точку зрения<sup>5</sup>, когда писал, что низшие классы обычно попадают в историю через демографию или социологию. Английский историк Льюис Немир разработал просопографическое направление, стремящееся представить исторический процесс как своего рода сумму биографий его рядовых участников. Итальянские ученые также много и плодотворно работали над тем, как "вставить" человека в исторический контекст его деятельности. Между историками, занимающимися различными эпохами, существует оживленный историографический диалог, стимулируемый выпуском комплексных работ, а также проводящимися по традиции раз в 20 лет крупными конференциями по историографическим проблемам<sup>6</sup>.

2. В 1975 году один из крупнейших французских историков школы "Анналов" Э. Леруа Ладюри опубликовал исследование, которому суждено было стать отправным пунктом для целого направления, причем в различных национальных историографиях. Речь идет о получившей общеевропейскую известность книге "Монтайю"<sup>7</sup>. В европейской историографии к тому времени уже давно сложилась традиция локальных исследований, однако работы Леруа Ладюри несла в себе много нового. Прежде всего внимание коллег обратил тот факт, что затраченные историком усилия материализовались в описании реалии малого географического формата ("пространство") и малой временной протяженности ("время"). Сразу же возник вопрос о реальной ценности этих двух категорий для историков 70-х годов. Выход за пределы традиционного применения категорий "пространство-время" казался плодотворным, и уже в 1976 году появилась новая работа известного болонского историка Карло Гинзбурга "Сыр и черви: мир мельника XVI века"<sup>8</sup>.

Появление этой работы, сколь бы новаторской она ни была, нельзя считать ни случайным, ни неожиданным. Прежде всего, в итальянской историографии уже существовал жанр малой статьи, основывающейся на одном источнике и предлагающей его всесторонний анализ. Соответственно, чаще всего такой источник повествовал об одном событии или казусе, и анализ его был настолько глубоким, насколько позволял объем статьи. Сам Гинзбург также опубликовал ряд таких работ, самая первая из которых, видимо, была написана еще в 1961 году<sup>9</sup>. Конечно, многие другие историки также публиковали такие статьи, зачастую вынося в них на суд читателей фрагменты готовившихся монографических работ, поднимали частные вопросы, или посредством их дополняли уже выпедшие крупные исследования, останавливаясь подробно на некоторых деталях. Объяснение этому заключалось, видимо, в отсутствии оснований для применения такого метода анализа по всему материалу крупной работы. Исследования высокого качества требуют определенной однородности изложения, зачастую делаая невозможной микроисторическую скрупулезность на широком поле исследования.

Традиционный для послевоенной итальянской историографии интерес к биографиям преломился здесь очень своеобразно. Как мы видели, итальянские историки в 60-е и в 70-е годы не только накопили значительный опыт в работе с биографиями, но и активно разрабатывали методологический и теоретический аспекты этой работы, особое внимание уделяя идейному климату и более широкому духовному контексту. В литературе уже имелись опыты воссоздания биографий королей, мыслителей, государственных деятелей. Теперь внимание историка было обращено к личности простого человека и к идейной атмосфере его ин-

теллектуальной жизни, о которой источник сообщал массу интересных подробностей.

Книга Гинзбурга - это описание мировоззрения мельника по прозвищу Меноккьо из горной области Фриули. Этот мельник ничем особенным среди себе подобных не отличался, если не считать того, что документы именно этого инквизиционного процесса дошли до нас с редкостной полнотой. Однако автор не ставил себе целью доказывать или даже просто констатировать типичность ситуации или какую бы то ни было "серийность" мировоззрения Меноккьо в исследуемую эпоху. Получилось интересное, наводящее на самостоятельные размышления исследование, поражающее даже опытного читателя-историка своей подлинностью и детальностью, и в то же время не содержащее в себе обязывающих (а потому уязвимых) выводов и обобщений. Оказалось (и историки сразу отдали себе в этом отчет, хотя и воздерживались до поры от программных выступлений в пользу такого подхода), что этот способ исторического исследования, будучи взят как основной метод, также имеет право на существование, исключительно полезен в качестве средства познания прошлого, причем полезен - не в последнюю очередь - именно тем, что максимально придерживается исторической правды, не рискуя обобщать за пределами своего материала, ограниченного источником.

Особенно полезным данный подход оказался для университетской практики. Дело в том, что в подготовке историков в итальянских высших учебных заведениях сложилась такая практика, при которой особое внимание уделяется написанию дипломной работы. Студенты учатся неограниченное количество лет и должны сдать на положительную оценку (минимум 18 из 30) определенное количество экзаменов (порядка 40). Затем они приступают к написанию дипломной работы под руководством профессора. Эта дипломная работа всегда - самостоятельное исследование на основе неисследованных или малоизвестных архивных документов; работа в архиве является обязательным условием. Работа пишется с учетом всех достижений исторической науки в Италии и за рубежом с привлечением широкой историографии. Часто уровень дипломной работы позволяет ее немедленную публикацию<sup>10</sup>.

Понятно, что такая монографическая работа подразумевает широкую источниковую и серьезную методологическую базу, что не всегда является реальным для молодого человека. Более того, в 70-е годы в итальянских университетах обострилась конкуренция, прямым образом отразившаяся на росте уровня подготовки специалистов. В свою очередь, узкая специализация дипломников способствовала складыванию местных научных школ и целых направлений. Методологическая находка Карло Гинзбурга оказалась как нельзя кстати: ограниченность объекта исследования во времени и пространстве (то есть отказ от тра-

диционной, хоть даже и имплицитной, коллокации объекта в глобальной схеме "пространство-время") допускает и определенную ограниченность источника (продиктованную его характером или даже выбором исследователя), коль скоро не ставится задача всестороннего рассмотрения данного класса явлений, более широкой категории. Так на практическом уровне постепенно сложилась традиция досконального изучения не столько объекта, сколько источника. Следует сразу оговорить, что эта традиция имеет общий для практически всех университетских школ характер, она возникла независимо от методологических веяний и, очевидно, была порождена объективными обстоятельствами.

Складывание же новой методологии поначалу прошло незамеченным для самих его авторов. Достаточно вспомнить, что Леруа Ладюри в те же самые годы, когда создавалось его исследование о деревне Монтаяю в Пиренеях, занимался поиском новой методологии, прежде всего - в сфере количественной истории<sup>11</sup>. К. Гинзбург нашел в Италии единомышленников<sup>12</sup>, однако об историографическом "повороте" говорить было еще рано.

Новое направление, порожденное прежде всего университетской практикой и непосредственными дидактическими нуждами, поначалу бурно развивалось эмпирически. Специализированный журнал "Квадэрни сторичи", издававшийся в Анконе и изначально следовавший в целом методологии "Анналов", перешел под влияние болонской школы историков во главе с К. Гинзбургом и начал регулярно печатать статьи микроисторического плана только с конца 70-х годов. Следует особо подчеркнуть, что микроистория так и не стала единственным направлением работы журнала. Менее известна деятельность двух других ведущих органов итальянской исторической мысли - "Студи сторичи" и "Ривиста сторика итальяна". Первый из этих журналов, основанный и издающийся фондом А. Грамши, изначально специализировался главным образом на историографии Рисорджименто, индустриализации, истории Сопротивления, ряда других традиционных для историков левого крыла тем, главным образом - из истории XIX и XX столетий. С начала 80-х годов он начинает пускать на свои страницы исследования, выполненные техникой микроистории, и эти изменения стали особенно заметными к середине десятилетия. "Ривиста сторика итальяна", орган, публиковавший исследования по "истории идей", традиционно уделял новым веяниям гораздо меньше влияния. Таким образом, можно говорить не о том, что один из исторических журналов в Италии "пестует" микроисторию, а о том, что два из трех крупнейших (и некоторые журналы меньшего масштаба) отдают должное новой методике.

3. Что же такое микроистория сегодня? Ответ на этот вопрос подразумевает наличие общих моментов в творчестве историков, работающих в этом ключе, наличие более или менее устойчивой и общепризнанной методологической базы, однако здесь-то и заключается основная трудность. Несмотря на то, что первые программные статьи наиболее авторитетных приверженцев этого направления уже вышли и были даже переведены на русский язык<sup>13</sup>, во мнениях ученых нет полного согласия. Профессор Венецианского университета Джованни Леви даже говорит о микроистории как о части его личной биографии, затрудняясь в определении ее как методологического течения<sup>14</sup>. Работа историков не ограничивается более или менее заданными рамками, а поэтому не годится для обширных коллективных проектов: микроисторический подход глубоко индивидуален, понимается и реализуется каждым исследователем по-своему<sup>15</sup>.

Работы в микроисторическом ключе создаются многими историками, среди которых, помимо некоторых признанных мэтров, преобладают молодые. Видимо, обсуждая методологические принципы микроистории, имеет смысл говорить скорее о работах, нежели о персональном видении, с известной оговоркой в адрес трех крупнейших авторитетов этого направления.

Первая и самая главная общая характеристика всех микроисторических исследований - сознательная изначальная ограниченность в пространстве и времени (итальянская историография самых разнообразных направлений вообще широко пользуется объединенной категорией "spaziotempo"). Это самоограничение исследователя зачастую звучит в самом заглавии, и в этом случае служит идентификации микроисторических работ.

Высказывалось мнение, что в основе методологии микроистории стоит "выбор ... межличностных отношений в качестве основного предмета анализа", что, в свою очередь, принудительно повлекло "решительную смену масштаба исследования"<sup>16</sup>. Безусловно, в центре большинства микроисторических исследований в том или ином виде находятся межличностные отношения, однако, на наш взгляд, это стало как раз следствием вышеописанного самоограничения историка. Если на самом деле микроисторические исследования исходят прежде всего из установки на межличностные отношения, то необъяснимым остается целый богатейший пласт итальянской биографической истории, где межличностные отношения понимались, наоборот, расширительно и способствовали воссозданию интеллектуальной панорамы деятельности персонажей Возрождения или Просвещения.

В рамках такого метода постепенно сложились различные направления, стили исследования, типы микроисторического дискурса. В конце 80-х годов большинство историков отказались от тенденции к обобще-

нию, порой имплицитному, ценой потери целостности изучаемого казуса, его идентичности. Сегодня чаще всего исследуемый эпизод, казус рассматривается на фоне других, не затрагиваемых в работе непосредственно источников, иными словами, "проецируется на весь историко-культурный контекст"<sup>17</sup>. Таким образом, ценность такого казуса становится двоякой. С одной стороны, он становится иллюстративным, то есть демонстрирует свежий и оригинальный аспект сформулированной ранее, чаще всего - историками других направлений, историографической проблемы, а с другой, вписывается в более широкую панораму метаисторического дискурса. При этом важнейшее отличие микроисторического подхода заключается в том, что подвергаемый исследованию казус, строго говоря, может и не быть репрезентативным в широком смысле, однако ценность его для историка от этого не утрачивается. Для этого необходимо, чтобы источник давал свежий материал, расширял социальное поле исторической науки. Э. Гренди, выражая, без сомнения, личную точку зрения, писал, что микроисторическое исследование в общем "заключается в отборе единичных, исключительных казусов в противовес обычным и повседневным действиям индивида, что и позволяет сузить познавательную область историка"<sup>18</sup>.

Очень легко впасть в заблуждение, считая микроисторию в целом подходом, сужающим представления историков о возможном объекте исследования. Выполненная этим методом работа изначально ограничена в пространстве и времени, однако тематика работы, наоборот, максимально расширяется, а стиль исторического дискурса максимально варьируется - от "хроник" до "судебных процессов". Таким образом, микроистория в этом отношении продолжает начатое исторической антропологией. При этом микроистория стремится компенсировать врожденный недостаток антропологии, нацеленной на широкие и порой уязвимые обобщения.

Карло Леви отмечал<sup>19</sup>, что появление микроистории свидетельствует об общих чертах между историей и антропологией. Продолжая эту мысль, хотелось бы ее уточнить. Микроистория появляется на тех пространствах, на которых уже "отметилась" антропология, но где предлагаемые ею концепции не носят окончательного характера. Микроистория вообще тесно увязана с исторической антропологией, больше, чем это признают сами авторы главных микроисторических исследований. Порой, особенно в исторических произведениях "малой формы", микроистория напоминает "стоп-кадр" (если мы хотим продолжить начатую К. Гинзбургом и Ж. Ревелем и, в целом, интересную аналогию между созданием исторического произведения и съемкой фильма<sup>20</sup>) возможного более широкого (но в любом случае очень подробно) исследования в жанре исторической антропологии.

В конце 90-х годов вполне можно говорить о различных тематичес-



ких направлениях в рамках микроисторического подхода. В современной практике преобладают направления, названные Гренди "социальным" и "культурным". Существует также и экономическая микроистория (корифеями которой являются К. Леви и К. Пони); имеется "политическая" микроистория. Вообще говоря, это направление поместилось в целом в поле "истории культуры", однако эта культура трактуется расширительно: все вышеуказанные направления так или иначе вписываются в историко-культурный контекст.

Подавляющее большинство исследований по микроистории посвящено периоду с XV по XVIII век; микроисторических исследований по более раннему периоду почти нет, а по более позднему периоду они единичны. На наш взгляд, это далеко не случайно; настолько не случайно, что так же может служить критерием идентификации микроисторического метода.

Основной проблемой для создания работы в ключе микроистории является соотношение между источником и исторической реальностью. Очевидно, существует некая пропорция между дошедшим до нас количеством источников и информационной наполненностью времени. Эта пропорция существенно изменяется с течением веков: источник по древней и по раннесредневековой истории всегда фрагментарен. Картина меняется при приближении к XV веку, и дальше концентрация источника в диахроническом поле в целом растет.

Источник в жанре микроистории - всегда письменный, предполагающий символическое прочтение. Символическое видение источника в микроисторическом методе распространяется и на сам казус, представляющий перед исследователем, таким образом, в двух ипостасях - казус как таковой, то есть единичный случай, заслуживающий реконструкции "сам по себе", и казус как символ, являющийся манифестацией определенных тенденций, действия скрытых факторов и т. д. Таким образом пропадает необходимость построения громоздких обобщений в конце работы или обоснования типичности казуса в ее начале. При этом, конечно, объект микроисторического исследования может быть типичным или серийным, однако работа "микро"-историка начинается там, где заканчиваются рассуждения о типичности. В центре исследования - факт, отделенный от череды себе подобных, однако немислимый без этой череды.

Таким образом, для полноценного микроисторического дискурса необходимо существование такой "серии" документов, в которой данный выделялся бы своей аномальностью или же, наоборот, подчеркнутой типичностью. В качестве объекта изучения необходимо "выбирать то, что повторяется"<sup>21</sup>. Если есть такая "серия" документов, то как раз и встает проблема интерпретации единичного, чаще всего - исключений, моментов, выбивающихся из общего строя большинства. Для ис-

следования в жанре микроистории выбираются документы, поддающиеся определению меры их серийности, то есть такие, о которых или известно, что они принадлежат определенной серии, или наличие этой серии можно со значительной степенью вероятности предположить. Таким образом, "каждый документ, пусть даже и самый специфичный, может быть включен в серию и, более того, он может помочь (если его должным образом проанализировать) пролить свет на более обширную серию документов"<sup>22</sup>. Таким образом источник в микроисторическом исследовании предполагает толкование не только относительно себя самого, но и относительно более широкого класса.

Более того, в отношении итальянской истории XV - XVIII вв. можно сказать, что сам материал располагает к микроисторическому подходу. Во-первых, политическая раздробленность (а применительно в XVII - XVIII вв. - еще и политический упадок) предлагает исследователю массу мелких сюжетов. Кроме того, даже тематика представляется очень подходящей. Английский историк Джон Робертсон отмечал, что, в частности, эпоха Просвещения идеальна для человека, желающего заниматься прогрессивной эпохой и не являющегося ни националистом, ни историком церкви<sup>23</sup>. Фрагментарность античного и раннесредневекового источника, не позволяющая определить вышеописанную "серию", дает начальный рубеж поля микроистории, а конечный обусловлен тематикой Рисорджименто, выводящей на авансцену сюжеты более протяженной политической истории.

Сложившаяся ситуация исключительно плодотворна. Констатация типичности источника при таком подходе теряет свой смысл. Во-первых, историку необходимо определить (и оговорить), почему он обращает свое внимание на данный казус, и таким образом выделить в нем индивидуальное. Это вычленение индивидуального позволит, в свою очередь, по заранее выбранным параметрам определить, что же таковым не является. Соответственно, вырисовывается контур типичных обстоятельств и самого понятия типичности. Если внутри данного параметра выделяется только один казус, то остальные и формируют обычную парадигму. Это типичное уже проливает новый свет на старое, хорошо известное явление.

Схема эта, конечно, страдает некоторой упрощенностью, однако вполне ясно определяет метод определения типического без "расширения" духовной среды, поисков модного еще вчера "контекста" и т. д. К. Гинзбург писал, что в этой ситуации смысл анализа отдельного источника двоякий: добавление информации происходит как за счет выяснения "среднестатистического", так и посредством выявления "скрытых возможностей"<sup>24</sup>. Гинзбург имел в виду именно такой подход к микроисторическому исследованию, когда писал, что итальянские историки приходят к объекту изучения "через аномалию, а не через аналогию"<sup>25</sup>.



Материал итальянских работ по микроистории позволяет даже предположить, что их авторов действительно мало интересуют критерии типичности или повторяемости, заданные априори, до анализа, до собственно исследования. Иными словами, "это интересно" не потому, что "это типично", а потому, что "это - правда".

Термин "микроистория" имеет более давнюю и запутанную историю, нежели само явление, которое принято так сегодня называть. К. Гинзбург проследил трансформацию смысла, вкладываемого в это определение историками, принадлежащими к различным направлениям и национальным культурам, "в глубину" до конца 50-х годов, и нет гарантии, что эту работу нельзя продолжить<sup>26</sup>. Слово возникло значительно раньше, чем сложилось его сегодняшнее наполнение. С другой стороны, и его наполнение сложилось в практике историков раньше, чем ему была придана этикетка "микроистории". Таким образом, очевидно, что, во-первых, слово и понятие существовали независимо друг от друга и параллельно; во-вторых, взаимосвязь между тем, что мы называем этим словом, и самим термином, весьма условна и конвенциональна постольку, поскольку сложилась сравнительно недавно.

4. Терминологические и понятийные проблемы микроисторического дискурса были поставлены много позже складывания самой методологии. Этому видится несколько причин.

Прежде всего, далеко не сразу было замечено, что новый подход группы историков - это нечто большее, чем просто литературный прием. Не случайно К. Гинзбург в предисловии к ставшей классической работе "Сыр и черви" относил свою работу скорее к направлению, заданному М. М. Бахтиным в сфере исследования народной культуры<sup>27</sup>. Убежденность в этом историка настолько велика, что современный читатель постоянно возвращается к сомнению относительно действительной историографической ценности этого произведения.

Недавние статьи К. Гинзбурга, а также К. Леви и других теоретиков современной микроистории, видимо, имеют дополнительной целью исправить эту диспропорцию. В недавно опубликованных на русском языке и имеющих, безусловно, большое научное значение статьях эти ученые не говорят ни слова о своих (даже не непосредственных) предшественниках или даже возможных предтечах метода, и такие авторитеты, как М. Эмар и Ж. Ревель, их в этом поддерживают. С другой стороны, еще совсем недавно доля микроистории в больших историографических обзорах была непропорционально малой. Объясняется это прежде всего тем, что микроисторические исследования сознательно избегают обязывающих дефиниций, вокруг которых в Италии принято составлять историографические отчеты.

Э. Гренди писал, что микроистория представляет собой определен-

ный тип "итальянского подхода" в социальной истории и таким образом не выделяет его в общей историографической картине. Более того, по мнению историка, микроисторический метод вполне вписывается и в общеевропейскую тенденцию<sup>28</sup>. Его функция заключается, как считает Гренди, в радикальном обновлении понятийных категорий и их экспериментальной проверке.

В работах специалистов по итальянской историографии, представляющих пресловутую "комплексную историю", микроистория подвергается критике (что, впрочем, отнюдь не мешает этим специалистам пользоваться элементами этой методологии в собственных работах). Еще Ф. Вентури заявлял о своей неприязни "истории с приставками", подчеркнув тем самым недопустимость априорного ограничения исследователя в инструментарии и методологии.

Одну из давно признанных классическими работ этого направления, выполненной к тому же крупнейшим авторитетом итальянской историографии, крупнейший последователь и ученик Вентури Дж. Рикуперати охарактеризовал как "том умный, порой даже слишком, но также неоднородный и асимметричный"<sup>29</sup>. Такая характеристика работы Джованни Леви вызвана прежде всего тем, что она в имплицитной форме содержала попытку вычислить противоречия "комплексной истории" и явилась, таким образом, ответом на критику. Представители "комплексной истории" неоднократно подчеркивали, что рискованно касаться гигантских и сложных тем на материале микроистории. "Проникновение антропологии и возвращение события были предназначены для того, чтобы еще более осложнить ремесло историка"<sup>30</sup>.

Действительно, критика в основном вращается вокруг возможности или невозможности обобщения материала единичного казуса по протяженному пространственно-временному полю<sup>31</sup>. Можно согласиться с Гренди, считающим, что крупный масштаб исследования, взятый за основу, поколебал позиции истории-синтеза и тем самым спровоцировал возмущение в рядах научной корпорации<sup>32</sup>.

Итальянская историография, посвященная XV - XVIII вв., прошла в общем русле европейской ряд закономерных этапов: от истории персонажей к истории массы, больших коллективов, позднее - институтов; от истории социальных категорий к истории классов и различных социальных групп, к исторической антропологии; от истории биографий к истории идей. Сегодня, благодаря в первую очередь появлению и развитию нового метода, называемого микроисторией, большинство итальянских историков в той или иной форме ставит перед собой проблему факта не только как средства, но и как цели исторического исследования. При этом, как показывает опыт итальянской исторической науки, отнюдь не обязательно провозглашать себя сторонником той или иной школы, того или иного направления. Историки ощутили потреб-

ность, прежде чем, взгляды в даль, пытаться различить контуры протяженных и обширных социальных построений, сначала "ближним зрением" рассмотреть и оценить главных посредников такой реконструкции - факт, казус, символ, источник.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Об этом кризисе писал еще Б. Кроче. См. Croce B. *Punti di orientamento della filosofia moderna. Antistoricismo. Due lettere ai congressi internazionali di filosofia di Cambridge Massachusetts 1926 e di Oxford 1930.* Bari, 1931. В частности, когда исчерпали себя положительные моменты стремления "ad fontes", вдруг обнаружилось, что в исторических памятниках, в первую очередь - в письменных, стали искать и описывать не столько то, что было ново, сколько то, что было старо, т. е. восходило к кому-то из предшественников.

<sup>2</sup> Стоит отметить, что эти дискуссии, в отличие от споров историков ряда других стран, отличались и отличаются по сей день исключительной доброжелательностью, даже если речь идет о полярной разнице во взглядах. Этот фактор также способствовал постепенному выходу итальянской науки на авансцену европейской историографии.

<sup>3</sup> Издание *Letteratura italiana. Storia e testi.* Milano - Napoli, Ricciardi ed. было начато в конце 50-х годов и закончено в конце 70-х.

Другое крупнейшее издание - "Биографический словарь итальянцев" (*"Dizionario biografico degli italiani"*, Treccani, Roma, 1960 - ) представляется все же менее значимым в историографическом плане, в первую очередь - по причине исключительной растянутости публикации (за почти 40 лет издание, насчитывающее уже десятки томов, едва достигло середины алфавита). За эти годы в итальянской историографии успели смениться несколько доминирующих направлений и веяний, и все они в той или иной степени отразились в этом интереснейшем многотомнике.

<sup>4</sup> Интересно будет заметить, как эта позиция перекликается с сегодняшней критикой представителей так называемой "комплексной истории" в адрес микроистории.

<sup>5</sup> См. предисловие К. Гинзбурга к книге "Сыр и черви", опубл. в.: *Современные методы преподавания новейшей истории.* М., 1996 (далее - "Современные методы ..."), с. 47.

<sup>6</sup> Материалы этих конференций опубликованы в AA. VV. *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni.* Milano, 1970; AA. VV. *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni.* Bari, 1989.

<sup>7</sup> Le Roy Ladurie E. *Montaillou, village occitan de 1294 à 1324.* Paris, Gallimard, 1975.

<sup>8</sup> Ginzburg C. *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500.* Torino, Einaudi, 1976. Предисловие автора к этой книге переведено и опубликовано в выпущенной Европейским университетом и Фондом Фельтринелли сборнике "Современные методы преподавания новейшей истории". М., 1996.

<sup>9</sup> Не случайно сам Гинзбург в одной из недавних статей применительно к 70-м годам говорил об осознании термина, не отрицая (но и не подчеркивая), что фактически метод применялся и ранее, в том числе и им самим. См. его статью "Микроистория: две - три вещи, которые я о ней знаю" // "Современные методы ...", с. 207 и след.

В связи с этим хотелось бы оспорить выдвинутую еще в середине 80-х годов в ряде публикаций в итальянской периодической печати и поддержанную О. С. Воскобойниковым точку зрения относительно стремления Гинзбурга к поиску новой читательской аудитории для своих работ. Метод исследования сложился, как мы видим, значительно ранее выхода в свет "Сыра и червей", а "поиском аудитории" уже активно (и успешно) занимались многие итальянские популяризаторы истории (И. Монтанелли, Р. Джервазо и пр.).

<sup>10</sup> Случается, что такая публикация даже становится точкой отсчета для последующей историографии, как произошло, например, с книгой Б. Виджецци *Vigazzi B. Pietro Giannone riformatore e storico.* Milano, 1961. Следует подчеркнуть, что этот пример - далеко не единственный.

Университетская методика преподавания исторических дисциплин в Италии очень отличается от российской. В Италии (как и во Франции) делается больший упор на работу с источником, а из предметов едва ли не самый главный - историография. Всеохватывающего курса "всемирной истории" нет. Поэтому подготовка специалистов идет посредством приобщения к источнику, малому, разовому, одиночному - но идентичному, настоящему. Тщательный анализ одного источника, как считают итальянские университетские преподаватели истории, дает для подготовки специалиста гораздо больше, чем поверхностное касание большого документального массива.

<sup>11</sup> Достаточно упомянуть его крупное исследование "Территория историка". Le Roy Ladurie E. *La territoire de l'historien.* 2 voll., Paris, Gallimard, 1973 - 1978. Vol. 1, Du coté de l'ordinateur: la révolution quantitative en histoire.

<sup>12</sup> Следует оговорить, что следовавшие статьи К. Гинзбурга, К. Леви и других "отцов" новой методологии, посвященные складыванию нового течения, никоим образом не опровергают сказанного. При всей ностальгичности воспоминаний об этом периоде становления микроистории по их работам все же прослеживается, что группа единомышленников не была ни конституирована, ни даже четко определена. Поначалу увлечение микроисторией было поветрием, и лишь к концу 80-х годов историки задумались о теоретической стороне вопроса.

<sup>13</sup> См. статьи К. Гинзбурга и Дж. Леви в "Современные методы ...", а также перевод статьи Э. Гренди в "Казус 1996. Индивидуальное и уникальное в истории" (далее - "Казус ..."), М., 1997. Следует отметить удачный выбор статей для перевода, сделанный редакцией сборников.

<sup>14</sup> См. "Современные методы ...", с. 186.

<sup>15</sup> В самом деле, микроисторическое исследование - это всегда работа одного автора. На сегодняшнем этапе подход исключает соавторство, настолько индивидуальный характер имеет интерпретация микроисторического метода.

<sup>16</sup> См. "Казус ...", с. 292.

<sup>17</sup> Там же.<sup>18</sup> Там же, с. 293.<sup>19</sup> "Современные методы ...", с. 172.<sup>20</sup> См. их статьи в 86-м номере "Quaderni storici" (1994), переведенные в "Современные методы ...".<sup>21</sup> Там же, с. 216.<sup>22</sup> Там же, с. 217.<sup>23</sup> См. его статью в журнале Past and Present, n. CXXXVII (1991), spec. p. 185.<sup>24</sup> "Современные методы ...", с. 48.<sup>25</sup> Там же, с. 227.<sup>26</sup> Там же, с. 207 и след.<sup>27</sup> Там же.<sup>28</sup> См. "Казус ...", с. 299, 301.<sup>29</sup> Речь идет о книге Дж. Леви "Нематериальное наследие: карьера изгонятеля дьявола в Пьемонте XVII века". Levi G. L'eredità immateriale: Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino, Einaudi, 1985. Замечание принадлежит Дж. Рикуперати. AA. VV. La storiografia italiana negli ultimi vent'anni. Bari, 1989, p. 141.<sup>30</sup> Ibidem, p. 114.<sup>31</sup> Не случайно наиболее высокой оценки у специалистов по историографии, представляющих так называемую "комплексную историю", получила работа А. Плаканика "Философ и катастрофа. Одно землетрясение в XVIII веке". Placanica A. Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento. Torino, Einaudi, 1985. На наш взгляд, причина как раз заключается в том, что многолетняя работа во многих провинциальных архивах Южной Италии позволила исследователю выйти на уровень широких обобщений по экономической, социальной и демографической истории Юга.<sup>32</sup> Историк даже говорит о том, что новый подход "самым решительным образом покончил с историей-синтезом", однако такое суждение представляется нам слишком категоричным и предназначенным для полемики. "Казус ...", с. 292.

## “МАКРО” И “МИКРО” В СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКО-АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Антропонимические исследования снова в моде. “Снова”, ибо изучение имен имеет давние традиции. Например, во Франции первый “Трактат о происхождении имен и прозвищ” был опубликован еще в конце 17 века, но лишь в конце 19 века появилось первое статистическое исследование имен. С этого же времени по решению “Комитета Трудов по истории” антропонимика становится обязательным элементом ежегодных конгрессов Научных обществ, а антропонимические исследования приобретают систематический характер<sup>1</sup>.

Как и во многом другом новый импульс интереса к изучению имен дали в 30х-40х годах нашего века Марк Блок и Люсьен Февр, справедливо увидевших в именах важный инструмент для определения умонастроений и верований людей прошлого<sup>2</sup>. Все же пришлось дожидаться начала 50х годов, когда в связи с бурным развитием исторической демографии и исторической антропологии наметился действительный интерес у французских медиевистов и модернистов к антропонимическим исследованиям.

Сейчас, пожалуй, можно говорить уже о новом их подъеме, начало которому положили на рубеже 70х - 80х годов несколько программных статей, написанных рядом историков, демографов, социологов и этнологов, инициировавших новый рост интереса к подобным исследованиям<sup>3</sup>. В результате за последние два десятилетия появилось множество новых публикаций, усилия одиночек<sup>4</sup> сменились систематической работой творческих научных групп<sup>5</sup>, регулярно собираются коллоквиумы<sup>6</sup>, пишутся учебники и учебные пособия<sup>7</sup>, составляются библиографии<sup>8</sup>, предпринимаются первые попытки синтеза. Стало очевидным, что французская школа сейчас вышла в авангард современной исторической антропонимики.

Конечно, дело заключается не просто в увеличении числа работ, но в качественном обновлении основных направлений, расширении проблематики, подходов и методов самих антропонимических исследований. Суть изменений, пожалуй, можно выразить едва ли не одной фразой: центр тяжести сместился с интереса к именам лишь как языковым феноменам на интерес к носителям самих этих имен - людям, к их поведению и умонастроениям, выраженным в традициях имяназачения.

Соответственно, история имен из области языкознания и “вспомогательной исторической дисциплины”, где почти безраздельно господствовали лишь лингвисты и редкие историки, превратилась в качественно новую дисциплину, *историческую антропониимику*, в которой пересеклись научные интересы и усилия специалистов самых разных областей: историков, демографов, этнологов, социологов, лингвистов.

В мою задачу не входит подробная характеристика особенностей современного этапа развития исторической антропониимики<sup>9</sup>. Цель моего сообщения - скромнее, хотя и не проще: она заключается в ответе на вопрос о том, что же собой представляют микро- и макроподходы, какое место они занимают и как они сочетаются и взаимодействуют в новых антропониимических исследованиях. К сожалению, мне не известны работы, которые задавались бы этим вопросом специально. Наивно было бы пытаться искать прямые ответы на эти вопросы и в самих современных историко-антропониимических исследованиях. Тем не менее, ознакомление с рядом из них позволило мне сделать некоторые наблюдения, имеющие, разумеется, сугубо предварительный характер.

Прежде всего, что такое микроанализ в современной исторической антропониимике? Это - подбор особых источников, выбор иного объекта исследования, предпочтение иных подходов и методик, чем при макроанализе, или что-то другое?

Казалось бы, можно говорить о микро- и макроантропониимических источниках, различающихся по объему содержащегося в них антропониимического материала. Например, опись (terrier) сеньории Гап-Франсе от 1444 года, изученная Жаном-Клодом Элас дает поименный перечень всего нескольких сот держателей<sup>10</sup>, в то время как налоговые описи (rôles de taille), составленные в Париже в эпоху Филиппа Красивого в самом конце XIII века и проанализированные не так давно Каролин Бурле, содержат имена нескольких десятков тысяч налогоплательщиков<sup>11</sup>.

На самом деле, почти всякий антропониимический источник сочетает в себе черты, как “макро”, так и “микро”. Например, упомянутая налоговая опись конца XIII века, независимо от “макро” содержащихся в ней антропониимических данных, является по своей природе “микро”, поскольку обладает внутренней органичностью, определенной спецификой и присущей только ей индивидуальностью. В этом смысле она - единична, индивидуальна, даже уникальна, а значит и микроисторична. Наконец, она - не “всеохватна”, так как дает описание имен даже не всего, но лишь только части (глав домохозяйств) налогообязанного населения одного города (Парижа). С другой стороны, поземельная “микро” опись одной сеньории являет собой некую выборку из структуры всего макросоциума, ибо дает срез имен держателей разного пола и возраста, в том числе принадлежащих к разным поколениям; держате-

лей различного социального происхождения и имущественного статуса, жителей разных деревень и т.п.

Относительность “макро” и “микро” проявляется и в выборе объекта для антропониимического исследования. В качестве такового “Лиможская группа”, например, избрала почти миллион(!) имен жителей 100 приходов Лимузена, сохранившихся во всех источниках данного региона за последние 1500 лет. Таким образом, “макро” объект как будто бы налицо. Однако, поскольку речь идет не о случайной выборке ста приходов по всей территории Франции, а лишь одного конкретного региона, можно говорить о “микро” при выборе объекта и для данного исследования.

В противоположность “Лиможской группе” Даниель Фовель выбрал в качестве объекта для изучения именник всего лишь одной единственной нормандской крестьянской семьи Тинель, реконструировав по метрикам ее генеалогию с 1600 по 1900 год<sup>12</sup>. Речь идет об антропониимическом анализе “микро” объекта? Безусловно. Однако по мере реконструкции генеалогии этой семьи за три столетия “микро” приобретает черты “макро”. Со временем число членов генеалогии возрастет до тысячи; географически ее члены, первоначально происходя из одной лишь области Ко, постепенно “расползаются” чуть ли не по всей территории Нормандии, расселяясь и по ряду других провинций Франции, причем некоторые из них становятся горожанами, в том числе и парижанами. Некогда социально однородная крестьянская семья становится социально “пестрой”: уже в XVIII веке в ее составе можно найти помимо хлебопашцев или батраков, также мясников, плотников, ткачей и торговцев, даже врачей, хирургов и морских капитанов. Налицо срез части французского общества за три столетия в рамках одной семьи. Соответственно, автору удается проследить, как система именования в этой семье, сохраняя некоторые семейные традиции, по мере ее разрастания и дробления приобретает у ее членов черты, характерные в целом для определенной эпохи и соответствующей социальной среды, к которой они принадлежат, отражая тем самым как общие антропониимические процессы, так и антропониимические особенности, присущие лишь данной семье.

Сопряженность “макро” и “микро” проявляется также и в основных исследовательских методических подходах в современной исторической антропониимике. Условно эти подходы можно назвать “агрегативным” (или “статистическим”), “генеалогическим” и “просопографическим”.

Первый из них, “агрегативный” или “статистический”, предполагает исследование с помощью методов статистики массовых, всеобщих, типичных (“глобальных”) антропониимических явлений: выявление наиболее распространенных имен, замену со временем одних распростра-

ненных имен другими, изучение основных линий процессов концентрации имен, появления добавочных имен и превращения их в фамилии, возникновение двойных, тройных имен и т.п. При этом, чем глубже хронологически и шире пространственно охват антропонимических данных, тем - по мысли сторонников такого подхода - надежнее и лучше результаты. Соответственно, все единичное, отклоняющееся от нормы, нетипичное, особенное, редко встречающееся представляется малоинтересным и не заслуживающим внимания. Макроисторичность данного подхода вряд ли вызывает сомнения.

Ясно, что такой подход, позволяя наметить общие тенденции антропонимического развития, не дает возможности для их объяснения, даже при условии дифференцированного их рассмотрении по различным социальным и региональным группам. В этом случае удается выявить лишь некоторые особенности имяназечения мужчин и женщин, мирян и клириков, знати и простолюдинов, горожан и крестьян, жителей крупных сел и совсем маленьких хуторов в разных регионах Франции, но смысл и причины всех этих особенностей остаются неясными.

Именно в таком ключе были задуманы и реализованы первые два коллективных сборника "Турской группы" под руководством Моник Бурен, авторы которых исследовали по данным средневековых картляриев и различного рода описей в первом сборнике проблему появления и распространения во Франции, начиная с 11 века, новой системы двойных имен, состоящих из имени собственного и добавочного имени (*signum*), а во втором - особенности женской средневековой антропонимики и имен клириков<sup>13</sup>. Однако, вскоре "Турская группа" исследователей, ощутив недостаточность "статистического" подхода, уже в следующем, третьем, сборнике использовала для решения поставленной задачи совершенно иные методические подходы, "просопографический" и "генеалогический"<sup>14</sup>.

"Просопографический" метод в исторической антропонимике заключается в изучении того, как именуется и называется один и тот же индивид в различных источниках на разных этапах своей жизни и в различных обстоятельствах. Этот метод позаимствован историками и этнологами. Он позволяет лучше понять социальные функции имени, систему идентификации индивида, связь антропонимической системы с другими социальными структурами. В этом смысле имя выступает как "ключик" к открытию социума<sup>15</sup>, а сам "просопографический" подход представляется как типично микроисторический. Во всяком случае, авторам упомянутого сборника удалось с его помощью обнаружить существенные различия в устойчивости и изменчивости добавочных имен у представителей различных социальных средневековых групп, что позволило им продвинуться в понимании внутреннего механизма антропонимических изменений во Франции 11-13 веков<sup>16</sup>.

Не менее характерна микроисторичность и для "генеалогического" подхода, название которого говорит само за себя. Суть его - в определении по данным оригинальных и реконструированных генеалогий системы или традиций имяназечения внутри семьи. Чем семья руководствуется при выборе имени новорожденного? Кто из родственников (или неродственников) оказывает решающее влияние на этот выбор? Как происходит передача семейных имен из поколения в поколение? Каковы различия в имяназечении старших и младших детей, мальчиков и девочек? - вот круг некоторых основных вопросов, присущих данному подходу<sup>17</sup>.

Важность его для понимания сути "глобальных" антропонимических изменений очевидна, ведь имяназечение происходит именно в семье. В частности, сотрудникам "Турской группы" удалось с его помощью проследить, как происходил процесс превращения добавочных имен в фамилии в отдельных семьях и зафиксировать самый момент этого превращения. Тем самым, они смогли благодаря "генеалогическому" подходу заглянуть в данный процесс как бы "изнутри", увидеть его "внутренние пружины".

Таким образом, можно заметить, что макро- и микроанализ широко используется и тесно взаимодействует в современной исторической антропонимике. Сама "логика" антропонимического исследования заставляет исследователя переходить от "макро" к "микро" и обратно. Они взаимно обогащают его наблюдения. Ощущается внутренняя сопряженность, сочлененность, неразрывность "макро" и "микро" в современных историко-антропонимических исследованиях. Это - как бы "две стороны одной медали". Граница между макро- и микроанализом может заключаться в выборе разных источников, разных объектов и разных методов исследования. Однако, она, хотя и существует, но довольно относительно и в процессе исследования может размываться.

В заключение позволю себе добавить к этим наблюдениям и некоторые замечания, касающиеся сути рассматриваемого сюжета, исходя из собственного опыта историко-антропонимических изысканий. Я начал их с микроанализа имени и механизма имяназечения всего лишь в одной единственной семье, представленной в родословной 12 века одной фламандской простолюдинки из числа зависимых (так называемых *sainteurs*) одного из монастырей в Восточной Фландрии. По отношению к этой родословной антропонимические данные остальных более двадцати генеалогий зависимых женщин того же статуса и того же самого монастыря, которые я также изучил, можно было рассматривать как "макро"<sup>18</sup>.

Но это "макро" тут же превратилось в "микро", как только я стал затем сопоставлять эти данные с антропонимическими данными таких же генеалогий, но уже из других, соседних с первым монастырем<sup>19</sup>. В

этом случае роль “макро” стал уже играть именной фонд всех генеалогий зависимых нескольких монастырей из данного региона, т.е. Восточной Фландрии.

В свою очередь характер макрообъекта вновь поменялся, когда передо мной встала задача выявить региональные особенности именников и традиций имяназечения в генеалогиях из Восточной Фландрии по сравнению с такими же генеалогиями из других регионов средневековой Западной Европы, где такие генеалогии встречались, в частности Иль-де-Франса и Южной Германии<sup>20</sup>.

Таким образом, вместе с изменением масштаба рассмотрения “макро” каждый раз превращалось в “микро”, а “микро” как бы растворялось в “макро”. Необходимость же самого изменения масштаба диктовалась мне логикой моего исследования. Цель его заключается, в частности, в изучении *антропонимического поведения* средневекового индивида-простолюдина, проявляющегося при выборе имени для своего ребенка.

Какие факторы (помимо семейных, общинных и региональных традиций) и в какой мере определяли этот выбор? Под влиянием чего (кого?) и как складывались сами эти традиции? Насколько они оставляли свободу выбора индивиду? Какими мотивами он руководствовался при этом выборе - вот лишь некоторые из вопросов, меня интересующих. Нетрудно заметить, что такая постановка проблемы дает мне возможность как бы осуществить эксперимент с “действующим лицом” (“acteur”), позволяя посмотреть, как же он “действует” в процессе имяназечения, совмещая в себе при этом черты как субъекта, так и объекта этого процесса.

Ясно, что решение подобной задачи следовало искать прежде всего в рамках микроанализа каждой из генеалогий в отдельности. Именно он позволил обнаружить наличие и сохранение семейных традиций имяназечения: наследование из поколения в поколение внутри семьи определенных имен, а для самых больших генеалогий даже наметить некоторые контуры механизма такой передачи имен.

Но микроанализ не давал ответов на вопросы, насколько своеобразными были эти традиции у каждой семьи, и чем определялся выбор семьей именно этих, а не иных имен в качестве наследуемых. Лишь перейдя к макроанализу, поставив генеалогии в ряд, сопоставив их друг с другом объединив их именники в общий список имен, удалось определить как то, что их соединяет, так и то, что их разделяет.

Выяснилось, с одной стороны, что подавляющее число семей простолюдинов даже и в XII веке предпочитало имена древнегерманского происхождения всем остальным именам. Кроме того, оказалось, что многие семьи избрали в качестве наследуемых не разные, но одинаковые германские имена. А с другой стороны, были семьи, в чем-то не

совсем похожие антропонимически на остальные, и выявились даже семьи с уникальными антропонимическими характеристиками.

Противоположный путь от макро- к микроанализу мне пришлось проделать, когда в руки ко мне попала опись зависимых такого же статуса, составленная в конце XII века в одном из монастырей на этот раз Западной Фландрии<sup>21</sup>.

Антропонимический анализ всей описи показал, в частности, наличие, с одной стороны, ряда наиболее распространенных имен, а с другой, группы имен, практически не получивших распространения. Но макроанализ, естественно, не мог ответить на вопрос, почему одни имена получили массовое распространение, а другие нет; и какую роль в этом процессе сыграли поименованные в описи “действующие лица”.

Я попытался подступиться к ответу на него, лишь перейдя от макроанализа всего списка имен в описи к микроанализу сначала именников отдельных деревень, а затем и отдельных семей: благо опись позволяла это сделать, поскольку описанные в ней крестьяне были сгруппированы в ней по деревням, а внутри них по семейным, скорее же по родословным, группам (к сожалению, правда, как правило без указания семейно-родственных связей между ними). В результате оказалось, что несмотря на общее сходство, именники жителей даже соседних деревень не во всем совпадали друг с другом: некоторые из наиболее распространенных имен в одних деревнях получили все же большее распространение, чем в других.

Объяснение этому явлению я попытался найти, проведя микроанализ именников каждой из семейно-родословных групп в этих деревнях. Выяснилось, что имена, получившие особое распространение в некоторых деревнях, получили его благодаря тому, что они стали семейными, наследственными именами у ряда семей из этих деревень. Исходя из этого, можно предположить, что именно особенности антропонимического поведения отдельных семей могли лежать у истоков процесса массового распространения некоторых имен.

Таким образом, опыт моих собственных антропонимических изысканий, которые я намерен продолжать и дальше, тоже показывает, что ключ к успеху заложен, как мне кажется, в сочетании макро- и микроподходов.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См., например, доклад Ж.Депуана на Конгрессе Научных обществ 1910-1911 гг.: J.Depoin. Recherches sur l'état civil, les conditions du baptême et le mode de dénomination des enfants du IX-em au XI-em siècle. // Bulletin de la Section des sciences économiques et sociales du Comité de Travaux historiques. Année 1911. Paris, 1915. P.34-54.



<sup>2</sup> Marc Bloch. Noms de personne et histoire sociale. // Annales d'Histoire économique et sociale. IV, 1932. P.67; Lucien Febvre. De la Renaissance à la Contre-Réforme, changement de climat? // Annales d'Histoire sociale. 1941. P.47.

<sup>3</sup> P.Besnard. Pour une étude empirique du phénomène de mode dans la consommation des biens symboliques: les cas des prénoms. // Archives européennes de Sociologie. XX. 1979. P.343-351; F.Zonabend. Jeux de noms. Les noms de personne à Minot. // Etudes rurales. 74. avr.-juin 1979. P.51-85; A.Burguière. Un nom pour soi. L'attribution du prénom dans la France ancienne. // L'Homme. XX(4). oct.-dec. 1980. N spéc.: Formes de nomination en Europe. P.25-42; C.Klapisch-Zuber. Le nom refait. // Ibidem. P.77-104;

<sup>4</sup> Среди них выделим, прежде всего, работы Альбера Доза и Мари-Терез Морле: Albert Dauzat. Les noms de personnes. Origine et évolution. Prénoms, noms de famille, surnoms, pseudonymes. Paris, 1925; id., Les noms de famille de France. Traité d'anthroponymie française. Paris, 1945; id., Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France. Paris, 1951; Marie-Thérèse Morlet. Étude d'anthroponymie picarde, Haute-Picardie, XIIIe-XVe siècles. // Société de linguistique picarde. VI. Amiens, 1967; eadem. Les noms de personne sur le territoire de l'ancienne Gaule. Vol.1-2. Paris, 1968-1972; eadem et M. Mulon. Les noms de personne et les toponymes - in: J.Jacquart, M.-Th.Morlet, M.Mulon. Le censier d'Issy (1332-1334) // Paris et Ile-de-France. T.26-27 (1975-1976). P.7-36; eadem. Les noms de personne dans le censier de Jouarre. // Mélanges offerts à R.Sindou. P., 1986. P.93-97; eadem. Le censier de l'évêché de Toul: étude philologique et onomastique. // Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge. Actes du 117e Congrès National des Sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1992, Section d'histoire médiévale. Paris, 1993. P.229-273. См. также: Jean Verdon. La femme vers la milieu du IX siècle d'après le polyptyque de l'abbaye de Saint-Remi de Reims // Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne. 1976. T. XCI. P.111-134; Pierre Toubert. Les structures du Latium médiéval. Rome, 1973. P.694-703.

<sup>5</sup> Отметим среди них, прежде всего, последние тематические сборники Турской антропонимической группы, вот уже в течение почти десяти лет реализующей научный проект "Генезис в средние века антропонимики нового времени" (Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne) под руководством Моник Бурин: Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne - IV - Discours sur le nom: normes, usages, imaginaire (VIe - XVIe siècles), textes réunies par Patrice Beck. Tours, 1997; Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne - V - Anthroponymie de la dépendance (en préparation); L'anthroponymie, document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux. Actes du colloque international organisé par l'École française de Rome avec le concours du GDR 955 du C.N.R.S. "Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne" (Rome, 6-8 octobre 1994), recueillis par Monique Bourin, Jean-Marie Martin et François Menant. Rome, 1996; а также Лиможской группы под руководством Луи Перуа, поставившей своей целью изучение почти миллиона имен в 100 приходах Лимузена за полторы тысячи лет, начиная с 5 века : Léonard, Marie, Jean et les autres. Les prénoms en Limousin depuis un millénaire. Louis Perouas, Bernadette Barrière, Jean Boutier, Jean-Claude Peyronnet, Jean Tricard et le groupe Rencontre des

historiens du Limousin. Paris, 1984

<sup>6</sup> Один из первых коллоквиумов был организован еще в 1980 году "Обществом по исторической демографии": Le Prénom, mode et histoire - Entretiens de Malher 1980. 2. Recueil de contributions préparé par Jacques Dupâquier, Alain Bideau, Marie-Elizabeth Duceux. Paris, 1984; один из последних - в самом конце 1996 года секцией "История сегодня" на тему: "Des noms et les hommes, l'homme et ses désignations".

<sup>7</sup> R.de Goros. Bibliographie des études d'onomastologie dans le domaine français. // Revue de linguistique romaine. 38(1974). P.419-446; M.Mulon. L'Onomastique française. Bibliographie des travaux publiés [1] jusqu'en 1960, [2] de 1960 à 1985. Paris, 1977-1987

<sup>8</sup> Anne Lefebvre-Teillard. Le nom, droit et histoire. Paris, 1990;

<sup>9</sup> См. об этом подробнее: J.Dupâquier. Introduction. // Le Prénom, mode et histoire... P.5-10; Introduction. // Léonard, Marie... P.1-5.

<sup>10</sup> Jean-Claude Helas. Les prénoms en Gevaudan au debut du XIVe siècle dans les Feuda Gabalorum. // Campagnes médiévales: l'homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier. Travaux réunis par E.Mornet. Paris, 1995. P.341-353.

<sup>11</sup> Caroline Bourlet. L'anthroponymie à Paris à la fin du XIIIe siècle d'après les rôles de la taille du règne de Philippe Le Bel. // Genèse médiévale... T.II-2. Paris, 1992. P.9-44.

<sup>12</sup> Daniel Fauvel. Choix des prénoms et tradition familiale: Pays de Caux, 1600-1900. // Le Prénom, mode et histoire... P.99 et sq.

<sup>13</sup> Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne - I, sous la direction de Monique Bourin. Tours, 1990; Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne - II, 1 - Persistances du nom unique: le cas de la Bretagne, L'anthroponymie des clercs, Études réunies par Monique Bourin et Pascal Chareille. Tours, 1992; Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne - II, 2 - Persistances du nom unique: Désignation et anthroponymie des femmes, Méthodes statistiques pour l'anthroponymie, Études réunies par Monique Bourin et Pascal Chareille. Tours, 1992. См. также прим.5.

<sup>14</sup> Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne - III - Enquêtes généalogiques et données prosopographiques, Études réunies et publiées par Monique Bourin et Pascal Chareille. Tours, 1995;

<sup>15</sup> См. об этом подробнее: Françoise Zonabend. Prénom et identité. // Le Prénom, mode et histoire... P.23-28.

<sup>16</sup> Monique Bourin et Pascal Chareille. Le choix anthroponymique: entre hasards individuels et nécessités familiales. // Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne - III - Enquêtes généalogiques et données prosopographiques... P.223-226.

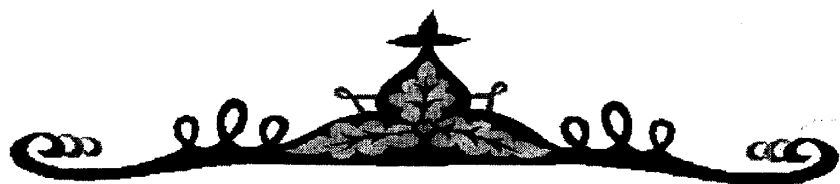
<sup>17</sup> Такой подход характерен для авторов большинства докладов, прочитанных на коллоквиуме, организованном в 1980 году "Обществом по исторической демографии". - См.: Le Prénom, mode et histoire...

<sup>18</sup> П.Ш.Габдрахманов. Семейные традиции средневековых крестьян в отражении их родословных (Фландрия 12 в.) // Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни до начала нового времени. Под ред. Ю.Л.Бессмертно-го. М., 1996. с.209-238;

<sup>19</sup> Имя, семья и familia: К вопросу о социальных рамках частной жизни средневекового простолюдина. (готовится к публикации)

<sup>20</sup> Hochmittelalterliche Schutzhörige im Kreis ihrer Ahnen und Nachkommen (Nach einigen Genealogien des 12. Jahrhunderts) // Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für Geschichte. Göttingen, 1999. (в печати).

<sup>21</sup> "Что в имени тебе моем?...": Семья и имя во Фландрии XII - XIII веков. (готовится к публикации во 2-ом томе коллективного труда "Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни до начала нового времени". Под редакцией Ю.Л.Бессмертного)



## **ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ**

## ВПЕРЕД, К ГЕРОДОТУ!

Отец европейской истории Геродот из Галикарнаса написал свою Историю, чтобы „прошедшие события с течением времени не пришли в забвение“, а „великие и достойные удивления деяния как эллинов, так и варваров“ не остались в безвестности. Геродот из Галикарнаса не собирался на основании „собранных и записанных им сведений“ строить догадки о том, как будут в грядущем складываться, скажем, отношения между эллинами и варварами. Отцу истории не могло, наверное, и в голову прийти, что едва ли не главным профессиональным заклиниванием грядущих продолжателей его стараний будет формула о том, что история призвана „в конечном счете“... предсказывать будущее. Что в античной ойкумене, что на ее варварской периферии процветала настоящая „индустрия предвидения“ - тот же самый Геродот (наряду с десятками других авторов) подробно о ней рассказывает. Заглядывание в будущее, сверка по нему своих поступков - дело у древних едва ли не повседневное. Лишь христианство смогло несколько приглушить эту практику, свести ее как бы до уровня полуполюгальной. Способов узнавать будущее и у современников Геродота, и у ряда поколений их потомков было предостаточно: лукавыми гекзаметрами оракулов начиная, бараньими лопатками или наспех обструганными букowymi палочками заканчивая. История в числе этих средств, однако, не значилась...

Красивое в своей парадоксальности *mot* насчет перетекания знаний о прошлом в знание о грядущем - блестящее, но поверхностное, как почти всякое настоящее *mot* - неотступно преследует нынешнего историка со студенческой скамьи. Многократно и авторитетно повторяемый лозунг не может не оказаться действенным, и разбуженный посре-

\*Статья написана специально для альманаха „Казус“ и публикуется во втором его выпуске вместе с материалами ее обсуждения в Институте всеобщей истории РАН. Однако, поскольку затрагиваемые в статье вопросы имеют непосредственное отношение к тематике конференции по микро- и макроподходам в истории, было сочтено целесообразным включить ее как в материалы конференции, так и в настоящий сборник препринтов. - *Ред.*

ди ночи студент без запинки и тени сомнения ответит на вопрос о том, зачем нужна наука история: она, дескать, „в конечном счете“ помогает предвидеть... С примерами успешных предвидений будет уже сложнее - их он и посреди бела дня, пожалуй не припомнит.

Чем дольше и глубже придется нашему гипотетическому студенту заниматься историей, тем реже в нем будет проявляться склонность к „предвидению будущего“, но серьезных сомнений в своей профессиональной пригодности это обстоятельство почему-то у него вряд ли вызовет. Идея о „предвидящей истории“ оттеснится в его сознании на какой-то трудноопределяемый метауровень абстрактной и безличной „науки вообще“, - уровень, не связанный напрямую с конкретной судьбой конкретного историка. И когда в один прекрасный день наш бывший студент, теперь уже в украшении профессорских седин и регалий, взойдет на самую высокую кафедру, то он наверняка начнет лекцию вопреки собственному жизненному и профессиональному опыту с сакраментальных слов: „Друзья мои, вам уже, конечно, известно, что знание прошлого необходимо для успешного предвидения будущего!“

На самом деле отношение между прошедшим и будущим складывается в сознании историка, похоже, по принципу совершенно противоположному. Первичным оказывается как раз образ желанного (или реже нежеланного) будущего, и историк, руководствуясь этим образом, объясняет прошлое как часть пути, уже пройденного к заранее известной (по крайней мере в существенных чертах) цели. Со времен поздней античности будущее предстает историку-европейцу как нечто в принципе лучшее, нежели настоящее. Христианская эсхатология обещает, конечно же, леденящую кровь вселенскую катастрофу, но ведь в ходе нее раз и навсегда восторжествует высшая справедливость. Христианский образ будущего весьма целостен, хоть и оставляет немало пищи для размышлений по интересным, но все же сравнительно частным поводам - как, например, воскреснут в день Страшного Суда из мертвых недоноски, калеки и уроды - со всеми ли своими физическими недостатками, или, возможно, в телах, полностью очищенных от недугов? Ясность грядущего - залог ясности прошедшего - не оттого ли христианская картина истории, созданная еще Евсевием, Иеронимом и Орозием, оказалась наиболее развитой, стройной и, что особенно интересно, самой долгоживущей из всех, возникавших до сих пор в кругу европейских культур.

В сильно отрезвленной религиозными войнами XVI-XVII вв., исполненной скепсиса, рационализма и тяги к просвещению умов Европе образ „практически значимого“ будущего постепенно изменился: он стал куда менее пугающим, но зато более дряблым и размытым, утратил былую апокалиптическую определенность и былой драматизм. Изрядно секуляризированного европейца ждали теперь царства божии

на земле - ему обещали создание человеческих сообществ, вполне земных, но чуть-чуть божественных, потому что они будут организованы по законам разума, способного осознать самые заветные истины бытия. А раз так, то есть все основания для надежды обрести кое-что от высшей справедливости и в этих посюсторонних царствах.

Для одних, вдохновлявшихся идеей грядущего всемирного братства, эти желанные сообщества обретали облик союза народов. Для других, уповавших на раскрытие мощи собственного „народного духа“, мечта облекалась, напротив, в образ суверенного национального государства (с мудрым государем или же еще более мудрым парламентом во главе), вводящего общепользные социальные новшества. И, наконец, для третьих - особо разочарованных, решительных и нетерпеливых - будущее общество представлялось переделанным в соответствии с наиболее радикальными „требованиями разума“ - например, на основе отмены частной собственности. Всеобщая тяга к социальной инженерии склоняла к тому, чтобы историю „превращать в науку“, выводя из ее хода те самые закономерности, постижение которых и обеспечит кратчайшие пути к манящей впереди цели. Прошлое оказывалось частью ведущей вверх лестницы, по которой мы успели уже пройти, а будущее - ее следующей ступенькой.

Пик „превращения в науку“ история пережила в XIX в., когда европейцы относились к своему будущему едва ли не с наибольшим за все время существования собственной цивилизации оптимизмом. Хотя проблемы национальные и социальные в то далеко не идиллическое столетие принимали порой угрожающие размеры, вера европейца во всепобеждающую силу человеческого разума отличалась тогда небывалой силой и еще незамутненной чистотой. Стремительный технический и научный прогресс казался лучшим доказательством того, что вскоре будут отысканы решения любых проблем - и отнюдь не только из области техники. Именно в том столетии авторитет истории и историков был в европейском обществе как никогда высок, а историческая наука, как науке и положено, успешно вскрывала одну фундаментальную закономерность развития человеческого рода за другой.

В XX в. общественная роль истории изменилась. Две мировые войны, создание полубожественным человеческим разумом все более эффективного оружия и невероятные социальные эксперименты, развернувшиеся с мощью, доступной только исключительно по своей силе государству „современного типа“, повлияли на сознание европейцев и их представления о будущем самым серьезным образом.

Прежде всего оказалась скомпрометирована стержневая идея прогресса (в светски-рационалистическом понимании просветителей и их интеллектуальных последователей). Если за вполне очевидным прогрессом технологическим не просматривается параллельного прогресса

духовного, то какой смысл в достижениях науки, занятой на три четверти разработкой все более и более изощренных способов изведения рода человеческого? Сомнения в наличии „подлинного“ прогресса, помноженные на сомнения в безграничности познавательных возможностей людского разума, превращают в колеблющийся мираж те картины уютного будущего, что были уже в общих чертах столь убедительно набросаны в оптимистическом XIX веке. Европейскому интеллектуалу XX в. пришлось признать за иррациональным и абсурдным качества самостоятельного бытия (а не теней, которым предстоит рано или поздно истаять под всепобеждающим солнцем разума). Это неожиданное „возвращение дьявола“ в мироощущение европейца отравило его самосознание вроде бы уже преодоленным в „просвещенные времена“, уже почти забытым страхом перед непостижимым. Но ведь стоит только допустить, что нечто весьма существенное в смысле пути, по которому идет человечество, останется принципиально сокрытым, как любая картина прошлого, сконструированная разумом, лишается надежного основания.

Едва ли не главное качество воображаемого („предвидимого“) будущего - это преодоление в нем страхов, пугающих нас в настоящем. Когда характер угрожающих нашему существованию опасностей более или менее ясен (или хотя бы кажется таковым), то более или менее определен и облик нашего будущего (а значит, и прошлого). Для историков, живших в XVIII-XIX веках, характер главных угроз их мироустроению был понятен - они исходили, во-первых, извне - от „чужих“ - то есть, „враждебных“ религий, конфессий, наций, государств, а во-вторых, изнутри - от неразрешенных социальных проблем в их собственных обществах. Раз так, то историки достаточно определенно представляли себе „желаемое будущее“ и соответственно „под него“ задавали параметры изображаемой картины прошлого. Общая картина будущего - это одно из средств сплочения обществ перед грозящей им опасностью, но если такая угроза отсутствует или ясно не выражена, то как может сложиться образ, призванный от нее психологически защитить?

„Религиозно-конфессиональный“, „национальный“ и „социальный“ вопросы - главные двигатели исторической науки в прошлые века - утратили в послевоенной Западной Европе и тем более Северной Америке свою смертельную остроту. Серьезные межконфессиональные трения в чистом виде уже давно в прошлом, „социальный вопрос“ полностью разрешен быть, конечно, не может, но предстает сейчас в очень смягченных, по сравнению с прошлым веком, формах. Национальные (или „квазинациональные“, как в Италии) проблемы, хотя время от времени и обостряются, вряд ли смогут принять в Западной Европе (в отличие от Европы Восточной) масштабы, грозящие основам существования. Даже если завтра распадется Бельгия, станут независимыми го-

сударствами Шотландия или Страна Басков, выставит пограничную стражу на своих южных рубежах республика Падания, вряд ли все это даже вместе взятое будет сопровождаться не только газетными, но и действительными катаклизмами, всерьез угрожающими сложившемуся порядку бытия европейцев.

Страхи современного западного интеллектуала лишены отчетливости - они как бы рассредоточены, идут с различных направлений и с разным напряжением. Вообще-то этих страхов не так уж мало - озоновыми дырами начиная, ядерным терроризмом и опасными экспериментами в области геной инженерии заканчивая, но они оказываются весьма разнохарактерными. Имея примерно одинаковые основания бояться что всемирного истощения ресурсов, что возможного взрыва соседней АЭС, что заражения СПИДом, современный европеец или американец не видит среди всех этих факторов опасности какого-то одного - главного, не только воздействующего на сознание, но и пронизывающего все беспокойное существо человеческое. Невозможно реагировать в одном и том же психологическом режиме на разнохарактерные раздражители. В мире разлито удивительно много зла, но его источник не поддается идентификации, не имеет имени, не может быть назван и даже не распространяет больше с некоторых пор запаха серы.

Измюминка истории в Европе (по крайней мере, в постромской Европе) состояла всегда в том, что она была знанием не просто описательным, но сотерическим. История показывала обществу дорогу к спасению. Не надо доказывать, что без обещания грядущего спасения вся священная история превращается в довольно унылое перечисление патриархов, царей и пророков. Но ведь без идеи выполнения в будущем, по возможности скором, некоей предуготованной и наверняка спасительной, причем, наверное, даже и для всего человечества миссии своего народа, и классическая „национальная“ история в духе XIX в. также, утрачивая смысл, рассыпается на „фактологические“ осколки. Без образа так или иначе понятого справедливого общества, избавляющего от нравственного несовершенства и всяких несправедливостей сегодняшнего дня, и ждущего уже за следующим поворотом, утрачивают смысл отчасти и гегелевское самопознание духа, и уж наверняка марксовы социально-экономические формации. От чего же должна спастись европейца история сегодня?

Совсем недавно, казалось бы, достойную роль объединяющего западное общество страха должны были играть мы с вами - граждане „империи зла“. Действительно, идея противостояния демократий тоталитарным обществам заняла осязаемое место в западном историческом сознании. В европейских школьных учебниках доблестное сопротивление маленьких, но сильных духом своих граждан греческих полисов тяжеловесной персидской деспотии превращалось из простого за-

чина в ключ к пониманию всей европейской истории. Она приобретала на редкость гармоничную форму рондо, плавно возвращаясь в конце к той же теме, с которой начиналась во времена Геродота. (Вообще-то повествование мудрого галикарнасца можно было бы прочитать и в терминах не извечного противостояния, а напротив, постоянного творческого взаимодействия „востока“ и „запада“, но политический момент к такому прочтению не располагал). И все же, как ни странно, и идея защиты и утверждения демократических ценностей не оказалась настолько сильна, чтобы интегрировать западное историческое сознание. Даже в простодушной Америке, с ее румяным „демократическим прозелитизмом“ и маниакальным стремлением добиться проведения свободных выборов в каждом племени каннибалов, „демократический взгляд“ на ход всемирной истории, породив немалый пласт научной, не совсем научной и совсем не научной литературы, не стал все же для историописания определяющим. Другие влиятельные идеи современности, например, экологическая или феминистская, оказались вполне в состоянии создавать более или менее влиятельные направления в историческом знании, но также не предложили (и, похоже уже и не смогут этого) общезначимого взгляда на историю. Поневоле создается впечатление, что в современном мире вообще нет таких идей, которые могли бы сравниться с „религиозной“, „национальной“ и „социальной“ идеями прошлого по своей интегрирующей силе. Иначе говоря, западное общество ощущает наличие каких-то опасностей, но не видит на своем горизонте никакой подлинной Опасности. Соответственно, оно не испытывает потребности в создании иллюзорного будущего, а потому не нуждается и в „объясняюще-спасающей“ истории.

Если историческое знание не вдохновляется ясной картиной грядущего (то есть, навязчивыми страхами в настоящем), оно уподобляется зданию, возводимому без связующего раствора, а значит, зданию, то и дело рассыпающемуся в ходе такого бесконечного строительства. Дробление и мельчание европейского исторического знания на протяжении всего XX в. отмечены многократно - эта тенденция очевидна, в убеждении читателя примерами нет необходимости. Время от времени у нее на пути встает та или иная группа относительно молодых и безусловно энергичных энтузиастов, провозглашающих, что пора распада закончена, пробил час нового синтеза. Они предлагают более или менее остроумную идею, призванную стать основой для кристаллизации „новой истории“. Большая или чаще меньшая часть научного сообщества этой идеей увлекается и обсуждает ее лет десять-пятнадцать с немалой заинтересованностью, а потом - со все нарастающей усталостью. За это время эпигоны успевают заболтать ту находку до того, что она начинает вызывать тошноту, особенно у следующего, уже успешного между тем подрасти, поколения, разумеется также жаждущих самоутвердиться (а

потому временно неконформистски настроенных) и также небестальных энтузиастов. Они смело поднимают голос против закосневших на своих подвигавших лаврах авторитетов, говоря (и вполне справедливо, приходится признать), что предыдущая попытка синтеза окончилась неудачей. После чего все повторяется с самого начала. По морю исторических сочинений вновь пробегает методологическая рябь, открываются несколько относительно новых тем, надоевшие словечки заменяются новыми, посвежее, но обещанный синтез, уже вроде бы, по слухам, успешно состоявшийся в какой-то одной отдельно взятой историко-алхимической лаборатории, на самом деле снова оказывается по той или иной причине недостижимым. Что же касается толщи массового исторического сознания, то она может вообще не колыхнуться от этого поверхностного волнения и никак не отозваться на проблемы, занимающие умы узкого слоя профессиональных историков.

Чем дальше тем больше складывается впечатление, что столь желанный многими синтез в истории на самом деле недостижим по причинам принципиального свойства, а тоска по нему, время от времени обуревающая европейского или американского историка - ни что иное как проявление ностальгии по Девятнадцатому веку, то есть, по той былой, увы, уже успевшей изрядно поблекнуть, оптимистической вере в разумность, осмысленность. а главное - осмыслимость человеческим разумом - мира. Ностальгия и тоска - вполне естественная и здоровая реакция на неуютность собственного положения. Здоровое чувство самосохранения вообще оказалось у историков, похоже, сильнее развито, чем у художников, философов или писателей: в завершающемся веке появились и концептуальное искусство, и философия иррационализма, и литература абсурда, но не родилось сколько-нибудь заметного концептуального (хотя бы в литературном плане), иррационального или же абсурдистского историописания. Разумеется, историки не могли остаться совсем незатронутыми общекультурными течениями - они просто откликнулись на них иначе. Литератор, переживающий в XX в. всеобщий распад бытийственных связей, должен для передачи своих ощущений прибегать к чрезвычайным языковым и художественным средствам. Историк же в своей работе и так поневоле привык иметь дело лишь с мелкими фрагментами давно исчезнувшей жизни. Недостаток или даже отсутствие всеобщих связей в знакомом ему кусочке бытия - дело не исключительное, а повседневное. Черный человек не является историку в отдельные минуты мрачного озарения, как поэту, - он все время стоит у него за плечом.

Ностальгия по синтезу, ностальгия по XIX в. - это выражение неудовлетворенности нынешним состоянием исторического знания, раздражающей слабостью его способностей к обобщениям. На то, что нынешняя история европейского образца - в осколках, жаловались и

жалуются постоянно, призывая срочно приниматься за их склеивание. Но почему-то мало кому хватает смелости признать очевидное - это и есть сейчас, наверное, самое естественное и, более того, единственно возможное состояние истории.

Все привыкли говорить о „кризисе“ в историографии XX в., сравнивая ее тем самым сознательно или подсознательно со взятой за образец „некризисной“ историографией века XIX. В пугающем, на первый взгляд, слове „кризис“ кроется на самом деле трепетная и наивная надежда на возвращение к истокам: тяжкие времена разброда и шатания пройдут, и историки вновь почувствуют под ногами твердую почву, история вернет себе общие основания и ту свою объясняющую роль, которые так украшали ее в прошлом веке. О, сладость несбывающихся надежд! Конечно, психологически легче признавать, что в исторической науке вот уже более ста лет подряд длится „кризис“, конца-края которому и впереди, сколько хватает взора, не видать (дольше длился, наверное, только кризис Римской империи), чем допустить, что кризис этот давно уже миновал, но... с печальным для больного исходом. Тот конкретный, весьма специфический вид исторического знания, который принято называть исторической наукой и который преобладал в Европе в XIX в., уже не переживает кризис - он давно умер, и на чудесное его воскрешение рассчитывать всерьез, увы, вряд ли придется.

Не стоит сейчас углубляться в запутанные дебри науковедческих дискуссий о том, что, собственно есть наука „как таковая“, чем она отличается, а чем не отличается от иных форм организации знания, в чем состоит всегда несколько неуверенно формулировавшаяся „особость“ „особых“ гуманитарных наук вообще и истории в частности, и, наконец, как мутировали за последние десятилетия те „образцовые“ науки, чья „научная репутация“, в отличие от истории, никогда не ставилась под вопрос. Постольку, поскольку науке положено выявлять и использовать некие общие законы и чуть менее общие закономерности (а это допущение при всей своей грубости, кажется, более или менее признается), истории как науки на самом деле больше нет. Смертельный удар ей нанесли еще неокантIANцы, а вся последующая критика, в том числе и со стороны постмодернистов, - лишь мало что добавляющее по существу вопроса приплясывание на ее костях.

Высказанный тезис - еще не повод для траура и слез. Отец европейской истории Геродот намного старше отца европейской науки Галлилея. Соответственно и история несопоставимо древнее науки. История - прежде всего рефлексия общества, а потому будет существовать, пока существует само общество - неважно, в форме космогонического мифа или же компьютерной игры „про фашистов“ (что, кстати, не так уж далеко друг от друга). А вот вечно ли будет существовать европейская наука (или она, например, вновь растворится в религии либо же сама



станет таковой) - можно лишь гадать. В XVIII-XIX вв. история напоминала аристократку с бесчисленными поколениями титулованных предков за спиной, которую вдруг стали презирать за то, что ее вкусы и привычки совсем непохожи на стиль жизни одной безродной парвеню, едва-едва пробившейся в свет, и тут же по случаю оказавшейся в высочайшем фаворе. Аристократка оказалась не высокомерной: она прилежно пыталась стать такой, как все от нее вокруг хотели, но сколько можно идти против собственной природы? Наверное, и в XIX в. история наукой не была, но тогда она еще честно изо всех сил старалась в нее превратиться.

Близкое знакомство с нравами парвеню оказалось, впрочем, существенным. История переняла некоторые требования науки к структурированию, оформлению и оглашению собственного знания, или же, говоря иначе, наука задала нормы общения внутри профессионального сообщества и способы отличить людей, в него официально допущенных, от сторонних „чужаков“. Более того, наука дала истории довольно точные приемы проверки определенной категории старых и получения новых, притом более или менее осязаемых, знаний, так что теперь есть целые разделы истории (ярче всего представленные так называемыми „специальными дисциплинами“, сфера влияния которых постоянно расширяется), где присутствие науки ясно чувствуется. Историк, к примеру нашедший в архиве важный документ, сумевший его в соответствии с некоторыми (вполне научными) правилами прочесть, истолковать и опубликовать, безусловно завоевывает новую крупницу „положительного“ знания. Но вот сплавлять такие крупницы в скольконибудь строгие, общезначимые и устойчивые системы, к тому же еще и способные выдержать эмпирическую проверку (как это и положено Науке), история при всем желании научиться так и не смогла. А за последний век она успела уже растерять и желание заниматься столь несвойственным себе делом.

Европейско-американское историописание тем более дробилось на осколки, чем более гомогенизировалось по уровню жизни западное общество. Главную причину затухания массовых страхов и рассеивания традиционных видов массовых иллюзий (Голливуд - не в счет), о чем шла речь выше, наверное следует видеть прежде всего в примерном выравнивании способов существования основных групп населения. В обществе, где, говоря языком социологов, все более увеличивается доля „постматериальных потребностей“, рассеиваются, как туман, те самые классические „социальные интересы“, что способны объединять в стремлении, протесте и борьбе сотни тысяч людей. Вместе с уходом резких социальных градаций, уходят массовые партии, могучие профсоюзы, а главное, великие идеи, способные одухотворять массы. Когда большинство получило сносные условия для существования, открывается про-

стор интересам не „первичного“ плана (а потому массовым), но „вторичного“ - куда более разнонаправленным. Вот тут-то и начинается действительная социальная дифференциация - не столько на пять-шесть общественных слоев, сколько на бесчисленное множество мельчайших ячеек разнонаправленных половозрастных, профессиональных и всяческих прочих микроинтересов, на всевозможные клубы отчисленных из Оксбриджа, кружки любительниц абортот, фэнов музыки сфер, содружества сторонников нетрадиционного использования еды, энтузиастов выпрямления Млечного пути, банды угонщиков синих детских колясок, секты анонимных огнепоклонников и общества спасения пуделей от стрижки. Если классы, как нас настойчиво учили, когда-то действительно и существовали, то скоро все, что от них останется - это одни референтные группы. Похоже, что место традиционных „социальных“ разграничителей в обществе заняли психо-соматические, и социуму придется теперь волей-неволей делиться на группы людей с относительно сходными темпераментами, моторикой, „химией мозга“ и прочими личностными характеристиками.

Масс больше нет, а есть индивид, все более освобождаемый от порой стеснявших, но порой и поддерживавших старых социальных связей, а потому и все более тоскующий от одиночества. Его жизненная драма, как показывает нам литература, - не социального, а экзистенциального свойства: она не сближает его с другими такими же, а напротив, отдаляет от них. Для ощущения собственной полноценности ему уже не нужны ни всеобщая социальная иллюзия, ни всеобщий социальный страх. И успокаивающую иллюзию, и порцию взбадривающего страха он получает в полезных для здоровья дозах индивидуально и приватно - нажав вечером кнопку телевизора. Так для чего же историку пытаться склеивать из осколков разбитое зеркало, когда в него все равно некому больше смотреться?

И в перспективе вряд ли стоит ожидать возвращения „традиционной социальности“. Стремительное развитие информационных технологий приводит к замене многих межчеловеческих связей на чисто технические. Компьютер и Интернет вскоре начнут растворять, как кислота, множество самых привычных и прочных социальных институтов и сфер человеческого общения - от магазинов, библиотек и университетов до бюрократии, политических партий, парламентов, наций и уже и без того становящихся архаичными национальных государств.

Зачем нужен будет, к примеру, академический институт истории? Историк рассылает свои электронные заявки на проведение исследования по безличным космополитическим фондам, в случае удаи получает от какого-то из них на банковский счет деньги на прожитие, выводит на свой дисплей и всячески обрабатывает там же любую нуж-

ную информацию из любого ее хранилища и путем нажатия клавиш общается хоть круглосуточно с горсткой специалистов по его узкой теме, разбросанных от Тасмановой земли до Баффиновой.

В итоге такого развития техники и общества человек оказывается настолько могуществен и самодостаточен, что не испытывает жизненной потребности ни в одной форме групповой идентификации (а ведь история и является одной из таких форм) - он остается вдвоем со своим компьютером и в одиночестве, по сравнению с которым нынешнее, на которое в XX веке было так много жалоб, покажется верхом социальности. Дай бог, чтоб сохранилась хотя бы какая-нибудь форма семьи в доказательство справедливости слов простенькой, но мудрой песенки: „Все он может, мирный атом, но вот этого, вот этого - никак“, а то ведь что только может не оказаться в конце концов виртуальным... Угадываемый впереди результат - одинокий индивид наедине со всем миром, ставшим, благодаря компьютерным сетям, обозримым столь же легко, как аристократов полис. Интересно, будет ли смысл тогда в сочинении истории, если это будет не история одной отдельной личности либо же человечества в целом - новой ойкумены, со всеми обитающими в ней меотами, кавконами, карийцами, петами, амафунтцами, каласириями, неврами, писидийцами, сикелийцами, моссиниками, энетами, сапеями, пеонами, феспротами, тибаренами и прочими ихтиофагами?

Вот и вышел случайно прогноз или, если угодно, предвидение, но разве не характерно, что, справедливо это предсказание или нет, оно построено отнюдь не на специфическом владении именно историческим знанием, а всего лишь на отслеживании наиболее заметных в настоящем процессов, да капле социологии? Предвидение не относится к числу даров Клио.

Все, многословно изложенное выше, показывает, думается, что дела у генерализирующего, „объясняющего“ историописания идут и будут идти худо, причем по причинам, совершенно не зависящим от личной одаренности и доброй воли историков. Это не означает, что писать „синтетические“ работы с сегодняшнего дня категорически запрещается, или что таковых больше само собой не появится. Возможно, наоборот, вполне убедительные „попытки синтеза“ будут предлагаться еженедельно, но вот сила их воздействия за пределами круга близких друзей автора будет скорее всего весьма низкой. Может появиться великое множество индивидуальных объяснений хода истории, но не будет ни одного, сколько-нибудь „общепринятого“, хотя бы только среди части профессионалов. Само состояние научного сообщества совсем не способствует усилиям по историческому синтезу. Поток информации (отнюдь не всегда доброкачественной) усиливается не по дням, а по часам. Только по медиавестике выходит сейчас около 10000 статей ежегодно, не гово-

ря уже о монографиях. Вся эта продукция уже не поддается обработке с той степенью полноты и тщательности, которая по традиции требуется (хотя бы в идеале) правилами научного сообщества. Необозримость информации - трудно преодолимое препятствие на пути к ее корректному обобщению. Если в XIX в. профессор истории мог позволить себе десятилетиями писать эпохальный труд, пока его идеи и форма их выражения не вызреют вполне, то в наше время прозаическая необходимость отчитаться в срок перед грантодателем или университетским советом заставляет выбрасывать на интеллектуальный рынок великое множество не вполне зрелых штудий. Если в прошлом веке действительно серьезное исследование имело шанс составить эпоху уже потому, что с ним обязательно знакомилась все сколько-нибудь влиятельные в научном сообществе лица, то теперь оно без соответствующей работы по „маркетингу и рекламе“ имеет все шансы утонуть в море второсортных сочинений. В прошлом веке число и влиятельных профессоров истории, и окружавших их учеников было невелико, так что удачливая идея легко завоевывала себе весомую долю интеллектуального рынка. Теперь же при изобилии всевозможных университетов, институтов, научных школ и кафедр, мобилизующая сила даже самой яркой идеи самого талантливого интеллектуала гасится от трения об идеи иных весьма многочисленных талантливых интеллектуалов, каждый из которых стоит в центре своего „сектора“ или своей „ячейки“ - одной из тысяч внутри едва обозримого научного сообщества. Композитор может заслуженно гордиться, если его мюзикл продержался на Бродвее месяца два, прежде чем его вытеснили другие постановки. Автор „синтезирующей“ идеи в истории должен быть счастливым, если ее не забыли через десять лет - все новые волны литературы захлестывают профессионально работающего историка, и возвращаться, например, к новому осмыслению классики десятилетней давности - уже просто нет сил. (Конечно если нет особых - личных - оснований верно любить ту или иную книгу, например, воспринятую как откровение в романтическом студенческом возрасте). По-настоящему бессмертны только издатели источников, но много ли в XX веке тех, кто посвятил свою жизнь этому тяжкому занятию? Всем же Муратори XXI века вместе взятым хватит забот с перенесением бесчисленных текстов, некогда произведенных по устаревшей гуттенберговской технологии, на какие-нибудь новые цифровые лазерно-оптические да дигитально-стекловолоконные носители информации.

В нашем веке стало попросту слишком много историков (кстати, оплачиваемых в среднем существенно хуже, чем их коллеги в прошлом веке), а история превратилась в массовое ремесло, вроде портняжества, так что любая концепция исторического синтеза, исходящая от одного из них или даже от целой группы, не имеет шанса на продолжительное

господство над умами. Сообщество может относительно легко достигать согласия в отношении конкретных методик исторического исследования, но оно не в состоянии сойтись на одном понимании какой бы то ни было общеметодологической проблемы или тем более на теории „общей исторической“ уровня.

В нашей родной стране общие процессы отличались, как водится, немалым своеобразием. Официальный марксизм на десятилетия избавил отечественную историческую науку от той мучительной рефлексии по поводу смысла собственной деятельности и тех дискуссий о природе исторического знания, что сильно смущали покой историков на Западе. Требовательная и строгая идеология сыграла у нас роль рефрижера, сохранившего в замороженном, но еще вполне годном к употреблению виде существенную часть европейского XIX века - его историческое сознание. Здесь и набор основных социальных „страхов“, и соответственно, образ желаемого будущего, а как следствие - и „рациональный оптимизм“ (как вера в неограниченные возможности постигающего разума), и „социальный оптимизм“ (как вера в восходящее развитие общества), и понимание исторического процесса как целостного, и требование к истории выявлять и объяснять если и не всеобщие законы общественного развития (они уже открыты и пересмотру не подлежат), то хотя бы некоторые его существенные закономерности, и, наконец, организация работы историка. Можно сказать еще сильнее: мы стали в конце концов едва ли не единственной страной, в которой к концу XX в. все еще существует историческая наука.

Конечно, советская историография никогда не была методологическим монолитом. Под вуалью из дежурных цитат можно обнаружить наряду с той или иной трактовкой марксизма то вполне классический позитивизм, то не менее классический национальный романтизм, то структурализм, то школу „Анналов“, то нечто настолько индивидуальное, чему и название не подберешь. Однако понимание роли истории в обществе оставалось, кажется, во всех этих случаях примерно одинаковым. Удивительно, но и весьма показательно, что катаклизм 90-х годов, глубочайший, с какой бы позиции на него ни смотреть: с марксистской (ретроградная смена общественно-экономических формаций!), с национальной (потеря одной из ведущих ролей в мире, национальное унижение!), с либеральной (внезапное приобщение к „мировым ценностям“) или со свежесобранной клерикальной (новая евангелизация Руси!) - как-то неадекватно слабо сказался на научном сообществе историков и том, как оно осознает и этот катаклизм, и свою роль в нем, да и вообще содержание собственных профессиональных занятий. Вместо дискуссионных бурь, начавших было пошумливать во второй половине 80-х, - несколько странная тишина и явная всеобщая неохота беречь умы и разжигать страсти обсуждением внутриакадемических про-

блем. Тишина эта - вообще-то благо, поскольку свидетельствует о присутствии в сообществе такта и здорового чувства самосохранения, не позволяющего поднимать неудобные вопросы, обсуждение которых чревато общими неприятностями.

Совсем не так давно начинающим историкам настойчиво внушали, что их дисциплина - не только предвидящая, но еще и идеологическая. Последнее произносилось обычно с подчеркнутой многозначительностью и как бы с нарочно не слишком глубоко упрятанным намеком на причастность историка к делам власти. Тогдашняя государственная идеология и тогдашняя власть вроде бы кончились и даже вроде бы осуждены, хотя, с другой стороны, вроде бы и не так чтобы до конца... Что случилось в братских странах после крушения социализма с теми историками, кто во время оно так же высоко ценил свою причастность к такой же идеологии и такой же власти? В Польше таковых к 1989 г. на заметных постах собственно почти уже и не осталось, зато в Чехословакии после „бархатной революции“ провели люстрацию, а в бывшей ГДР разогнали „индоктринированные“ кафедры, институты и факультеты с бескомпромиссностью, похожей на свирепость. У нас после минутной растерянности просто сменили таблички на дверях особо одиозных кафедр. Академические журналы, ранее описывавшие, какую хорошую политику осуществляла Коммунистическая партия, стали в той же тональности описывать, насколько эта политика была плохой. А по количеству на душу населения явившихся в мгновение ока целыми армиями политологов и даже культурологов страна тотчас обогнала весь прочий мир (чего, впрочем, нельзя сказать ни о нашей политологии, ни о нашей культурологии последних лет).

Пожалуй, всем стоит порадоваться, что никаких чисток не состоялось. Во-первых, перетряска в среде скромных идеологических работников выглядела бы по меньшей мере странно и даже несправедливо, когда вся прочая прошлая социальная элита без особых потерь плавно перетекала в элиту нынешнюю. Во-вторых, при возможных кадровых просеиваниях было бы нервов истрепано много, но без особого толку, поскольку принципиальную чистку от „слуг скомпрометировавшего себя режима“ наверняка проводили бы эти самые слуги, только что внезапно полностью прозревшие. Наконец, в третьих, и при нынешнем щадящем варианте, когда каждый получил возможность найти себе место под новым солнцем, всего через каких-то 10-15 лет наиболее активная и продуктивно работающая часть исторического сообщества будет укомплектована сегодняшними студентами, уже весьма смутно представляющими себе реалии развитого социализма - так из-за чего же было бы теперь страсти раздувать? Только вот не унаследует ли и

постсоциалистическая смена убеждение, что одна и та же предвидящая наука история может с равной доказательностью предвидеть торжество то коммунизма, то цивилизованного рынка - в зависимости от потребностей? Конечно, неприятный вопрос о персональной, а главное цеховой ответственности (хотя бы моральной!) историков за некоторые не самые приятные стороны советской власти в конце концов неизбежно будет поставлен, но вероятно, лишь когда приобретет несколько отвлеченную академичность.

Любопытно, что и собственно теоретические дискуссии не вызывают теперь, похоже, такого интереса, как еще совсем недавно - на самом закате прошлой эпохи. Почему-то при умирающей идеологии „спорить о методе“ было увлекательно, а теперь, когда она тихо скончалась в бозе, а мысли открыт вроде бы простор небывалый - это же самое занятие представляется скорее скучным и излишним. Наверное, сказывается тяжелая контузия, пережитая всем сообществом в результате перемен последних лет, а может быть, дело серьезнее. Если очень внимательно вслушаться в царящую у нас тишину, можно различить еле ощутимый, но постоянный звук, похожий то ли на звон, то ли на шорох. И это уже не слуховая галлюцинация, также вызванная контузией, а нечто объективное: потихоньку покрывается сеткой трещин, раскалывается и осыпается наше старое историческое зеркало. Историческое сознание и в нашем отечестве приходит в состояние, возможно и не слишком радующее, но нормальное для XX в. - состояние в осколках.

Когда способные аспиранты, ассистенты и младшие научные сотрудники возвращаются из очередной заграничной командировки, они привозят теперь оттуда обычно не общие концептуальные идеи, а конкретные исследовательские технологии. На нашем интеллектуальном рынке сильно изменился характер спроса: если двадцать лет назад едва ли не любая методологическая новация, запорхнувшая случайно за железный занавес, оказывалась здесь в окружении сотен талантливых поклонников, лелеющих гостью с трепетной нежностью, неведомой ей даже на родине, то сейчас ценностью обладает прежде всего прозаическое ремесленное знание. В советскую пору умение порассуждать об историческом процессе вообще, со всеми его основными закономерностями и противоречиями могло с успехом компенсировать отсутствие знаний новых и древних языков, библиографии, палеографии, архивного дела и прочих „вспомогательных“ разделов исторического знания. Теперь же самой характерной (хотя и очень нешумной, а потому мало замеченной) тенденцией стал относительный рост „знаточеского“, а не „концептуального“ исторического знания. Едва ли не впервые в нашем веке появляется целое поколение, не пугающееся работы в архивах, и, самое

главное, умеющее там работать. Конкретное знание конкретного вопроса ценится куда больше умения вписать его в „широкий исторический контекст“. Да и прирастают достижения отечественных историков последнего времени, если судить даже по официальным отчетам „ответственных лиц“ за счет добычи на гора узко специализированных сведений, а не за счет разработки общих теорий. Если такова станет ведущая тенденция в развитии научного сообщества, то его направление особых сомнений не вызывает. Сообщество будет чем дальше, тем больше дробиться на мелкие группы узких, но свое дело хорошо знающих и вовлеченных в международные связи профессионалов, правда, скучающих в обществе коллег, занимающихся иными темами и вызывающих, в свою очередь, смертельную скуку у тех. Собирать их под один методологический флаг (или даже под несколько флагов) - дело совершенно безнадежное. Ни выявлять закономерности, ни предлагать обществу пути спасения эти люди больше не будут. Если, конечно, завтра не выйдет властный циркуляр, провозглашающий всех историков при государственных должностях, скажем, патриотами, призванными денно и ночно отстаивать в каждой публикуемой строке жизненные национальные интересы. Поскольку состояние общества - не блестящее, и какая-нибудь сотерическая идея ему бы сейчас не помешала, а родное государство может еще и не догадываться, что общественная роль истории и историка в XX в. иная, чем в XIX, то подобные эксцессы не исключаются.

Происходящий сейчас у нас тихий распад традиционного историзма и соответствующий ему процесс распыления сообщества историков на совокупность весьма слабо связанных друг с другом индивидов далеко не всеми осознается, и уж тем более не принимается душой как закономерный, но создает, естественно некоторое неудобство и чувство дискомфорта порой на чисто подсознательном уровне. Жизнь вообще безо всякой объясняющей исторической теории представляется весьма многим не жизнью, а сплошным мучением.

Первый типичный и вполне естественный вариант выхода из психологических сложностей состоит в сохранении верности старым марксистским ценностям. Многие одаренные люди приходили когда-то в историю с благороднейшим намерением шажок за шажком десятилетия за десятилетием осторожно, по чуть-чуть раздвигать косные рамки истмата, не вступая, правда, с ним при этом ни в малейшую конфронтацию. Они вкрадчиво но настойчиво старались вживлять в сухое лоно официального историописания эмбриончики живого творчества при помощи и своих конкретных штудий, и неортодоксальных цитат из всевозможных „ранних сочинений“, „экономических фрагментов“ и про-

чих уже изрядно раскритикованных мышами рукописей. Медленная и требующая точности работа по каучукизации догмы, похожая на работу сапера, становилась подвигом и смыслом всей жизни. В один прекрасный августовский день у жизни был отнят ее смысл - догму отменили. Если бывшие ортодоксы-циники с легкостью чрезвычайной бросили старых идолов и побежали окуривать новых, то „осторожные реформаторы“ - люди с принципами - обиделись на бесцеремонно обогнавшее их время и стали вопреки господствующему идеологическому течению славить марксизм - тот самый, „творческий“, реально, кажется, никем не виданный, но созданию которого были отданы лучшие годы.

Второй вариант предполагает на словах решительный отказ от марксистской концепции истории при полном следовании ей по сути. Лучший пример такого пути решения проблем предоставляет средняя школа. Наш типичный учитель (и типичный управленец от образования) просто не в состоянии представить себе историю в осколках, не способную объяснить по крайней мере, судеб человечества. Любой методист снисходительно скажет, что Геродот написал в лучшем случае „книгу для чтения“ (как будто бывают книги для забивания гвоздей), поскольку „нарративный момент“ у него преобладает над „аналитическим“, и из бесконечных рассказов грека нельзя себе уяснить „ход исторического процесса“. Упрощенно говоря, школа переименовала ставшие с недавних пор страшно неприличными „общественно-экономические формации“ в более благозвучные, хотя и менее определенные „цивилизации“ - и успокоилась. Исходное понимание места, роли и функций истории в обществе осталось прежним - из XIX в. „Теория цивилизаций“ появилась когда-то на нашей почве как раз как один из результатов усилий по приданию большей гибкости официальному марксизму, наряду с другими изобретениями того же плана, вроде „деятельностного подхода“ или теории альтернатив. Цивилизационный подход должен был сыграть роль второго „азиатского способа производства“, дискуссии о котором, как казалось (а, может быть, и оказалось), раздвинули тесные рамки ортодоксии, но при этом, естественно, без попыток эти рамки сломать.

Чтобы бдительные ортодоксы не загрызли ее во младенчестве, „теория цивилизаций“ на первых порах сама все время лепетала, как хорошо она „совмещается“ с марксизмом вообще и с формациями, в частности. Когда официальный марксизм вдруг зашатался, пришел черед уже бдительным ортодоксам настаивать на „совмещении“ формаций с цивилизациями, чтобы не отдавать удачливому конкуренту всего и сразу. Но для их беспокойства не было на самом деле серьезных основа-

ний: грозный, по слухам, пришлец оказался не настоящим конкурентом и тем более не ниспровергающим основы мстительным революционером, а по-девичьи нежной сестрой милосердия, ухаживавшей до последнего за умирающим стариком. После кончины официального марксизма „теория цивилизаций“, оказавшись одна на продуваемом всеми ветрами юру, заскучала. Из нее никак не получается скольконибудь общезначимой формы генерализации исторических знаний, и наверное не случайно, а потому, что как вытекает из сказанного выше, время всяких генерализаций подобного типа прошло. Категория „цивилизация“, в отличие от категории „формация“, гибка и изменчива, как Протей: она готова принять любой облик и любое содержание. В эпоху „каучукизации догм“ это качество было весьма ценным, а в нынешнюю оно скорее бесполезно. Понятие „цивилизация“ настолько ни к чему не обязывает историка, что в девяноста пяти процентах случаев его можно попросту не замечать - и притом безо всякого ущерба для понимания прошлого. А уж когда в тех же школьных „цивилизациях“ под модной косметикой без особого труда угадываешь до боли знакомые черты базисов и надстроек, социальных революций и производительных сил, становится понятно, почему древние так настаивали на круговращательном характере движения времен.

Слова „базис“ и „надстройка“ в нынешних исторических трудах попадают редко. Терминологическая революция, по мнению многих, грянула с высокопринципиальной или отчаянной заменой сочетания слов „классовая борьба“ на сочетание слов „социальная борьба“. Но главная, исходная установка нашего марксистского историописания на то, что „главным“ в истории является не история, а социология, - осталась без изменений. Социологизированность в духе XIX в. мышления отечественного историка заметна даже при его сознательном стремлении избегать собственно марксистской терминологии. Сама манера расставлять акценты на „важнейшем“ или „вторичном“ (производство не может быть вторичным!), поиск всеобщих причин и обязательных следствий, несложный эволюционизм и набор обязательных „общественных противоречий“, даже выбор ключевых понятий - все это никак не желает превращаться из инструментария историка в объект его профессионального интереса.

Особая тема - это, конечно, язык историка. Пока историки не знали, что история - это наука, они думали, что она - вид словесного творчества и старались писать не без изящества. Ни Геродота, ни Григория Турского, ни Гердера нельзя упрекнуть в невнимании к стилю. В XIX в. ценности меняются, история превращается в науку, и вот уже не конкретный автор, а она - великая и непогрешимая Наука - принимается со

страниц исторических сочинений вещать обезличенные абсолютные истины. С этого времени „принятый“ стиль высоконаучных исторических трудов начинает (за некоторыми счастливыми национальными исключениями) напоминать голоса дикторов советского радио. Поставленные на особый лад, они все звучали как-то очень похоже, без ярких индивидуальных отличий и с такими нездешними потусторонними интонациями, что сразу становилось ясно - к тебе обращается не какой-то живой человек, а само Государство. Присутствие сверхличностного начала - Науки - легко ощущается не только в отстраненном „мы“, от чьего имени обычно ведется трудный рассказ, но и во всей суконой манере изложения, явно призванной скрыть то постыдное обстоятельство, что автор - живой человек, сотворенный вполне обычным, а не каким-нибудь чисто интеллигентным способом. Широко распространенные недостатки порой начинают восприниматься в качестве нормы. Вот и у нас сложилось диковатое убеждение, что „серьезное“ историческое произведение обязательно должно быть скучным, а нескучное произведение - не может быть серьезным. Историк может накопать в архивах горы никем не виданных документов, учесть самые экзотические публикации, не читавшиеся до него никем, кроме их авторов, написать с полным знанием дела десяток новаторских книжек, но если он имеет несчастье обладать сколько-нибудь изящным стилем и облекать свой рассказ, заботясь об интересах читателя, в более или менее приятную для усвоения форму, то всегда отыщется какой-нибудь нудный ханжа - блюстител примитивно толкуемой цеховой нравственности, - который, не вникнув в суть дела, обвинит его, например, в чем-нибудь вроде „беллетристического галопа“.

Такой критик не замечает между тем, что нормальный человеческий язык отнюдь не уступает по выразительности „научному“ жаргону, до пределов загрязненному столь же „учеными“, сколь неудобнопроизносимыми и, главное, не точными по сути „терминами“. Историей отдельных понятий в духе Отто Бруннера и его последователей у нас, кажется, толком никто еще не занимался, а оттого нет и понимания того, насколько неопределенны и размыты смыслы множества самых что ни на есть распространенных „научных терминов“. Так, вроде бы еще не обращалось внимания, что даже столь важное прилагательное как „феодальный“ в самую что ни на есть ортодоксальную пору под пером самых что ни на есть ортодоксальных авторов то и дело употреблялось в совершенно не марксистском смысле. Почему российское боярство воплощало в себе „феодальную реакцию“ по отношению к Ивану Грозному? Основатель опричнины рвался к прогрессивной капиталистической формации, а бояре его туда не пускали? Нет, правильное

объяснение надо искать в книгах старых французских историков, еще ничего не слыхавших о марксизме. Как хорошо известно, одно из самых укорененных „французских“ пониманий феодализма - это политическая раздробленность. Слово „феодальный“ прилагается к тому, что мешает централизации. И именно в этом смысле оно „контрабандно“ в составе более или менее устойчивых словосочетаний перекочевало на страницы сочинений советских историков, читавших много либо французских книг, либо же русских, но написанных под галльским влиянием. Сочетание слов „феодальные сеньоры“ в „марксистском“ понимании лишено смысла - сеньоров капиталистических или рабовладельческих марксистская социология не знает. Но вот сеньоры, препятствующие централизации страны под скипетром короля, хорошо известны - правда к основным признакам феодальной общественно-экономической формации они при всей своей объективной реакционности отнесены быть не могут.

Если одно из ключевых понятий употребляется неряшливо, с постоянными смысловыми шумами, то при склеивании его с другим - не менее неопределенным - степень неясности резко увеличивается. Что такое государство - сказать непросто, но в марксистской социологии наибольшей популярностью пользовались определения, созданные классиками при рассмотрении современных им национальных государств. Отсюда и машина для подавления, и постоянные армии, тюрьмы и определенная территория, и суверенитет. С другой стороны, на подсознание русского читателя действует и ассоциация, вызываемая самим звучанием слова „государство“, - оно явно происходит от слова „государь“. (В западных языках ассоциации совершенно иные, восходящие через посредство итальянского к латинскому status - состояние, статус, устройство, сословие). А что же такое всем нам из учебников хорошо известное мистическое „государство эпохи феодальной раздробленности“? Страна разорвана на клочки „феодальными сеньорами“, но есть машина, постоянная армия, суверенитет и определенная территория? Вся раздробленная Русь или же вся раздробленная Франция - это одно государство, хоть его как такого и нет? Или же отдельное государство - это каждое суверенное (опять многозначное словечко из французского словаря) владение младшего отпрыска какого-нибудь мелкого княжеского рода, а его тиун и три холопа и воплощают собой знаменитую „машину для подавления“? Это загадочное „государство эпохи феодальной раздробленности“ так мерцает и колеблется при всякой попытке постичь его сущность, что поневоле хочется в отчаянии воскликнуть вместе со Жванецким: „Нет, вы мне скажите, оно есть или его нет? Есть или нет?“



Путем дальнейшего нанизывания подобных „терминов“ можно успешно строить теории и без конца писать вполне наукообразные монографии об „особенностях эксплуатации в государстве эпохи феодальной раздробленности“ или о „государстве эпохи феодальной раздробленности как политико-правовом выражении социальных противоречий общества зрелого феодализма“. Чем гуще смысловой туман - тем интенсивнее могут вестись научно-теоретические дискуссии. Впрочем, в любви ко квазинаучным терминам с неопределенным содержанием мы не одиноки. Те же французы всего несколько лет назад чуть не до хрипоты спорили между собой, был ли рубеж X и XI вв. всего лишь mutation, или все-таки révolution...

Упоминавшийся Иван Грозный любил временами „перебирать людишек“, нам тоже стоило бы хоть изредка „перебирать словечки“ из привычного с детства социологического лексикона, на котором, как и встарь, держится наше здание Исторической Науки. Интересно, сколько „научных понятий“ выдержит научную проверку на профпригодность? Есть, конечно, „научные термины“ и поновее, но использование многих из них носит чисто знаковый характер. Автор светит определенными словами, как ночной корабль опознавательными огнями, чтобы читателю стало ясно, к какому направлению или группе лиц сочинителю хотелось бы себя причислить.

Как бы то ни было, теоретические вопросы обсуждают и у нас все меньше, а конкретные методики - все больше, да и конференции, привлекающие внимание, посвящаются последнее время не столько осмыслению исторического процесса вообще, сколько чему-нибудь более конкретному, например, анализу одной-единственной ночи (которая, правда, была Варфоломеевской). Если история как набор полусушеных социологических закономерностей (марксистского или немарксистского происхождения - не так важно), действительно, исчезает, то на смену ей должен придти иной доминирующий тип историописания. Как и на Западе, в нем будут превалировать „знаточеские“ конкретные штудии, порой раздражающие своей фрагментарностью, вырванностью из сколько-нибудь широкого контекста. Писать, правда, будет принято намного веселее и интереснее, чем сейчас, хотя бы из соображений рекламы. Прошло то время, когда автора академической монографии совершенно не интересовало мнение публики - оно не сказывалось ни на принятии книжки к печати, ни на ее тираже, ни на ее оценке. Теперь за читателя вне пределов ничтожно узкого круга специалистов (а значит, в конечном счете и за спонсора для новых исследований) придется побороться - у того есть много приятных способов провести

время, так стоит ли, например, выключать видео ради какого-то исторического сочинения? Тяжеловесные монографии классического типа, вероятно, несколько потеряют в значении, а статьи и исторические эссе, напротив, станут более уважаемыми жанрами исторической прозы. Во всяком случае безусловное право быть толстым сохранится, наверное, только за справочниками - откуда у нынешнего человека время осиливать большую книгу?

Но все же главное, скорее всего, - это установка автора не на вписывание „своего“ фрагмента прошлого во все расширяющийся круг заданных некими внешними теоретическими установками внешних связей, а на углубленное выявление собственных свойств именно этого фрагмента „на фоне“ индивидуального личного опыта исследователя. При должном тщании и хорошей профессиональной подготовке внутри таких осколков может быть и удастся разыскать нечто намного большее, чем эти осколки сами по себе... Собственно этим и стараются в меру своих сил заниматься авторы альманаха „Казус“, в число почетных членов которого они с удовольствием приняли бы и, кажется, в чем-то несколько сходным образом понимавшего историю Геродота из Галикарнаса.



Н.Е.Копосов

## О НЕВОЗМОЖНОСТИ МИКРОИСТОРИИ

В остроумной книге *“Логические ошибки историков”* Д. Фишер пишет: “Ученые по-прежнему всерьез спорят, например, о том, следует ли историку обобщать. С тем же успехом можно задаваться вопросом, следует ли историку говорить словами. Обобщения глубоко укоренены в его языке, в его мышлении, в его способах объяснять мир”.<sup>1</sup>

С этой точки зрения весь проект микроистории - одна большая логическая ошибка. В более развернутой форме этот тезис мог бы выглядеть примерно так:

Микроистория как логически независимая по отношению к макроистории методологическая перспектива возможна при выполнении одного из двух условий: либо если она откажется от предполагающих обобщение интеллектуальных стандартов, либо если она выработает такие формы обобщения, которые будут логически независимы от тех, на которых основана макроистория. Это второе условие можно переформулировать как создание самостоятельной системы исторических понятий. Ведь именно в исторических понятиях, современная система которых сложилась в связи с формированием проекта макроистории, заложены присущие этой последней (достаточно разнообразные) формы обобщения. Поэтому путь микроистории к логической автономии может пролегать только через создание параллельной системы исторических понятий (которые будут основаны на отличных от заложенных в существующих понятиях логических механизмах). Поскольку выполнение обоих указанных условий представляется проблематичным, микроистория фактически возможна лишь постольку, поскольку она использует макроисторические понятия и, следовательно, имплицитно отсылает к макроисторической проблематике, иными словами - поскольку она является одной из исследовательских техник макроистории. Следовательно, единственный реальный выбор микроистории - между эксплицитной и имплицитной зависимостью от макроистории.

Многие из тех, кто интересуется микроисторией, конечно же, скажут, что нет смысла доказывать невозможность микроистории как независимой по отношению к макроистории методологической перспективе, поскольку она и не претендует на эту роль. Возможно, большинство микроисториков и в самом деле на это не претендует (практикующие исследователи вообще не склонны обсуждать, на чем основаны и к чему обязывают их теории), но смысл подчеркнуть пределы микроистории все же есть. Дело в том, что в условиях современного кризиса

истории - и, шире, социальных наук в целом - микроистория стала одним из основных интеллектуальных течений, с которыми в последние годы связывают надежды на создание новой парадигмы социальных наук (подробнее об этом речь пойдет в последней части статьи). Именно реакцией на эти надежды является мой тезис о логической невозможности микроистории. Логическая зависимость микроистории от макроистории, на мой взгляд, не оставляет надежд на то, что на базе микроистории можно построить новую модель университетской истории, иными словами, истории как элемента в системе социальных наук.

Свой тезис я попытаюсь проиллюстрировать некоторыми размышлениями о французской историографии и о семантике исторических понятий. Но прежде, чем сделать это, я позволю себе привести и прокомментировать еще одну цитату. Она взята у Дж. Хекстера, историка с редкой по меркам ремесла склонностью к методологической рефлексии:

“Для собственного удобства мы разделяем область человеческого опыта на более или менее пригодные к употреблению рубрики - социальную, экономическую, политическую - и затем приобретаем обыкновение воспринимать наши классификационные инструменты как реальности, как сущности, противопоставляя их друг другу и даже высказывая предположения об их сравнительной важности. Мы забываем, что их значение определяется количеством конкретных вещей, которые мы сами, часто произвольно, решаем отнести к этим рубрикам”.<sup>2</sup>

Это рассуждение замечательно тем чувством хозяина, которое историк испытывает по отношению к своим интеллектуальным инструментам, как если бы в его власти было совершенно изменить их, как если бы, например, мы могли писать историю, не реифицируя собственные ментальные категории. Но ведь реальность для нас именно и конституируется в процессе реификации категорий, так что мы в лучшем случае можем только выбирать, какие категории реифицировать. Впрочем, даже и здесь наше право выбора сильнее всего ограничено, поскольку свойственные нам когнитивные стандарты обычно требуют реификации определенного типа категорий. Неудивительно, что когда историки в 80-е годы слишком далеко зашли в стремлении избавиться от реифицируемых категорий, результатом стало “исчезновение прошлого”, которое не удавалось помыслить вне категорий, отвечавших привычным когнитивным стандартам, в том числе и привычным формам обобщения.

Применительно к микроистории это означает, что условием ее возможности может быть только радикальная смена когнитивных стандартов или - в иной формулировке - картины мира. То, что переход от макроистории к микроистории был связан с некоторыми переменами в картине мира, - несомненно. Имело место, в частности, некоторое ос-

лабление “материалистической чувственности” со свойственным ей увлечением механистическими метафорами, то есть тех установок сознания, которые побуждают “предощущать” искомую реальность как рациональную, четко структурированную и “осязаемую”. Но не менее очевидно и то, что радикальной смены когнитивных стандартов не произошло, а это вновь возвращает нас к неизбежной зависимости микроистории от макроистории.

Перейдем теперь к французской историографии. Распространение микроистории во Франции (как и в других странах) в 80-е годы вписывается в более общее развитие, связанное с распадом доминировавшей в 50-60-е годы парадигмы социальной (во Франции часто говорили - экономической и социальной) истории. Эта парадигма многими воспринималась как история в стиле “Анналов”, хотя она реально практиковалась и другими группами историков как во Франции, так и за ее пределами. В известном смысле она была логическим развитием традиций позитивистской историографии конца XIX - начала XX веков. Но “Анналы” и в самом деле сыграли важную роль в ее формировании и распространении. Не останавливаясь здесь подробно на социальной истории 60-х годов, подчеркнем лишь некоторые ее особенности, важные для нашей темы.

Прежде всего, социальная история основывалась на крайне неопределенном понимании социального. С одной стороны, она рассматривалась как тотальная история (“история... как единое целое... социальна по своей природе”),<sup>3</sup> с другой - она могла пониматься и в более узком смысле, как “история организации общества, классов и так далее”.<sup>4</sup> Такое понимание создавало основу для отождествления истории социальных групп с основным, всеобъясняющим “субстратом” истории. Социальные историки 60-х годов - не только близкие к марксизму (как Лабрусс), но и их оппоненты (как Мунье) именно в истории социальных групп видели ключ к пониманию других “частных” историй.<sup>5</sup> Однако тезис “вся история социальна” - при всей его очевидности - и даже банальности - с высоты сегодняшнего дня - в момент рождения школы “Анналов” сохранял еще некоторую долю изначальной полемичности. Для Блока и Февра он, естественно, восходил прежде всего к дюркгеймовской социологии, но для того, чтобы в полной мере оценить его значение, следует поместить его в более широкий контекст интеллектуальных сдвигов конца XIX - начала XX веков, в контекст рождения проекта социальных наук, одним из элементов которого и была дюркгеймовская социология. Этот проект основывался на идее разума-культуры, иными словами, на тезисе о социальной природе сознания.<sup>6</sup> Поэтому сказать: “История социальна по своей природе” тогда означало сказать, что она есть прежде всего история сознания, но что сознание никогда не бывает сознанием отдельного человека, что оно

сущностно коллективный феномен. Отсюда - слова Февра “Люди - единственный предмет истории... но люди, всегда взятые в рамках общества”.<sup>7</sup> Поэтому для Блока и Февра не могло быть и речи о том, чтобы видеть в истории социальных групп главное содержание “глобальной” истории. Социальное для них - всепроникающий эфир истории, но отнюдь не “тяжелая материя” общества, как это стало в 60-е годы. Сравнить социальную историю - как это делал позднее Лабрусс<sup>8</sup> - со строительством домика из кубиков было бы для них отрицанием всей их системы научного воображения, возвратом к столь часто осуждаемой ими - особенно Февром<sup>9</sup> - картине мира классической механики, той самой картине мира, из которой черпала свои базовые метафоры отрицаемая ими позитивистская историография.

Напротив, в 50-60-е годы имел место определенный возврат к формам научного воображения XIX века. Именно в этом контексте приобретает смысл лабруссовская программа “истории на трех уровнях”<sup>10</sup> (не так уж сильно отличавшаяся от трехуровневой схемы Броделя при всей поэтичности и суггестивности гидравлических метафор последнего), поразительно напоминающая “систему комода” позитивистской историографии, над которой в свое время издевался Февр<sup>11</sup> (комода, по ящикам которого были разложены исторические “факты разной природы” - политические, социальные, экономические и так далее), - программа, вне рамок которой была бы невозможна социальная история 60-х годов.<sup>12</sup> В сущности, именно этот образ истории, составленной из разворачивающихся на разных уровнях бытия, но все же соотносящихся друг с другом долговременных процессов, стратифицированный образ истории, запечатленный в подзаголовке вторых “Анналов” - “Экономики, общества, цивилизации”, и был базовой метафорой социальной истории 60-х годов. К этому времени пафос первоначально утверждения социальной природы разума был в значительной мере забыт. Социальная история стала именем стратифицированного образа истории, обозначая одновременно его центральную часть и образ в целом, причем именно за счет этой двусмысленности свойственный модели “социологический детерминизм” казался отражением природы вещей, а незатейливость его логики маскировалась полисемантической и, так сказать, “невывысказанной глубиной” понятия социального.

Стратифицированный образ истории, созданный научным воображением XVIII - XIX веков и опирающийся на опыт “визуальной революции”, осуществленной галилеевской наукой и классической живописью, представляется неотъемлемым элементом сегодняшнего понятия истории. Не повторяя известный анализ Р.Козеллеком рождения понятия всеобщей истории в “переломное время”,<sup>13</sup> отметим лишь его замечание о роли фиксации точки постоянного наблюдения как необходимого условия этого образа.<sup>14</sup> Но потребность в этой точке посто-

янного наблюдения в значительной мере связана с осознанием различия общества и государства, что в применении к истории отразилось в ощущении многослойности исторического процесса. Это можно понять следующим образом: именно возникновение стратифицированного образа истории, наряду с формированием "*kollektiv-singular Geschichte*", стало важнейшей интеллектуальной предпосылкой нашего понятия истории.<sup>15</sup> Иными словами, современная идея истории немыслима вне рамок этого образа.

Характерно, что именно та или иная интерпретация взаимоотношений между различными "уровнями" стратифицированного образа истории обычно составляла основу экспликативных моделей, придающих смысл историческому процессу, - то ли политика из верхнего ящика комода, то ли экономика из своего "базиса" определяла движение всеобщей истории. Иными словами, движение объяснялось из разницы в динамическом потенциале отдельных элементов этого образа. Социальная история, конечно же, была лишь одной из версий такого объяснения, но, как и другие, она коренилась в том же воображаемом мире.

Здесь мы подходим к важнейшему аспекту функционирования стратифицированного образа истории - даже если попытки открыть на его основе законы истории оказались вполне скомпрометированными, он все же выполнял - и продолжает выполнять - фундаментально ту же когнитивную функцию, которую законы выполняют в науках о природе, а именно - функцию упорядочения. Именно поэтому открытие законов истории оказывается не таким уж обязательным, если в нашем распоряжении имеется стратифицированный образ истории. Функция упорядочения - а имплицитно и функция объяснения - уже выполнена в тот момент, когда мы разнесли факты по рубрикам. Рубрикация выступает по меньшей мере столь же важным когнитивным инструментом истории, как нарративная форма, о которой в последние десятилетия так много говорится.

Стратифицированный образ истории имел и еще одно значение - он играл и продолжает играть роль основы того метаязыка, на котором историки говорят о себе, а тем самым - и основы современной историографии как символической формы. Как это сформулировал Д.Мило, "историки... мыслят себя в терминах областей и периодов (своих исследований)".<sup>16</sup> Однако речь, конечно, идет далеко не только о мнемонистических средствах или об этически нейтральном коде. Стратифицированный образ истории достаточно антропоморфен, и то или иное соотношение в динамическом потенциале между его отдельными элементами в состоянии достаточно непосредственно выразить ту или иную концепцию личности, тот или иной культурно-антропологический идеал, который историк стремится воплотить в самом себе и об универсальной значимости которого он заявляет на символическом языке своей

науки, "открывая" соответствующие пласты исторического материала. Я не думаю, чтобы удалось найти иной, более значительный смысл истории, ее иное, более существенное означаемое, нежели личность ее создателя - историка. В других работах<sup>17</sup> я попытался показать, как на этом метаязыке макроисторических категорий говорили о себе советские историки. На нем же "представлялись" и историки других стран. Политика, правящая из верхнего ящика комода, была словом о себе школы французских республиканских историков - Лависса, Рамбо, Моно, Сеньобоса и других, точно так же, как история классовой борьбы была провозглашением долга самоидентификации личности со сражающимся коллективом, а история культуры, поднятая на щит поколением Дюби, Ле Гоффа, Гуревича, Бессмертного и Баткина, - утверждением прав личности - носителя культуры. Именно в этих конфликтах самоидентификаций - одна из разгадок поразительного порой упорства, отмечаемого в полемике о сравнительном значении макрокатегорий, по поводу которой иронизировал Хекстер в приведенной выше цитате. Эти категории не произвольны не просто потому, что в них отразились сковывающие нас архивы нашей науки. Они не произвольны и потому, что они выражают серию экзистенциальных выборов, по отношению к которым каждый из нас только и может сделать свой собственный выбор. Ибо выбор может иметь только относительный смысл.

Наконец, они не произвольны и как выражение некоторых когнитивных ограничений нашего разума. Сделаем небольшое отступление, чтобы пояснить это на самом общем примере.<sup>18</sup> Какая бывает история? Древняя, средневековая, новая и новейшая. Или: первобытного, рабовладельческого, феодального и капиталистического общества (к счастью, список можно не продолжать). Или: экономическая, социальная, политическая и культурная. Историческая протяженность бывает длительной, средней или краткой (Бродель, естественно, отмечал, что протяженностей на самом деле множество,<sup>19</sup> но работал все же с тремя). Такими же бывают экономические циклы. Общество состоит из духовенства, дворянства и третьего сословия, или из дворянства, крестьянства, буржуазии и пролетариата, или из высшего, среднего и низшего классов. Во всех этих примерах число составляющих целое элементов не превышает трех-четырёх. Самые дробные из известных нам социальных классификаций не превышают семи-девяти элементов. Если же элементов оказывается больше, они неизбежно объединяются в несколько категорий высшего порядка.

Но почему историки (конечно, не только они) всегда работают с ограниченным (и всегда на примерно одном и том же уровне) количеством категорий, на которые разлагается то или иное целое? Конечно, не потому, что история на самом деле была древней, средневековой, новой и новейшей, а общество состоит из высшего, среднего и низшего

классов. Скорее, существует определенный порог различения, свойственный нашему когнитивному аппарату, определенный интеллектуальный стандарт, форма разума, схема, априори, гештальт или что-нибудь в этом роде, что налагает ограничения на нашу способность представить себе историю, общество или иные абстрактные объекты. Психологам известны такого рода ограничения - о них, например, писал Дж.Миллер в знаменитой статье "Магическое число семь".<sup>20</sup> Не вдаваясь сейчас в обсуждение достаточно спорного вопроса о происхождении этих ограничений, отметим, что связь с ними некоторых формальных сторон понятийного аппарата нашей дисциплины не кажется невероятной, совсем напротив. Было бы странно, если бы наши понятия не отражали некоторых особенностей нашего когнитивного аппарата. Ведь историк - не вместилище абсолютного разума, а такое же "существо из плоти и костей", как и те, кто действует в истории. Вопреки посылкам идеи разума-культуры, телесная укорененность разума, подчеркиваемая некоторыми течениями современной когнитивной революции,<sup>21</sup> не может быть игнорируема при анализе интеллектуальных структур истории.

Возвращаясь к стратифицированному образу истории, мы видим, что на нем сказались весьма разнородные факторы - начиная от когнитивных ограничений "воплощенного разума" и кончая особенностями визуальной культуры нового времени и семиологическими механизмами, работа которых превращает его в основу современной историографии как символической формы. На мой взгляд, этот образ играет настолько фундаментальную роль для нашего понимания истории, что без него история просто невозможна - вернее, невозможно то, что мы сегодня единственно и знаем под этим именем, та культурная практика, архивы и фундаментальные образы которой восходят к эпохе Просвещения и которая окончательно сформировались в рамках позитивистской историографии к началу XX века. Это - "университетская история", история как элемент в системе социальных наук (или наук о культуре, наук о человеке, наук о духе и так далее, все это - одно и то же). Конечно, эта история не сводится к стратифицированному образу, но именно он является ее ядром, создает ее основу и как когнитивной, упорядочивающей, и как семиологической системы. Конечно, у такой истории были предшественники, влияние которых тоже не следует сбрасывать со счета, и она не изолирована от других психологических и культурных феноменов (например, памяти), но в данном случае мы можем отвлечься от этих взаимосвязей, поскольку нас интересует прежде всего сам этот образ и его влияние на "разрешающую способность" нашего разума.

Так вот, именно структуры стратифицированного образа истории "ответственны" за важнейшие черты нашего чувства исторической ре-

альности. История "предфигурирована" для нас в этом образе, он служит для нас залогом ее реальности, его мы чувствуем тем внутренним чувством, которым мы отличаем реальное от нереального, чувством, которое я бы назвал интуицией реальности. Иными словами, именно этот образ мы проецируем на некоторый абстрактный план сознания, который мы называем реальностью. Конечно, кроме заложенных в этом образе структурных черт в наше построение реальности входит много других факторов, и прежде всего - некоторая тактильная интуиция, некоторые ощущение плотности мира. Выше я уже упоминал о работе этой интуиции, противопоставляя "эфир социального" у Блока и Февра "тяжелой материи" социального у историков 60-х годов. Следует отметить, что резкие изменения тактильной интуиции чреваты последствиями для структурных черт конструируемого нами мира. Так, "эфир социального" у основателей "Анналов" существенным образом смягчал жесткость стратифицированного образа истории, однако вряд ли можно счесть случайностью, что в следующем поколении историки вернулись к подвергнутой уничтожающей, казалось бы, критике системе научного воображения. При всем блеске своего творчества, попирающего (как считают некоторые) основы традиционной историографии, Блок и Февр в известном смысле работали на ее полях, и интеграция результатов осуществленной ими эпистемологической революции в дискурс исторической профессии потребовала возврата к той тематизации исторического мира, которую выработала позитивистская историография и которую ничем не смогли заменить основатели "Анналов". В этом смысле их попытка сломать "искусственные рамки" и отказаться от "барьеров и этикеток" не имела (и не могла иметь) долговременных последствий. Еще раз переформулируя, можно сказать, что эпистемологическая революция Блока и Февра не затрагивала самого существа позитивистской концепции истории и находилась в рамках той же интеллектуальной модели.

Этот опыт имеет прямое отношение к проблеме микроистории. Конечно, сказать, что основатели "Анналов" с их артистической способностью видеть большие проблемы истории и навязчивым страхом перед "всеобщим мелким" в ней пытались уйти от необходимости обобщать, было бы нелепостью. Но их практика обобщения не привела тем не менее к формированию альтернативной системы исторических понятий. По-видимому, они и не ставили перед собой такой задачи, а если иногда и подходили к ней, то результаты были не на высоте их таланта: вспомним хотя бы очевидно наивную и до странности безыскусную попытку Марка Блока предложить периодизацию истории "по поколениям".<sup>22</sup> Стоит ли объяснять, почему она не смогла заменить собой столь неудовлетворительную модель древней, средней и новой истории? Помимо этого единичного эпизода Блок и Февр, критикуя поня-

тийный аппарат позитивистской историографии, ратовали в основном за его более гибкое применение, но не за его смену, и никакой системы понятий, порвавшей связи с механистическими метафорами и систематически обратившейся, например, к метафорам электричества, в их сочинениях обнаружить не удастся.<sup>23</sup> Даже понятие социального, окрашенное у них далеко не грубо-материалистической интуицией, в конечном счете подчиняется тому же дуализму тотальной истории и истории классов. Постоянно сетуя на его неопределенность и едва ли не на его непригодность, они ни в какой момент не пытались “деконструировать” его, показать стоящие за ним ментальные механизмы, идеологические установки и так далее. С этой точки зрения характерны пределы их критического отношения к наличным историческим понятиям. Подчеркивая, что “исторические факты, равно как и факты физические, мы воспринимаем сквозь призму форм нашего разума”, и призывая изучать, как “история организует прошлое в зависимости от настоящего”,<sup>24</sup> они не подвергли исследованию конкретные формы разума, проявившиеся в конкретных, в том числе и в важнейших для их собственных целей, исторических понятиях.

Мы остановились на этом вопросе несколько более подробно потому, что эпистемологическая революция Блока и Февра до известной степени была направлена против той же позитивистской парадигмы, против которой выступают сейчас микроисторики, пусть и на другом этапе ее развития. И точно так же основатели “Анналов” не решились посягнуть на самые основания этой парадигмы. Конечно, сегодняшние поиски микроисториков носят гораздо более отрефлектированный характер, а предлагаемые ими решения отличаются порой большим радикализмом, нежели поиски Блока и Февра. Однако им приходится сталкиваться в основе с тем же сопротивлением нашего собственного интеллектуального аппарата, и пока не заметно признаков, что они относятся к этому сопротивлению более серьезно, чем их выдающиеся предшественники.

Подойдем теперь к нашей проблеме с несколько иной стороны. Существуют ли и подвергнуты ли анализу модели обобщения, отличные от тех, которые заложены в основу парадигмы позитивистской историографии? Здесь естественно приходит на память характерная для немецкого историзма проблема индивидуализирующих понятий и связанная с ней теория идеальных типов Макса Вебера. Предположим, что позитивистская историография представляется неудовлетворительной потому, что она пытается перенести на культурный материал неадекватную ему помотетическую модель. В дальнейшем мы увидим, что это предположение обосновательно, так как реально в науках о человеке используются различные модели обобщения, но все же сделаем его, поскольку оно необходимо нам для исследования вопроса о том, в ка-

кой мере индивидуализирующие понятия могли бы послужить интеллектуальным ресурсом микроистории (ведь ни о какой другой альтернативной позитивистской модели логики речи, насколько нам известно, никогда не заходило). Итак, возможна ли система индивидуализирующих понятий, логически самостоятельная по отношению к системе генерализирующих понятий, и если да, то на каких логических механизмах она может быть основана?

Предположение, что такая система возможна (или, точнее, что именно она и подлежит наукам о культуре), было, как известно, сформулировано Виндельбандом и Риккертом. При этом под индивидуализирующими понятиями (в соответствии с традицией немецкого историзма XIX века) имелись в виду те, в которых мы “схватываем” исторические индивидуальности в широком смысле слова, такие, например, как немецкий народ. Иными словами, речь идет об явлениях хотя и единственных в своем роде, но все же макроисторического масштаба. С этой точки зрения, казалось бы, индивидуализирующие понятия - не совсем то, что могли бы искать микроисторики. Но вместе с тем именно за счет своей причастности к макроисторическому масштабу индивидуализирующие понятия, возможно, могли бы позволить как-то иначе, не так, как понятия генерализирующие, классифицировать индивидуальные факты микроуровня. Иными словами, индивидуализирующие понятия макроуровня могут быть рассмотрены - по отношению к индивидуальным фактам микроуровня - как особый вид генерализирующих понятий. Но для этого они должны быть основаны на особых логических процедурах, отличающих их от других генерализирующих понятий.

Именно в этом и состоит сложность. Вопрос о логической структуре индивидуализирующих понятий остался до такой степени непроработанным баденскими неокантианцами, что сохранилась возможность утверждать, будто таких понятий не существует вовсе, и самую гипотезу индивидуализирующих понятий преследует обвинение в абсурдном противоречии в терминах.<sup>25</sup> Тем не менее к этой гипотезе восходит одно направление мысли (“направление”, возможно, не совсем подходящее слово, поскольку оно проходит незаметным пунктиром по разрозненным работам), которое пытается обосновать иную, отличную от “номотетической” логику социальных наук. Речь идет о некоторых комментариях к теории идеального типа Макса Вебера.

Обычно идеальный тип понимают с акцентом на слове “идеальный”, как бы считая слово “тип” само собой понятным. В таком случае и говорят об “исследовательских утопиях”, о том, что идеальные типы - это просто модели, которые не существуют в реальности, но которые создаются исследователями для того, чтобы эту реальность рационально понять. Но при этом остается в стороне вопрос, отличаются ли хотя бы чем-то идеальные типы от других понятий с логической стороны - ведь



любое понятие подходит под такое описание. Напротив, некоторые авторы, например, Томас Бургер,<sup>26</sup> интерпретировали теорию идеальных типов как попытку развить идею индивидуализирующих понятий и разработать специфическую логику наук о культуре, иными словами, как ответ на тот вопрос, который так и не задал себе Риккерт, но который следовал из его теории, вопрос о различиях форм обобщения, подлежащих соответственно индивидуализирующим и генерализирующим понятиям. Известно, что Вебер, развивая начатое уже Риккертом смягчение оппозиции идиографических и номотетических наук, подчеркивал, что генерализирующие понятия вовсе не неприменимы в науках о духе. Однако он шел здесь дальше Риккерта, считая, что индивидуализирующие понятия в известном смысле состоят из генерализирующих, иными словами, что индивидуализирующие понятия (то есть, в интерпретации Бургера, идеальные типы) есть не что иное, как уникальные комбинации генерализирующих понятий. Это значит, что они выступают как своего рода кластеры значений, которые позволяют с помощью "пересекающихся" общих понятий схватить неповторимые исторические явления. По сути дела Бургер приписывает Веберу идею кластерного или сложного понятия, а отсюда уже один шаг до того, чтобы поставить под сомнение аристотелевскую логику, основанную на принципе необходимых и достаточных условий членства в категории. Правда, дебаты о сложных понятиях в аналитической философии прошли мимо внимания Бургера, возможно, потому, что он писал еще в середине 70-х, то есть до того, как споры о логике прототипа вышли за пределы узкого круга специалистов. Нельзя сказать, что аргументация Бургера до конца убеждает, и все же вполне правдоподобно, что мысль Вебера развивалась примерно в таком направлении. На это указывает само слово "тип", сегодня от частого употребления банализированное, которое для Вебера, вполне вероятно, ассоциировалось с ныне забытыми спорами английских логиков первой половины XIX века (таких, как Д.Стюарт, У.Уивел и Дж.С.Милль), спорами, в которых оно отсылало к классу, сформированному не на основе необходимых и достаточных условий, но с помощью транзитивного словоупотребления (мы бы сейчас сказали - семейного сходства, но эта идея, обычно связываемая с именем Витгенштейна, была, без сомнения, заимствована им из дебатов к тому времени уже столетней давности) путем объединения вокруг типических образцов категории ее периферийных членов. Вебер должен был знать об этих дебатах, поскольку они анализируются в "Системе логики" Милля, а Милль был одним из наиболее читаемых критическими философами истории авторов. Таким образом, пусть и непосредственно, Вебер мог связывать надежду на решение вопроса о логическом своеобразии исторических понятий с логикой прототипа *avant la lettre*. Однако это развитие осталось лишь намеченным в его теоре-

тических статьях, и неудивительно, что оно прошло мимо внимания большинства исследователей его творчества.

Можно указать еще на двух авторов, мысль которых развивалась в близком направлении. Это, прежде всего, Кассирер, который обращается к типологии научных понятий в "Логике гуманитарных наук".<sup>27</sup> Там он выделяет особый тип понятий, "понятия формы и стиля", которые связаны, с его точки зрения, прежде всего с работой эстетической интуиции (и поэтому применяются главным образом в истории искусства). Как пример он приводит буркхардовское понятие "человек Возрождения", которое, конечно же, невозможно определить в терминах необходимых и достаточных условий. Правда, с этого момента рассуждения Кассирера развиваются уже не в направлении логики прототипа: он говорит не о том, что между деятелями Возрождения существовало "семейное сходство", но скорее о том, что они все вместе составляли то, что можно охарактеризовать как человека Возрождения, внося каждый какую-либо новую черту в этот коллективный портрет. Конечно, это рассуждение несложно перевести в логику прототипа, но сам Кассирер не делает этого, что характерным образом показывает "брошенность на полпути" его логического анализа исторических понятий.

Еще один важный здесь для нас автор - Жан-Клод Пассерон,<sup>28</sup> который, уже будучи в курсе современных дебатов о логике прототипа, также склонен связывать с ней теорию идеального типа. Пассерон, однако, делает еще одно важное замечание, которое тоже идет в развитие мысли Вебера, а именно, что имена нарицательные (выражающие общие понятия) в дискурсе социальных наук всегда остаются несовершенными нарицательными именами, иными словами, сохраняют связь с конкретными историческими контекстами, в которых они обозначают уникальные культурные явления. Это наблюдение представляется чрезвычайно важным, поскольку оно реально открывает путь к пониманию тесной взаимосвязи разных способов образования понятий в нашем мышлении, взаимосвязи настолько тесной, что - если продолжить размышлять в этом направлении - представляется бессмысленным пытаться установить какую бы то ни было жесткую типологию понятий и тем более - взаимосвязь между определенными типами понятий и определенными науками. Каждая наука является исторически сложившимся комплексом крайне разнотипных интеллектуальных задач, и мы неизбежно применяем различные интеллектуальные стратегии, а это значит - и по-разному сформированные - или даже по-разному в разных контекстах употребленные - понятия для их решения. Историческая наука не составляет здесь исключения, и первая же попытка логического анализа любого исторического понятия покажет нам переплетение в нем самых разнообразных логик (в частности, проведенный нами в другой

работе анализ логических структур используемых историками социальных категорий показывает, что они рождаются из конфликтного взаимодействия логики прототипа и логики необходимых и достаточных условий).<sup>29</sup>

Что из всего этого следует? Прежде всего, весьма немногочисленные попытки разработать для наук о человеке логику, альтернативную логике общих понятий, не привели к сколько-нибудь заметному успеху, а наиболее вероятное предположение, к которому склоняют эти попытки, состоит в том, что их продолжение обречено на неуспех, поскольку каждая наука мобилизует весь спектр наших логических интуиций. Это означает, что у микроисториков мало шансов обнаружить в нашем интеллектуальном аппарате невостребованные макроисторией ресурсы. Последняя, как и наше мышление в целом, основана на разнообразии порой внутренне противоречивых интуиций и логических стандартов. Остается неясным, почему микроисторикам должны рассчитывать на успех там, где не удалась предшествующие попытки создания особой логики наук о человеке. Во всяком случае, ничто в практике микроистории не свидетельствует в пользу такого предположения.

После всего вышесказанного не покажется странным, что развитие микроистории сопровождается постоянными сомнениями в ее самостоятельности, а следом и в осмысленности предприятия в целом. Краткий обзор развития французской социальной истории в период после ее расцвета в 60-е годы покажет нам, что шествие микроистории - далеко не триумфально, что она вписывается скорее в логику распада и кризиса социальных наук, чем в логику его преодоления.

Расцвет социальной истории в 60-е годы совпал с периодом расцвета социальных наук в целом. Однако еще в 70-е годы атмосфера интеллектуального оптимизма сохранялась в полной мере, так что начало распада социальной истории имело место еще до того, как был поставлен диагноз кризиса социальных наук. Однако именно эта эволюция привела к тому состоянию историографии, которое в 80-е годы было оценено как кризис. Здесь нет смысла подробно останавливаться на этой эволюции, она хорошо известна. В 70-е годы социальная история уступила место социокультурной истории, принимавшей в расчет уже не столько долговременную эволюцию "объективных" структур, сколько их субъективное восприятие и попытки конструирования социального мира актерами, отправляющимися от своих представлений. Социальных историков 60-х годов упрекали при этом прежде всего в том, что они пытались наложить на живую историческую действительность абстрактные логические схемы, изобретенные социологами и не имеющие ничего общего с исторической реальностью, создававшейся людьми, мыслящими в совершенно других категориях. Поначалу сознание актеров истории понималось скорее как коллективное сознание, но чем даль-

ше, тем больше делался акцент на индивидуальном восприятии социального мира и индивидуальных стратегиях адаптации к нему. "Коллективные репрезентации", "ментальность", столь популярные в 70-е годы, стали теперь вызывать подозрение на том же основании, что и социальная история 60-х годов, а именно, на основании слишком общего характера заложенных в этих понятиях объяснений.

Именно в этих условиях впервые начинают звучать нотки беспокойства в оценках положения дел в исторической науке, а во второй половине 80-х годов пришло всеобщее осознание распада. Речь шла об очевидном неуспехе проекта "глобальной истории", о разочаровании в экспликативных моделях функционалистского типа (будь то марксизм, структурализм или психоанализ), господство которых характеризовало "героическую эпоху" 60-х годов.<sup>30</sup> Впрочем, "освобождение от догматизмов" порой приветствовалось как залог свободного развития творческой мысли,<sup>31</sup> но это продолжалось недолго. Вскоре плюрализм теоретических подходов и разнообразие тематики исследований, более не уместившихся в рамки генерализирующих схем, превысили в глазах профессионального сообщества некоторую критическую точку. Расширение "территории историка" привело к фрагментации исторического дискурса. "*Eclatement de l'histoire*", о котором говорил Пьер Нора в начале 70-х годов, постепенно стало восприниматься как "*emiettement*".<sup>32</sup> Ситуация, когда "каждый сам себе историк", означала расстворение макроисторического дискурса в несоизмеримых микроисториях. Это совпало с апогеем критики в адрес "интеллократов",<sup>33</sup> с атаками из-за рубежа на школу "Анналов",<sup>34</sup> наконец, с углублением экономической депрессии и обострением извечной проблемы финансирования. Иными словами, фрагментация исторического дискурса имела очевидным коррелятом социальный кризис исторической профессии.<sup>35</sup> В этих условиях с конца 80-х годов стало заметно стремление найти формулу объединения,<sup>36</sup> вскоре вылившееся в целенаправленный поиск "новой парадигмы". В 1995 году тот же Франсуа Досс, книга которого "*Измельченная история*" в 1987 году зафиксировала в общественном сознании диагноз кризиса, с удовлетворением констатировал, что новая парадигма - основные контуры которой были намечены еще в известной статье Марселя Гоше в 1988 году<sup>37</sup> - наконец, создана.<sup>38</sup>

Одной из центральных идей новой парадигмы принято считать "возвращение субъекта", иными словами, акцент на сознательных, субъективных аспектах социального действия, противоположный характерному для "функционалистских парадигм" поиску надличностных, "объективных" факторов, детерминирующих развитие общества. Именно в этом контексте микроистория (равно как и другие техники микроанализа, например, американская этнометодология) оказывается фунда-

ментальным для новой парадигмы направлением исследований. Неслучаен поэтому огромный интерес к ней. Но чем очевиднее становились достижения микроанализа, тем сильнее ощущалась тоска по утраченной целостности, тем шире распространялась мысль, что, говоря словами Кристофа Шарля, "невозможно построить дом из фрагментов даже самой красивой мозаики".<sup>39</sup> За этим возвращением в исторический дискурс дорогих социальным историкам 60-х годов строительных метафор (вспомним хотя бы лабруссскую метафору игры в кубики) легко заметить сохранение традиционных форм исторического воображения - со всеми уже известными нам их логическими импликациями.

В этих условиях понятно, почему новая парадигма не могла позволить себе ограничиться "возвращением субъекта" - то есть остановиться на уровне микроистории. Чтобы стать парадигмой, то есть перейти от распада к реконструкции, следовало найти способ от анализа индивидуального действия умозаключать к социальному целому, то есть не просто уточнять, но конструировать макросхемы с помощью микроисследований, иными словами, обобщать от индивидуального. Спектр ответов, предложенных в последнее время на вопрос о том, как обобщать, достаточно широк. Одни возлагают надежды на волшебную палочку новой статистической техники,<sup>40</sup> другие - на понятие исключительного/нормального,<sup>41</sup> третьи - на заимствованную у немецкого историзма идею индивидуальной тотальности,<sup>42</sup> четвертые - на разработанную Пьером Нора концепцию мест памяти, по аналогии с которой можно, по-видимому, создать более или менее разнообразный инвентарь мест наблюдения/конструирования социального,<sup>43</sup> пятые - на укрепление солидарности профессионального сообщества, основанное на более ясном самоосознании социальных наук как определенной культурной практики.<sup>44</sup> Особой популярностью в последние годы пользуется предложенная Люком Болтански и Лораном Тевено "социология градов" (*sociologie des cites*), исследующая то, как субъекты социальной жизни легитимизируют свои притязания в конфликтах с помощью апелляции к различным принципам общественного устройства и как они приходят к компромиссу, основанному на том или ином балансе этих принципов.<sup>45</sup> Привлекает внимание и "социальная история когнитивных форм" (например, классификаций), показывающая происхождение ментального аппарата, занятого в конструировании социального пространства, и таким образом дающая микроисторикам хотя бы какие-то линии, направляющие их конструирование здания из фрагментов мозаики.<sup>46</sup> Эти подходы представляют несомненный интерес и в ряде случаев уже привели к появлению первоклассных исследований. Правоммерно, однако, усомниться, что искомый результат - создание такой модели генерализации, которая позволила бы создать целостную теорию общества или написать новую "глобальную историю", - можно считать достигнутым, и постоянное возобновление попыток найти новые способы обобщения скорее подчеркивает в лучшем случае относительный успех предыдущих попыток.

В свете вышеизложенного я решусь предположить, что этот результат и не может быть достигнут. В таком случае уместно задать вопрос - а в чем причина столь упорного поиска? Мой ответ, видимо, нетрудно угадать - в сохранении интеллектуальных стандартов, предполагающих необходимость обобщения, стандартов, настолько глубоко укорененных в нашем интеллектуальном аппарате, в нашей культуре, в социальной организации нашей профессии, что их нарушение неизбежно воспринимается как кризис.

В заключение отмечу, что невозможность микроистории для меня - глубоко оптимистическая констатация, поскольку она означает невозможность выхода из кризиса социальных наук и, следовательно, неизбежность поиска новой интеллектуальной парадигмы, исходящей из других базовых уверенностей, чем социальные науки.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> D.H.Fisher, *Historians' Fallacies. Toward a Logic of Historical Thought*, New York: Harper and Row, 1970, p.103

<sup>2</sup> J.H.Hexter, "Fernand Braudel and the Monde Braudelien", *On Historians*, London, 1979, p.138.

<sup>3</sup> L.Febvre, *Combats pour l'histoire*, Paris: A.Colin, 1965, p.20. В письме к А.Пиренну в 1930 г. Февр пишет: "Любой (исторический) сюжет социален". См.: B.Lyon, M.Lyon (eds.), *The Birth of Annales History. The Letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921 - 1935)*, Bruxelles: Académie Royale de Belgique, 1991, p.121.

<sup>4</sup> Фраза из письма М.Блока к А.Зигфриду 1928 года, цит. по: P.Leuilliot, "Aux origines des 'Annales d'histoire économique et sociale' (1928). Contribution à l'historiographie française", *Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel*, Toulouse: Privat, 1973, vol.2, p.318.

<sup>5</sup> C.-E.Labrousse, "Introduction", *L'Histoire sociale. Sources et méthodes*, Paris: P.U.F., 1967, p.2. R.Mousnier, "Problèmes de méthode dans l'étude des structures sociales des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles" *La plume, la faucille et le marteau*, Paris: P.U.F., 1970, p.13.

<sup>6</sup> N.Koposov, "L'Univers clos des signes. Vers une histoire du paradigme linguistique", M.Godet (ed.), *De Russie et d'ailleurs. Pour Marc Ferro*, Paris: Institut des Etudes Slaves, 1995, p.501-512.

<sup>7</sup> L.Febvre, *Combats pour l'histoire*, p.21.

<sup>8</sup> См. выступление Лабрусса в дискуссии на Римском конгрессе: *Atti del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Roma, 1955, Roma, 1957*, p.529.

<sup>9</sup> L.Febvre, *Combats pour l'histoire*, p.26, 72.

<sup>10</sup> C.-E.Labrousse, "Introduction", p.5.

- <sup>11</sup> L.Febvre, *Combats pour l'histoire*, p.72.
- <sup>12</sup> Как это справедливо замечает Ж.Нуарьель. См.: G.Noiriel, "Les enjeux pratiques de la construction de l'objet. L'exemple de l'immigration", C.Charle (ed.), *Histoire sociale, Histoire globale ?* Paris: MSH, 1993, p.105.
- <sup>13</sup> R.Koselleck, *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979, S.92.
- <sup>14</sup> R.Koselleck, *Vergangene Zukunft*, S.59.
- <sup>15</sup> О роли ментальной визуализации в формировании образа истории в XVIII веке см.: L.Gossman, "History and Literature", R.H.Canary, H.Kozicki (eds.), *The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding*, Madison (Wisconsin): The University of Wisconsin Press, 1978, p.16-17.
- <sup>16</sup> D.S.Milo, "Pour une histoire expérimentale, ou le gai savoir", D.S.Milo, A.Boureau (eds.), *Alter Histoire. Essais d'histoire expérimentale*, Paris: Les Belles Lettres, 1991, p.43.
- <sup>17</sup> Н.Е.Копосов, "Советская историография, марксизм и тоталитаризм. К анализу ментальных основ историографии", *Одиссей 1992*, Москва: Круг, 1994, с.51-68. N.Koposov, "Dos au vent. Une histoire sans surveillance", *Espaces Temps*, vol.59-61, 1995, p.224-230.
- <sup>18</sup> N.Koposov, "Vers l'anthropologie de la raison historique", C.Barros (ed.), *Historia a debate*, Santiago de Compostela, 1995, vol.1, p.263-268.
- <sup>19</sup> F.Braudel, *Ecrits sur l'histoire*, Paris, 1969, p. 112.
- <sup>20</sup> G.A.Miller, "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information", *Psychological Review*, vol.63, n.2, 1956, p.81-96.
- <sup>21</sup> G.Lakoff, *Women, Fire and Dangerous Things. What Do Categories Reveal About the Mind*, Chicago, London: The University of Chicago Press, 1987. M.Johnson, *The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason*, Chicago, London: The University of Chicago Press, 1986.
- <sup>22</sup> М.Блок, *Апология истории или ремесло историка*, Москва: Наука, 1973, с.99-100.
- <sup>23</sup> Несмотря на мечту Блока о создании "идеального языка" общепринятых и однозначных терминов, раздел о терминологии в "Апологии" показывает это с полной очевидностью. См. М.Блок, *Апология истории*, с.86-97.
- <sup>24</sup> L.Febvre, *Combats pour l'histoire*, p.58, 438.
- <sup>25</sup> Н.Гартман, "Проблема духовного бытия", *Культурология. XX век. Антология*, Москва: Юрист, 1995, с.632. M.de Certeau, "L'opération historique", J.Le Goff, P.Nora (eds.), *Faire de l'histoire*, Paris: Gallimard, 1974, vol.1, p.32.
- <sup>26</sup> T.Burger, *Max Weber's Theory of Concept Formation. History, Law, and Ideal Types*, Durham (North Carolina): Duke University Press, 1976.
- <sup>27</sup> E.Cassirer, *The Logic of Humanities*, New Haven: Yale University Press, 1961, p.137-140.
- <sup>28</sup> J.-C.Passeron, *Le raisonnement sociologique. L'espace non-poperien du raisonnement naturel*, Paris: Nathan, 1991, p.60-61.
- <sup>29</sup> Н.Е.Копосов, *Имена и классы, или как думают историки* (в печати).
- <sup>30</sup> P.Nora, "Dix ans de Debat", *Le Débat*, n.60, 1990, p.3-11.

- <sup>31</sup> J.Revel, "Une oeuvre inimitable", *Espaces Temps*, n.34-35, 1986, p.14.
- <sup>32</sup> "Eclatement de l'histoire" - формула с обложки первых томов издававшейся Нора серии "Библиотека истории". Эту формулу можно понять двояко - и как взрывное расширение (так понимал ее Нора), и как распад вследствие взрыва. "Emiettement de l'histoire" - диагноз, поставленный истории Франсуа Доссом в "Измельченной истории". См.: F.Dosse, *L'Histoire en miettes*, Paris: La Découverte, 1987.
- <sup>33</sup> R.Debray, *Le pouvoir intellectuel en France*, Paris: Ramsay, 1979. H.Hamon, P.Rotman, *Les Intellocrates. Expédition en haute intelligentsia*, Paris: Ramsay, 1981. Аналогичные мотивы проявились в те же годы и у критиков школы "Анналов": H.Coutau-Begarie, *Le phénomène "Nouvelle Histoire". Strategie et ideologie des nouveaux historiens*, Paris: Economica, 1983. F.Dosse, *L'Histoire en miettes...*
- <sup>34</sup> L.Stone, "The Revival of Narrative", *Past and Present*, n.85, 1979, p.3-24.
- <sup>35</sup> G.Noiriel, *Sur la "crise" de l'histoire*, Paris: Belin, 1996.
- <sup>36</sup> Характерна с этой точки зрения намеченная в двух редакционных статьях программа обновления "Анналов": "Histoire et sciences sociales: un tournant critique?" *Annales: Economies, Sociétés, Civilisations*, vol.43, n.2, 1988, p.291-294; "Tentons l'expérience", *Ibid.*, vol.44, n.6, p.1317-1323.
- <sup>37</sup> M.Gauchet, "Changement de paradigme en sciences sociales?" *Le Débat*, n.50, 1988, p.165-170.
- <sup>38</sup> F.Dosse, *L'Empire du sens. L'Humanisation des sciences humaines*, Paris: La Découverte, 1995.
- <sup>39</sup> C.Charle, "Essai de bilan", C.Charle (ed.), *Histoire sociale...*, p.209.
- <sup>40</sup> M.Gribaudi, A.Blum, "Des catégories aux liens individuels: l'analyse statistique de l'espace social", *Annales: Economies, Sociétés, Civilisations*, vol.45, n.6, p.1365-1402.
- <sup>41</sup> E.Grendi, "Micro-analisi e storia sociale", *Quaderni Storici*, vol.35, 1972, p.506-520.
- <sup>42</sup> См. выступление в дискуссии А.Дерозьера: C.Charle (ed.), *Histoire sociale...*, p.71.
- <sup>43</sup> F.Caron, "Introduction générale", C.Charle (ed.), *Histoire sociale...*, p.19-20.
- <sup>44</sup> G.Noiriel, *Sur la "crise" de l'histoire...*
- <sup>45</sup> L.Boltanski, L.Thevenot, *Les économies de la grandeur*, Paris: PUF, 1987.
- <sup>46</sup> A.Desrosieres, *La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*, Paris: La Découverte, 1993.



*П.Ю. Уваров*

## АПОКАТАСТАСИС: или ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ ИСТОРИКА

"Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что, вот: ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. ... Да если эдак и государю придется, то скажите и государю: в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский."

Всех людей можно разделить на две группы. Одним от этих слов хочется плакать. Другие – или посмеются (комедия все-таки) или пожмут недоуменно плечами (комедия, а не смешно). Но почему же для Гоголя так важно, чтобы мы узнали об этих интенциях Бобчинского, и, главное – о нем самом, о пустом, в сущности, человеке?

Когда долго препарируешь исторический источник (дневниковые записи, актовый материал, полиптики) и стараешься сделать его пригодным для сериальной истории, загоняя сведения в графы таблиц, готовя их для банка данных, то сталкиваешься с нарастающим сопротивлением материала. И вдруг делаешь открытие, что перед тобой – живые люди, со своими судьбами, своими неповторимыми особенностями – добродетелями, пороками и маленькими недостатками. И тогда внезапно возникает удивительное и незабываемое ощущение первого живого контакта – перед тобой реальный человек и сейчас произойдет что-то очень важное. Затем продолжаешь работу и возникает множество проблем, связанных чаще всего с оценкой репрезентативности материала ("Нет, вы скажите, а сколько процентов от этой выборки думали и поступали именно таким образом?"), с механизмами генерализации (как перейдя к общему сохранить и передать ценность уникального-частного и, с другой стороны, как из этой уникальности можно вообще извлечь что-либо общее?). Но за всеми хлопотами остается незабываемым изумление от первого контакта. И по здравому размыш-

лению непонятно, чему удивляешься больше: самому ли контакту или своей реакции на него. Ведь, в сущности, что здесь необычайного – разве историк не знал заранее, что за источником стоят конкретные люди?

Не осмелился бы выносить на обсуждение свои эмоции, если бы работа в нашем семинаре не доказала, что нечто подобное испытывают некоторые (однако далеко не все) из моих коллег. На заседаниях часто можно было услышать фразу: "что может быть для человека интереснее, чем другой человек", или термин: "оживление бумажных человечков", или декларацию: "моя задача увидеть людей XVI века во плоти", а то и крик души одного из самых уважаемых наших участников: "да вы что, не понимаете, что перед вами живые люди!". И в ответ на этот "оживительный пафос" неизменный и резонный вопрос другой части семинара – "а зачем?". Вытаскивать из небытия, материализовать и сообщать Петербургу и миру о существовании в истории Петра Ивановича Бобчинского можно и даже должно, но только если за этим стоит какая-то видимая исследовательская цель. Можно на его примере реконструировать тип мелкопоместного провинциального дворянина Николаевской эпохи или можно порассуждать о норме и отклонении в поведении личности в ту же эпоху, на худой конец – включить полученные данные в обширное просопографическое исследование. Но если же последующей генерализации не происходит, если усилия по реинкарнации Петра Ивановича являются самоцелью, если историк будет лишь набирать побольше информации о каждом встреченном ему персонаже, то под угрозой оказывается сам метод микроисторического, да и всякого другого исторического исследования. Тогда лучшим образцом для историка может считаться телефонная книга.

И это – разговор "среди своих", а когда же приходится выходить на более широкую аудиторию, пусть даже состоящую из коллег-историков, но не вкусивших еще плода от древа микроистории, то здесь недоумения будет куда больше, и даже в альманахе "Казус" увидят в лучшем случае коммерческое предприятие, популяризацию, потакание вкусам толпы.

Возражать на это можно долго и со вкусом. Сослаться на сенсационный успех у публики "Песни о Волге" Резо Габриадзе, где Сталинградская битва дана на фоне трагедии муравья, потерявшего своего ребенка в бомбежке! Указать на возрождение биографического жанра – как нового, обогащенного методологическими находками последних лет, так и вполне традиционного, проверенного веками. Напомнить о таинственном "мормонском проекте", о котором вполголоса судачат архивные работники во всем мире (зачем это предприимчивым американцам из штата Юта понадобились "Мертвые души" наших предков?) И, наконец, сослаться на пространную библиографию всевозможных "Geschichte

von unten", "microstoria", "personal history". Последний ряд аргументов, как правило, оказывается решающим, ведь историографическая ситуация, историографическая мода – это то, что магически действовало на коллег еще в советские времена.

Итак, разочарование в глобалистских моделях, привлекательность "человеческого измерения", конец великих идей и идеологий, повлекший за собой неизбежное "мелкотемье". Все это верно, но в данном случае недостаточно. Ведь "комплекс Бобчинского" (назовем так этот шок, вызванный осознанием, что перед тобой – живой человек, и рождающий стремление к максимально полному восстановлению этого человека) возникал и у меня, и у моих коллег независимо от знакомства с трудами Карло Гинцбурга и, возможно, был свойственен нашим предшественникам задолго до микроисторических парадигм.

Весьма поучительно обратиться к поискам, которые вел в этом направлении столь чтимый ныне Л. П. Карсавин.

В монографии "Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках преимущественно в Италии" (1915) он декларирует свою задачу

"выделить, а затем изучить объект религиозности в XII-XIII вв. Он останется в вере за вычетом ее окаменевших формул с одной стороны, за вычетом результатов чисто богословской работы над ней, с другой. ... При этом изучению подлежит не религиозность того или иного представителя названной эпохи, великого или малого, а религиозность широких кругов, которая проявляется и в великих и в малых"<sup>1</sup>

Это дало возможность А.Л. Ястребицкой в свое время справедливо поставить вопрос о его приоритете в изучении "ментальности".<sup>2</sup> Конечно, видеть в нем провозвестника школы "Анналов" и соратника Марка Блока не более обосновано, чем в случае с творчеством Эрнста Канторовича<sup>3</sup> – слишком различными были методологические и мировоззренческие установки. Однако ориентация на изучение коллективных религиозных представлений вполне очевидна. Этому же способствует введенное Карсавиным понятие "средний человек", перекликающееся с "идеальными типами" Вебера. Любопытный парадокс модному ныне "исключительному нормальному" можно найти в карсавинском понятии "типичский человек". Сюда относятся выдающиеся личности, которые оказываются особо полезными и удобными для познания среднего. "В них та или иная черта достигает высшего напряжения и развития, а следовательно – и наглядности." По-

добное наблюдение повторялась и повторяется сторонниками микроисторических подходов – но трудно не заметить, что и в данном случае Лев Платонович отнюдь не склонен увлекаться уникальностью чьей бы то ни было личности. У гения "есть и некоторые только ему присущие черты. Но они нас не занимают и не входят в область нашего изучения"<sup>4</sup>. И как бы ни оценивать взгляды и методы его в тот период, им вполне можно переадресовать те упреки в обезличенности, которые бросаются сейчас не только социальным историкам, но и историкам ментальностей.

Прошло всего пять лет (но каких пять лет!) и во "Введении в историю", являвшимся по замыслу автора руководством для начинающего историка, акценты уже расставлены иначе. Карсавин не отказывается от своих любимых детищ – от "среднего человека эпохи" и от "типического человека", но они занимают в его новой системе положение явных аутсайдеров. О них упомянуто буквально на последних страницах этой брошюры и говорится вскользь, с глухой отсылкой к книге 1915 года. Автора в первую очередь занимает теперь мысль совсем иного рода:

"История изучает единичный процесс развития во всей его конкретности и единичности не как экземпляр развития родового и не как родовой или общий процесс, проявляющийся в частных и являющийся для них "законом"... Объект исторического исследования всегда представляет собою некоторое органическое единство как таковое, отличное от окружающего и в своем образии своем незаменимое – неповторимо-ценный момент развития"<sup>5</sup>.

Иными словами г-н Бобчинский мог бы быть ценен для Льва Платоновича сам по себе, а вовсе не как частный случай действия глобальных законов и не как объект для генерализации. Более того, начинающему историку так прямо и рекомендуется заняться изучением тайн его души в первую очередь: "предметом истории является изучение социально-психического процесса. Понимание его, как и понимание чужой души возможно только путем сопереживания или вживания в них"<sup>6</sup>. Вчувствование (Einfühlung), сопереживание лежит в основе исторического мышления. Подкрепляя эту декларацию ссылками на мнение самоновейших по тем временам Зиммеля и Дильтея, Карсавин категорически не согласен с субъективизмом последнего. Субъективные переживания и самоощущение историка никоим об-



разом не должны отвлекать от главного :

“Речь идет не только и не столько о субъективном переживании исследователя, но о реальном проникновении в душевный процесс, подлинное слияние с ним, как бы ни называлось такое вживание в чужую индивидуальную или коллективную душу”. “Несомненно, что изучая данный конкретный процесс, мы постигаем строение единого исторического процесса как единства. И постигаем не путем отвлечения от данной конкретности, а путем вживания в само это единство.”<sup>7</sup>

Как организовать это “вживание” можно только догадываться. Возможно, то была дань интуитивизму - ведь коллега Карсавина П.М. Бицилли записал его в заядлые сторонники Бергсона<sup>8</sup>. И, действительно, интуиции историка Карсавин отводит большую роль. Но это не какое-то врожденное качество. Тем Лев Платонович и привлекателен для нас, что он не был чистым методологом или историософом. Проведя много времени в архивах, он понимал, что мастерство историка и его интуиция рождаются от того, что он уже “кончиками пальцев” знает материал, погружен в него. И подробные инструкции о том, как писать историю ему, в сущности, не нужны. Отсюда - его скептическое отношение к пуризму “французских методологов, пытающихся спасти научность истории предъявлением ригористических и зачастую невыполнимых требований.”<sup>9</sup>

Но для “вживания” в социально-психическое единство одного упорного труда и протертых в архивах брюк недостаточно - нужно еще некое озарение:

“при понимании чужой душевной жизни как целого, при постижении чужой индивидуальности в ее единстве накопление наблюдений само по себе дает еще очень мало - можно знать о другом весьма большое количество фактов и все-таки его не понимать. Напротив, часто одна какая-нибудь черта, даже незначительная частность: тон голоса, движение, поворот головы и т. п. позволяют сразу охватить и понять всю личность, всю индивидуальность этого человека, почти чудесным и неожиданным образом постичь необходимость его внут-

реннего развития, подлинно понять его. Такое понимание другой индивидуальности возможно и при малом с нею знакомстве, по “первому впечатлению” но, как правило, оно появляется в процессе наблюдения, освещая и объединяя познание подробно и отрывочно...”<sup>10</sup>

Уверен, что многие из моих коллег с энтузиазмом согласятся с подобными наблюдениями. Причем Лев Платонович вполне осознано балансирует на той грани, что отделяет историка от литератора. В 1920 он опровергает Дильтея: “конструирование иного душевного процесса по аналогии с моим и только из моего ... сближает историю с поэзией, но не дает возможности серьезно отнестись к выводам истории и обосновать ее как науку”.<sup>11</sup> Но три года спустя в фундаментальной и уже куда более сложной “Философии истории”, он охотно делает шаг навстречу литературе, поясняя вводимое понятие “момента всеединства”:

“Хорошим и вдумчивым художникам-романистам, историкам и даже читателям написанных теми и другими произведений не трудно пояснить взаимоотношение моментов во всеединстве - мы познаем человека не путем простого собирания сведений и наблюдений о нем: подобное собирание, само по себе, совершенно бесполезно, или полезно лишь как средство сосредоточиться на человеке. Во время этого собирания, а часто и при первом знакомстве “с первого взгляда” мы вдруг, внезапно и неожиданно постигаем своеобразное существо человека, его личность. Мы заметили только эту его позу, эту его фразу, и в них, в позе или фразе, сразу схватили то, чего не могли уловить в многочисленных прежних наблюдениях, если таковые у нас были. И не случайно любовь, которая есть вместе с тем и высшая форма познания, возникает внезапно. Определить, передать словами схваченное нами “нечто” мы не в силах.”<sup>12</sup>

Разрыв, который наметился между ним и сообществом коллег-историков уже в 1915 году, стал, таким образом, необратимым. Признаться в том, что историк должен полюбить объект своего исследования, что-

бы понять его – подобные откровения не прощаются ученым сообществом<sup>13</sup>.

Но рассорившись со всеми (и с нахрапистыми марксистами и с чопорной петербургской профессурой), автор, наделенный от природы едким критическим умом, по-прежнему снисходителен к бывшим коллегам. Декларируя необходимость методологии, системы четких исторических понятий, он признает, что у большинства историков (и блестящих историков) нет не только системы понятий, но и системы мировоззрения, но это им нисколько не мешает. Ведь историк довольствуется интуицией, называя ее чутьем, “девинацией”<sup>14</sup>.

Упорное нежелание историков определять исследуемую историческую индивидуальность, будь то “французский крестьянин”, “немецкий народ” или “Япония” – “может побудить теоретика истории к весьма решительному шагу. – Он скажет, что история не должна считаться наукою, а если хочет быть ею – должна усовершенствовать свой метод. Он, может быть – теоретики вообще отличаются категоричностью и смелостью своих действий – выдумает новую науку. Историки же теоретика и слушать не станут, а будут продолжать свое дело”<sup>15</sup>. И такую беззаботность Карсавин не осуждает, поступая с собратями куда великодушнее, чем его современник (и во многом единомышленник) – Коллингвуд, настаивавший на том, что всякий историк должен быть еще и хорошим философом<sup>16</sup>.

Пока все сказанное, как представляется, вполне близко и понятно участникам нашего семинара, где мы обсуждаем примерно те же проблемы. Но что же все-таки произошло между 1915 и 1920 годами, почему Лев Платонович вдруг уверовал в приоритеты изучения неповторимой индивидуальности, почему он отныне не боится распада истории на мозаику не связанных фактов и фактиков, почему он, знаток средневековой философии, не опасается теперь номиналистического искуса? Дело в том, что в этот период ему открылось величие идеи Абсолюта как всеединства.

“Чтобы могли существовать развитие и наука о нем, субъект развития должен быть всевременным и всепространственным единством... Единство субъекта должно совмещаться с многообразием его проявлений, быть множественностью”<sup>17</sup>.

...Мы познаем и всеобщую значимость данного процесса, не в смысле причиненной его связанности с другими, а в смысле укорененности его в всеисторическом. Поэтому индивидуальность – личная или коллективная является лишь моментом

всеединства. Но это не мало, это придает любому объекту огромную ценность. “В истории всякое, даже самое частное исследование взаимоотношений между несколькими рукописями одного источника само собою будет исследованием всеисторического характера и возможно только на почве его связи с познанием целокупности социального развития.”<sup>18</sup>

Достаточно подняться до осознания этого всеединства, и историк освобождается от груза неразрешимых ранее проблем, снимая противоречия общего и частного, объективного и субъективного. “Через постижение самого частного и ограниченного процесса происходит приобщение наше к нему и в нем к единому всеисторическому процессу развития или, вернее опознание нами нашего с ним и в нем единства. Этою живою связью нашей со всем прошлым и со всем социально-психическим развитием и объясняются обогащение нашего сознания в исторической работе и тот интерес, с каким мы относимся к фактам минувшего”<sup>19</sup>.

Не знаю, как моих коллег, но меня, например, все это вполне устраивает. Да и путь к постижению этой истины вполне понятен и достоин уважения. Творческая работа в архивах вызывает у молодого исследователя неудовлетворенность господствующими позитивистскими и нарождающимися неопозитивистскими интерпретационными моделями. Предвосхитив интерес к ментальности и к “исключительному нормальному”, русский историк на этом не останавливается, но в годы социальных катаклизмов и личных испытаний продолжает гносеологические искания и обосновывает собственную метафизическую систему, основываясь на традициях неоплатонизма и на средневековом философском наследии, (в особенности – на учении Николая Кузанского об “exglomeratio et conglomeratio centri”, о свертывании и разворачивании Абсолюта как Всеединства). Лежащее в основе системы Карсавина онтологическое отношение Бога и человека дает возможность обосновать исключительную ценность индивидуального для понимания органического единства исторического развития.

Какая величественная исследовательская перспектива! Историк может, отбросив всякие сомнения, заняться казусами, персоналиями и придать, наконец, фигуре Петра Ивановича Бобчинского подобающие ей космические масштабы в качестве момента стяженного всеединства; и теперь профессиональное мастерство заключается в том, чтобы показать укорененность его в эпохе и эпохи в нем, а не гоняться за призрачными “причинами” и “факторами”. Да, стены нашего семинара вполне можно было бы украсить лозунгом “Вперед, к Карсавину!”.

Но историографический хэппи-энд получился не слишком убедительным. Ведь сам автор, создав стройную систему и применив ее в замечательной книге о Джордано Бруно,<sup>20</sup> повел себя затем несколько странно. Всесторонне оснащенный, этот одаренный исследователь, историк милостью Божией, казалось, должен был горы свернуть. Да и биография его сложилась счастливее, чем у большинства современников. Советская власть добралась до него лишь четверть века спустя, ему удалось остаться профессором Всеобщей истории в университете Витаутаса Великого, сложностей с работой в архивах и библиотеках у него не было. Вот только как “практикующий историк” он кончился. Его философские и богословские труды, его “Поэма о смерти”, его диалоги и уже лагерные записи глубоки и талантливы, но историку там пожить нечем.<sup>21</sup>

Что же произошло, биографический перелом или органическая эволюция талантливого и ироничного историка в самобытного деятеля русского религиозно-философского Возрождения?

Проницательный М.А.Бойцов отмечает значение экспериментальных стилизаций Карсавина – “*Saligia*” и “*Noctes petropolitanae*”<sup>22</sup> и вспоминает о страстном его увлечении театром. “Не отсюда ли и идея вживания в прошлое как главного средства его познания?”<sup>23</sup>. Но как истинный сын своего Серебряного века Карсавин не мог видеть в игре лишь игру, а в театре лишь театр. Ведь “оргиастические барабаны”, которые по мысли Стефана Георге (гуру Эрнста Канторовича) должны были преобразовать мир, были вполне созвучны пророчеству Вячеслава Иванова – “страна покроется фимелами и оркестрами”. Культурный контекст эпохи подсказывал, что игры Льва Платоновича свидетельствовали о его куда больших амбициях, чем чисто академические штудии. Хороший историк в России всегда, увы, больше, чем историк.

Но вернемся к “Введению в историю”. Критикуя там теорию прогресса (что ныне также весьма популярно) он пишет, что сей идеал, то есть полнота жизни человечества во всех ее проявлениях и счастье, несостоятелен:

“для того, чтобы стать нравственно приемлемым, идеал должен сделаться достоянием всех людей, как еще не рожденных, так и нас, и умерших. С другой стороны, из него нельзя устранить ни одного из достижений прошлого, которые в силу их неповторимой и конкретной индивидуальности, не могут быть так же воспроизведены грядущими поколениями и должны быть реальностью, а не образами воспомина-

ния. Все это достижимо лишь во всевременном и всепространственном реальном синтезе исторического развития”.<sup>24</sup>

Незабвенная коллежская регистраторша Коробочка при этих словах непременно перекрестилась бы: не просто сохранить добрую память о Бобчинском, но его самого сделать *реальностью*! Так и слышится ее вопрос: “Да как же, я, право, в толк-то не возьму? Нешто хочешь ты их откапывать из земли?” Петр Иванович, выходит, не зря просил замолвить за него словечко – не только его неповторимая индивидуальность важна для нас и для наших целей, но и наш скромный труд, оказывается, очень важен и для него. А Карсавин продолжает:

“Развертывающийся ныне перед нами и воспринимаемый нами во времени и в пространстве процесс, процесс, удручающий нас видимым погибанием и умиранием, должен стать для нас реальным во всей своей конкретности, во всех своих моментах. А это возможно только если “мы изменимся”, если преодолеем пространство, если “небеса совьются в свиток”, а время преобразуется в вечность. И такое понимание идеала или “прогресса” не только согласуется с принципами истории, из них вытекая, но и устраняет все отмеченные нами противоречия. Оно, вместе с тем оправдывает смысл и назначение всякого момента истории и всякого индивидуального труда ... Оно, наконец, позволяет понимать историческое познание как приближение к истинному всевременному познанию и приобретение ко всевременному единому бытию”<sup>25</sup>.

Не надо было быть медиевистом, чтобы в 1920-м году чувствовать, что небеса вот-вот совьются в свиток. И все же не эсхатологический ужас перед “Концом истории” (и не по Фукуяме, а по Асахаре), занимает мыслителя, равно как удручают его не ужасы большевизма, голод, или тиф сами по себе, а смерть как явление, как философская проблема. Смысл деятельности историка, да и всего человечества – в победе над смертью.

Через десять лет Карсавин написал прекрасное произведение – “Поэму о смерти”. Там можно найти все старые идеи бывшего историка: и “вчувствование” – поэма открывается образом женщины на костре, и всеобщую связь людей, и важность индивидуального для всеоб-

шего, и проклятие смерти. "Какие-то нежные тоненькие ниточки связывают всех нас, и живых и мертвых весь мир, становятся все тоньше и не рвутся. Не ниточки – тоненькие жилки, по которым бежит наша общая кровь. Нам неслышимые вздохи сливаются в один тяжелый вздох. Наши слабенькие стоны – в невыносимый вопль всего живого, в бесильные проклятия страданиям и смерти. Разве необходимо, чтобы стон человечества был одноголосым? Он может быть и полифоничным. Так еще величественнее"<sup>26</sup>. И, конечно, в этом лабиринте любовь становится путеводной нитью, и он рассуждает о судьбе своей возлюбленной Элените после смерти:

"Нет, не существует души, которая вместе с тем не была бы и вечно умирающим телом. Тело же твоё лишь один из центров и образов безграничного мира... В другом мире и в другой плоти не может быть этот момент души. Только из этого тела сознаю я свой мир. Только в этом моем теле он так сознает себя и страдает..."

"У Элените как у Габсбургов, несколько выдается нижняя губа, и на верхней маленькая бородавка. Найдется ли этим "недостаткам" место в "совершенном" эфирном теле?

– Если захочешь, будут тебе и Габсбургская губа и бородавка.

Хочу, чтобы она во всем была лучше других. Но хочу, чтобы она осталась и такою, какой была. Придумай-ка подобное тело! При одной мысли о нем смутится даже св. Григорий Нисский"<sup>27</sup>.

Этот "Великий каппадокиец" вспоминается Львом Платоновичем в наивысший момент своего творчества далеко не случайно. Григорий Нисский чрезвычайно важен для мировоззрения Карсавина. В 1926 в Париже он издает учебное пособие для русской семинарии: "Святые отцы и учителя церкви", где ему были посвящены лучшие страницы. Вот как излагаются взгляды Григория Нисского:

"Все мировое развитие завершится "восстановлением всяческого" (*αποκατάστασις τῶν πάντων*). Однако земное бытие не теряет при этом... своего единократного и центрального значения... Когда все люди родятся, но не все еще умрут, оставшиеся

в живых изменятся, а мертвые воскреснут: и те и другие для возвращения в нерасторжимое единство ранее объединенного в одном целом и по разложению вновь соединившегося. Ведь, как пишет святой, если управляющая вселенною Сила даст разложившимся стихиям знак воссоединиться, душа восстановит цепь своего тела. Причем каждая часть будет установлена вновь согласно с первоначальным обычным для нее состоянием и примет знакомый ей вид... Воскресшее тело будет телом индивидуальным. – "Что для меня воскресение, если вместо меня возвратится к жизни кто-то другой? Как узнаю себя самого в себе уже не себя?" И лишь по восстановлении и очищении всего наступит "день осьмой", "день великий". Истинно и всецело будет Бог "всяческим во всяческом" "Система Григория Нисского – одно из высших и самых глубоких индивидуальных осмыслений христианства, далеко еще не понятое и не оцененное" – делает вывод автор.<sup>28</sup>

Святой отец напряженно думал над проблемами апокатастасиса, объясняя, например, каким образом возможно восстановить тело умершего, после того как оно разложилось: в посмертном рассеянии душа как бы охраняет своей метой каждую частичку бывшего человеческого единства. И подобных рассуждений у Григория Нисского немало. Но насколько важны эти сюжеты для "раскрытия православия" будущим священникам?

Современник и оппонент Карсавина, оказавшийся более него удачливым в преподавании богословия парижским студентам – В.Н. Лосский говорит об апокатастасисе лишь в одном из своих трудов и причем очень кратко<sup>29</sup>

После воплощения и воскрешения смерть не спокойна: она уже не абсолютна. Все теперь устремляется к *αποκατάστασις τῶν πάντων* "восстановлению всяческих", к полному восстановлению всего, что разрушается смертью, к осиянию всего космо-

са славой Божией, которая станет "все во всем". Из этой полноты не будет исключена и свобода каждой личности, которой будет даровано божественным светом совершенное сознание своей немощи.

И не так уж и велики расхождения его с Карсавиным, но ясно, что Лосского интересуют вовсе не подробности воскрешения, а христологические проблемы, а Григорий Нисский упоминается им далее, но уже совсем по иному поводу. Вероятно, такая позиция канонически более оправдана. Ведь и сам Карсавин не без сожаления вынужден был признать, что учение об апокатастасисе не было "признано точным выражением христианской истины. Оно даже косвенно оказалось опровержено в "оригенистских спорах" и в канонах... подписанных патриархами"<sup>30</sup>

Почему же слова апостола Павла: "Последний же враг истребится - смерть", "Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают..." (I Кор, 15 - 26, 29) и тексты Григория Нисского производят на двух авторов столь разное действие? Как мне представляется, в небольшой степени потому, что Лосский - логик и богослов, а в Карсавине жив еще - историк-профессионал. Но насколько по-новому могут зазвучать для нас теперь его слова о "вживании" и "восстановлении по частям"! Восстановление необходимо для полноты всеобщего, для конечной победы над смертью, для осуществления конца истории, и историку, похоже, отводилась в этом деянии особая роль.<sup>31</sup>

Не берусь вторгаться в эту область, но смею предположить, что Лев Платонович, постоянно нарушавший правила игры, принятые у историков и философов и в богословии оказался несколько удален от православной ортодоксии.

Другой мыслитель, отпавший от ортодоксии, но на сей раз - от католической, Пьер Тейяр де Шарден, начиная совершенно с иных исходных позиций, приходит к выводам, почти дословно совпадающим с карсавинскими. Можно спорить о том, насколько правомерно сближение его "пункта Омега" со Всеединством, но столь же едко критикуя теорию прогресса, как и его ровесник Карсавин, французский мыслитель уверен, что отказ от восстановления индивидуальных сознаний будет означать фиаско эволюции.

"Радикальный порок всех форм веры в прогресс, когда она выражается в позитивистских символах, в том, что они не уст-

раняют окончательно смерти..."<sup>32</sup>

Если послушать учеников Маркса, то человечеству достаточно накапливать последовательные достижения, которые оставляет каждый из нас после смерти: наши идеи, открытия, творения искусств... Не является ли все это нетленное лучшей частью нашего существа? ...Но таким вкладом в общность мы передаем далеко не самое ценное. В самых благоприятных случаях нам удастся передать другим лишь тень себя. Наши творения? Но какое из человеческих творений имеет самое большое значение для коренных интересов жизни вообще, если не создание каждым из нас в себе абсолютно оригинального центра, в котором универсум осознает себя уникальным, неподражаемым образом, а именно нашего "я", нашей личности? Более глубокий, чем все его лучи, сам фокус нашего сознания - вот то существенное, что должен вернуть себе Омега, чтобы действительно быть Омегой.<sup>33</sup>

Роль двигателя на пути к Омеге отец Пьер отводит любви - "ключевой космической энергии". И ссылается он на особо авторитетного для Карсавина Николая Кузанского. Кстати, оба исследователя начинали свой путь с общего увлечения Анри Бергсоном.

Представляется, однако, немаловажным, что Тейяр де Шарден - палеонтолог с солидным стажем полевых работ. Родство его с Карсавиным - в том, что оба начинали генерировать свои метафизические теории только после того, как долго трудились над восстановлением исчезнувших особей и индивидуумов по фрагментам.

Но помимо некоей внутренней логики творчества Карсавина, продиктованной его изначальной профессией, в его взглядах с легкостью можно обнаружить мощное влияние того самого "культурного фонда", расхожих идей, к изучению которых он сам и призывал в своих ранних работах.

Для русской культуры, в том числе и для культуры "Серебряного века" оказалось чрезвычайно значимой идея, наиболее полно сфор-

мулированная в "Философии общего дела" Николая Федорова.

Легко было Карсавину и Тейяру де Шардену критиковать моральное несовершенство теории прогресса - ведь они занимались этим тогда, когда XX век уже явил свой оскал. Федоров же пришел этому в самый разгар позитивистского оптимизма, еще в 60-70-х годах прошлого века.

Прогресс состоит в сознании сынами своего превосходства над отцами и в сознании живущими своего превосходства над умершими. Но в то же время он - является сознанием своего полного ничтожества перед смертью, перед слепой, бесчувственной историей. Цель прогресса - развитая личность служит лишь еще большему разъединению людей... Подлинный прогресс требует воскрешения"...<sup>34</sup>

Воскресение мертвых должно наступить не в конце времен, а стать результатом сознательной деятельности человечества, сплотившегося в этом единственно великом "Общем деле", где "все живущие должны быть историками, - а все умершие предметом истории, неотделимой от естествознания и естествоуправления. То будет всецельность, воскрешение и преображение мира".

Естественная череда смертей нормальна, пока не пробудилось сознание. Но человеческое сознание и начинает свое пробуждение с острого чувства своей индивидуальности, и с глубокого страдания от утраты другого. Уничтожение человеческого "я", личности как неподменного и нерасторжимо духовно-телесного единства, наделенного уникальным самосознанием, ощущается человеком как трагическая катастрофа, ставящая под сомнение разумность всего порядка вещей.<sup>35</sup>

Казалось бы, в отличие от индивидуального человека бесконечное будущее человечеству, как сущности, наделенной разумом и духом, гарантировано. Однако оказывается, что онтологическая судьба человечества в целом никак не может быть отделена от судьбы единичных людей. И не решив этой проблемы их восстановления, человечество неизбежно погибнет в результате энтропии, всеобщего рассеивания.

Опираясь на Священное писание и на патристику, на громадный пласт философского наследия и на естественно-научные данные Федо-

ров разрабатывал всесторонний план преобразования мира - рисуя вполне конкретные пути к реальному воскрешению, к размещению воскресших, к организации новой жизни в преображенном обществе. Самое удивительное, что большинство неразрешимых проблем материального плана, на которые указывали Федорову скептики, современной наукой вполне решаемы, если уже не разрешены.

Величие идей "Общего дела" зачаровывало Достоевского и Толстого, Владимира Соловьева, как к родному к нему отнеслись символисты, русские космисты, Вернадский, Чижевский, Циолковский, футуристы - и первый среди них Маяковский, и столь разные люди как Андрей Платонов и Борис Пастернак. Этот список можно продолжать, подверстывая в него все новые имена и деяния, вплоть до балзамирования вождя мирового пролетариата.

В этой блестящей перспективе Петру Ивановичу Бобчинскому суждено было воскреснуть не под пером историка, не в конце времен, не в пункте Омега, а в самом скором будущем, в лаборатории генной инженерии под наблюдением доктора Збарского. Брр!

Но для нас важно другое. Федоров не просто всему роду человеческому сулил овладение профессией историка. Он и сам был "из наших", из практикующих историков. Начав с преподавания истории и географии в школе, он прославился как бессменный библиограф Румянцевского музея. И он был гениальным библиографом, лучшим не только в России, но, по всей видимости, и во всей Европе, намного опередив время и в области науки о сохранении информации.

Продумывая целесообразную систему организации письменных памятников прошедшего и происходящего, расставляя тома, он задался целью увидеть живых людей, создавших эти книги - гениев и бездарностей, талантов и посредственностей, умных и неумных, благородных и низких. Он планировал организовать работу библиотек календарным порядком по дням смерти авторов "по принципу ежедневного поминовения". Он пропагандировал сухую науку библиографии и архивоведения:

"Ведь что такое на деле библиография: в случае смерти автора на книгу должно смотреть как на останки, от сохранения



коих как бы зависит самое возвращение к жизни автора... Представьте себе, что встали из гробов творцы, и каждый из них, указывая на свое сочинение, как бы демонстрируя его обложку, призывает всех к его прочтению и исследованию... Если хранилище книг сравнить с могилой, то чтение, или, точнее – исследование, будет выходом из могилы, а выставка – как бы воскресением”<sup>36</sup>.

Таким образом “профессиональная компонента” в его учении была достаточно сильной. Но, как говорил все тот же ранний Карсавин, знание выдающейся личности (“типического человека” по его терминологии) в том и состоит, что он сказал то, что от него хотели услышать, выразил те идеи, которые были разлиты в обществе. Каждый, кто сталкивался с идеями Федорова, поражался их созвучности неким сокровенным своим чувствам. И, действительно, идея обретения всеединства человечеством, любовно занятого Общим делом – рукотворным апокатастасисом, казалась укорененной в массах в не меньшей степени, чем другая часть апокалиптической программы – борьба со злом и построение рукотворного Тысячелетнего царства.

Приведу лишь один пример. В цикле рассказов Горького “По Руси” есть один, носящий характерное заглавие – “Кладбище”. Именно там чудаковатый провинциальный поручик Савва Хорват сбивчиво увещевает молодого Пешкова:

Представьте, что каждый город, село, каждое скопление людей ведет запись делам своим. Так сказать – “Книгу живота”. И – пишется все. Все, что необходимо знать о человеке, который жил с нами и отошел от нас... Жизнь вся насквозь – великое дело незаметно-маленьких людей, не скрывайте их работу, покажите ее... Я хочу, молодой человек, чтобы ничто, достойное внимания, не исчезло из памяти людей. А в жизни – все достойно вашего внимания. И – моего! Жизнь недостаточно уплотнена и каждый из нас чувствует себя без опоры в ней именно потому, сударь мой, что мы невнимательны к людям...”

Но что там пролетарский писатель, когда такие titаны, как Толстой и Достоевский стремились завязать контакт с Федоровым – на-

столько высказанная им идея соответствовала тому, что они чувствовали и писали задолго до того, как прослышали о чудаковатом московском библиотекаре. В лице этих глыб сама классическая русская литература спешила засвидетельствовать свое почтение “Общему делу”.

Вот и настала пора вернуться к Гоголю, огласившему сокровенное желание Петра Ивановича Бобчинского в самый, казалось бы, неподходящий для того момент. Все это не случайно. Ведь не пеньку, не ворвань, а именно Мертвые души скупает Чичиков. Торжественно он извлекает их на свет Божий из заветной шкатулки:

Когда он взглянул потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особый характер, и через то, как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами... Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностью – ни одно из качеств мужика не было пропущено: об одном было сказано: “хороший столляр”, другому приписано было “смыслит и хмельного не берет”. Означено было также обстоятельно, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: “отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор”. Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: “Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные мои, подельвали на веку своем? как перебивались? И глаза его невольно остановились на одной фамилии, это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке...

Далее следует незабываемая серия восстановлений жизненного пути Степана Пробки, Максима Телятникова, Елизавет Воробья, и многих других.

Можно было бы вспомнить о начальных шагах Гоголя на историческом поприще и на этом основании счесть его еще одним "из наших", да совесть не позволяет. Дело в том, что воскресительный пафос неотделим от его писательского дара и той величественной задачи, которую он уже давно поставил перед собою. По мнению Абрама Терца "его поэма - это купчая крепость, заключенная на освобождение человечества от смерти, на овладение миром с помощью слова. Жаль, сделка не состоялась...." И еще: "в Гоголе явлена забытая современной словесностью связь с изначальной магией, чем некогда промышляло искусство, чем долго оно оставалось и, быть может, еще остается где-то в глубине души по скрытой, внутренней сути, представленной так наглядно в творчестве Гоголя. В нем сильнее, чем в ком-либо, проступала темная память о волшебном значении ныне безвредных и ничемных процессов. Отчего и художник в нем без конца раздирался страхами и обязанностями потерявшего управление над своими чарами знахаря, действовавшего в условиях, когда его наваждения рассматривались всеми по классу эстетики и фантазии"<sup>37</sup>. И по классу истории, - добавим мы *pro domo suo*. Впрочем, нельзя на слово верить Терцу! Это, может быть XIX век забыл о связи слова, литературы и истории с магией, а XX век о ней очень даже вспомнил. Но не спорить же сейчас о постмодернизме...

Возьмем новейший пример. Андрей Макин, "писатель земли французской" описывает переживания отрока из глухого заволжского рода, созерцающего трех красавиц с пожелтевшей газетной вырезки:

"Вот тут-то мне на ум, вновь обратившийся к трем красавицам, пришла эта мысль. Я сказал себе: но ведь было же все-таки в их жизни это ясное, свежее осеннее утро. Эта аллея, усеянная опавшими листьями, где они остановились на какое-то мгновение и замерли перед объективом, остановив это мгновение... Да, было в их жизни одно яркое осеннее утро... Эти немногие слова совершили чудо. Ибо внезапно я всеми пятью чувствами ощутил мгновение, остановленное улыбкой трех женщин. Я очутился прямо в его осенних запахах. Ноздри мои трепетали... Да, я жил

полно, насыщено жил в их времени!"

Герой и дальше использует этот механизм - "Преображение трех красавиц позволяло надеяться, что чудо можно повторить. Я хорошо помнил ту простую фразу, которая его вызвала...", И он с успехом применяет этот прием, задумавшись после и о роли языка в "оживлении картин"...

"Шарлота говорила по-французски. А могла бы и по-русски. Это ничего не отняло бы у воссозданного мгновения. Значит, существует что-то вроде языка-посредника. Универсальный язык! Я снова вспомнил о том межъязычье, которое открыл благодаря оговорке, о "языке удивления". Тогда-то впервые мой ум пронизала мысль: а что, если на этом языке можно писать? Я сел на пол и закрыл глаза. Я ощущал в себе вибрирующую вещественность всех этих жизней..."<sup>38</sup>

То ли доверчивые французы пленились экзотикой истин, для русских литераторов вполне банальных, то ли вспомнили, что о чем-то подобном писал некогда Марсель Пруст, но, во всяком случае, Макин собрал беспрецедентный урожай литературных премий, начиная с высшей Гонкуровской. Для нас же важно почти полное его совпадение с рассуждениями Карсавина о "вчувствовании" и "сопереживании" как о необходимых шагах на пути к постижению Всеединства.

Я не призываю историков гнаться ни за Гонкуровской премией, ни даже за Букеровской. Более того, ни в коем случае, я не призываю их во всем следовать примеру Карсавина, Тейяра де Шардена и Федорова. Ведь стоило прекрасному историку Карсавину сформулировать свою метафизическую систему, как он покинул нашу науку. Талантливый палеонтолог, открывший синантропа, Тейяр де Шарден, после публикации своего "Феномена человека" остаток времени потратил на споры с Римом. Румянцевская библиотека осиротела, как только гениальный библиограф Федоров сформулировал, наконец, свою "Философию общего дела", приступив к ее пропаганде. Нет, мы и так потеряли достаточно своих коллег, эмигрировавших в область чистой эпистемологии.

Но, быть может, приведенные примеры и рассуждения помогут нам лучше понять себя. Понять, что помимо историографической моды и внутренней логики науки существует еще и естественная тяга историка

к оживлению прошлого, уходящая в седую древность нашей профессии, в те времена, когда мы, действительно, еще не отделились не только от литературы или от богословия, но и от магии. И помнить, что желание откликнуться на призыв Петра Ивановича Бобчинского чревато серьезными последствиями, манящими перспективами и возможными потерями. Но в любом случае – это “основной инстинкт” историка.

Вместо послесловия.

По окончании конференции возникает желание прояснить некоторые итоги. Отвечая на один из главных вопросов о сочетаемости микро- и макроподходов, я все же полагаю, что карсавинский опыт внушает некоторый оптимизм. Как представляется, подход, при котором генерализация и индивидуализация непротиворечиво дополняют друг друга, принципиально возможен. Поиски Л.П. Карсавина в этой области привели его к метафизике всеединства. Нам она может не нравиться но ее поиски принесли немало открытий – и репутация этого медиевиста у современных отечественных гуманитариев вполне заслужена (я уверен, что мои предшествующие рассуждения никоим образом не могут повредить авторитету Карсавина). Итогом его исканий явилась, к сожалению, лишь одна историческая книга – “Джиордано Бруно”, но книга эта прекрасна. И уже одно это дает повод для оптимизма – ведь сколько безупречных методологов органически не способны написать исследовательскую монографию и, ничего, ни у кого это нареканий не вызывает.

Синтез генерализирующего и индивидуализирующего подходов вполне осуществим в литературном творчестве. Нынче так много говорится о сближении истории с изящной словесностью (или о возвращении истории в ее лоно), что уже одно это также должно вселять надежду в сердца моих коллег.

И, наконец, можно ли написать “неконцептуальную” историческую работу? Боюсь, что она будет производить столь же грустное впечатление, что и “обезличенная история”. Концептуальная история с человеческим лицом, точнее – с лицами отдельных людей, взятых во всей их неповторимости, возможна ли она? Да даже если и нет, то путь к ней интересен и плодотворен.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Карсавин Л.П. “Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках преимущественно в Италии”, СПб., 1915. С.6.

<sup>2</sup> См. например Ястребицкая А.Л. Историк-медиевист – Лев Платонович Карсавин (1882-1952). М., 1991.

<sup>3</sup> Эксле О.Г. Немцы не в ладу с современностью. “Император Фридрих II” Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики...”// *Одиссей* 1996.

<sup>4</sup> Карсавин Л.П. Основы... С. 12-13

<sup>5</sup> Карсавин Л.П. Введение в историю (теория истории). Пб, 1920. С.33-34.

<sup>6</sup> Там же, С. 15.

<sup>7</sup> Там же, С. 26.

<sup>8</sup> Бицилли П.М. “Очерки теории исторической науки”. Прага, 1925.

<sup>9</sup> Он ссылался при этом на перевод широко известной книги : Ланглуа Ш., Сеньобос Э. Введение в изучение истории. СПб, 1899.

<sup>10</sup> Карсавин Л.П. Введение в историю... С. 25.

<sup>11</sup> Карсавин Л.П. Введение в историю... С. 16.

<sup>12</sup> Карсавин Л.П. Философия истории. СПб., 1993, С. 65.

<sup>13</sup> Так, например археологи, за редчайшим исключением, никогда не признаются в своих монографиях в том, что они очень любят ездить в экспедиции.

<sup>14</sup> Карсавин Л.П. Введение в историю... С. 29.

<sup>15</sup> Карсавин Л.П. Философия истории... С. 117-116.

<sup>16</sup> Киссель М.А. Р.Дж. Коллингвуд – историк и философ // Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. М., 1980. С. 424.

<sup>17</sup> Карсавин Л.П. Введение в историю... с.10. Надо отметить, что под “историческим субъектом” Карсавиным понималась и отдельная личность, и отдельная группа, и даже – целые государства и нации.

<sup>18</sup> Там же, с.26.

<sup>19</sup> Там же

<sup>20</sup> Джиордано Бруно. Берлин, 1923. Книга была написана значительно раньше и должна была печататься в Петрограде, но выдворение автора на “Философском пароходе” 1922 года сделало ее издание в России невозможным.

<sup>21</sup> Остается, правда, надежда, что когда-либо переведут с литовского его пространный курс “Истории европейской культуры”, но, по всей вероятности и он относится, скорее, к историософии, чем к конкретной истории.

<sup>22</sup> Карсавин Л.П. Saligia, или весьма краткое и душеполезное размышление о боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах. Пг., 1919; Он же, Noctes petropolitanae. Пг., 1922.

<sup>23</sup> Бойцов М.А. Не до конца забытый медиевист из эпохи русского модерна // Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992. С.14.

<sup>24</sup> Карсавин Л.П. Введение в историю. С.33.

<sup>25</sup> Там же

<sup>26</sup> Карсавин Л.П. Поэма о смерти. Каунас, 1932. С. 15.

<sup>27</sup> Там же, С. 24.

<sup>28</sup> Карсавин Л.П. Святые отцы и учителя церкви: Раскрытие православия в их творениях. М., 1994. С. 138-140.

<sup>29</sup> Лосский В.Н. Догматическое богословие // Очерк мистического богословия Восточной церкви. М., 1991 С. 286.

<sup>30</sup> Карсавин Л.П. Святые отцы... С. 138.

<sup>31</sup> Выражаю глубокую признательность Б.Е.Степанову, утвердившего меня в моих догадках относительно воскресительного пафоса Карсавина, которые

возникли еще при первом прочтении "Философии истории". Пользуюсь случаем сослаться на его диссертацию: Степанов Б.Е. Становление теоретической культурологии в трудах Л.П.Карсавина. Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата культурологии. М., 1998.

<sup>32</sup> Тейяр де Шарден П. Феномен человека М., 1987. С. 210.

<sup>33</sup> Там же, С. 208.

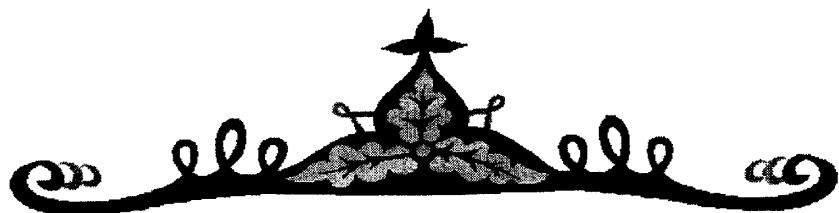
<sup>34</sup> Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 81. Примечательно, что для борьбы с идеей прогресса Федоров ссылается на Ренана и даже на Огюста Конта

<sup>35</sup> Семенова С. Николай Федоров: Творчество жизни. М., 1990. С. 151-152.

<sup>36</sup> Там же, С. 65-66.

<sup>37</sup> Синявский А.Д. (Абрам Терц). В тени Гоголя //... Собр. Соч. Т. 2. М. 1992. с 290-291. См. показательное для нас название последней главы: "Мертвые воскресают. Вперед – к истокам!"

<sup>38</sup> Makine A. Le Testament Français. Paris, 1995 P. 168-169, 251.



*Г.И. Зверева*

## **“НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ” О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СПОСОБЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОШЛОГО: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИКРОИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА**

“Историческое исследование гораздо ближе визуальным искусствам, нежели литературе, .. историческому роману”. Это высказывание Ф. Анкерсмита, одного из создателей “новой философии истории”, весьма примечательно для понимания процессов, происходящих в сфере современной историографии.

“Новая философия истории” заявила о себе в условиях, когда социальные науки и гуманитарное знание Запада остро переживали “пост-модернистское состояние”. Формирование ее позиций в значительной степени определялось содержанием познавательных сдвигов и “поворотов” - “антропологического”, “лингвистического”, “литературного”, “нового исторического”, “нового социологического”, “эстетического” и пр., - которые воздействовали на академическую науку второй половины XX века.<sup>1</sup> Самоидентификация “новой философии истории” во многом связана с глубинными изменениями в профессиональном историческом знании Запада: в теории истории, исследовательских подходах, формах историописания.<sup>2</sup>

Этот феномен сложился в процессе отмежевания части историков от социально-научной теории исторического познания. Вначале его элементы обнаруживали себя в анти-объективистской версии “новой интеллектуальной истории” и в “нарративистской философии”, которые выражали принципиальную оппозицию модернистской эпистемологии и содержали критику сциентистской научной парадигмы.<sup>3</sup> В 70-80-е годы “новые интеллектуалы” стремились доказать профессионалам, занятым в сфере конкретной историографии, плодотворность структуралистских и постструктуралистских процедур текстуального анализа (Х. Уайт, Д. ЛаКапра, Л. Госсмэн, Г. Келлнер и др.). Они последовательно отстаивали идеи о непрозрачности исторической реальности и ее культурно-историческом конструировании познающим субъектом (“эффект реальности”), подчеркивали определяющую роль реля-

тивных социокультурных компонентов в процессе исторического познания. В их работах постоянно звучала мысль об интертекстуальности исторического нарратива, взаимообусловленности авторского текста и “текстуального” контекста. “Новые интеллектуалы” старались утвердить в историографии тезис современной литературной теории о приоритетной позиции читателя в отношениях “письмо - чтение”.<sup>4</sup>

Постепенно “новые интеллектуальные историки” сосредоточили внимание на изучении отдельных феноменов допрофессионального и раннепрофессионального исторического знания. Не ограничиваясь признанием значимости интертекста как условия конкретной историографической практики, реформаторы все основательней искали в историческом нарративе “голос” пишущего автора (Л.Шайнер, Г.Келлнер, Л.Орр, А.Ригни и др.).<sup>5</sup> Исследователей особенно привлекал опыт романтической историографии XIX века. При рассмотрении трудов французских и немецких историков-романтиков они в первую очередь стремились выявить авторский замысел, “следы” личностного восприятия исторического прошлого. Эта работа позволила им выйти за пределы процедур формального структурного анализа текстов и обратиться к специальному изучению средств выражения творческой индивидуальности в историческом знании.

На рубеже 80-90-х годов многие идеи “новых интеллектуалов”, олицетворявших для академии хаос постмодернистского состояния, оказались востребованы исторической профессией. Под влиянием “новой интеллектуальной истории” профессионалы, занимавшиеся конкретно-историческими исследованиями, открыли для себя многообразные возможности подходов из феноменологии, философской герменевтики, современной литературной теории, познавательных приемов, собственных нарратологии и деконструктивизму. Во многом благодаря их усилиям в академическом историческом знании второй половины XX века обрела черты нормативности позиция исторического конструкционизма, которую долгие годы отстаивали М.Оукшотт, Л.Голдстейн и другие теоретики историографии. В западном сообществе историков стали утверждаться идеи о самостоятельной значимости изучения языка исторического исследования (дискурсивной практики), о когнитивной природе метафоры и ее определяющей роли в формировании категориального аппарата историков-профессионалов, культурно-исторической относительности “истины” в исторической науке. В конечном счете участники исторического сообщества “присвоили” некоторые положения “нарративистской философии” и адаптировали их к нормативной историографии.<sup>6</sup> Таким образом, реформаторы могли считать свою задачу выполненной в части, касающейся пробуждения критической саморефлексии и распространения в среде профессионалов культурного релятивизма.

Но именно в то время, когда академическое сообщество восприняло идеи о важности лингвистического начала в работе историка и связи исторического исследования с интертекстуальными предписаниями профессиональной культуры, “новые интеллектуалы” стали менять акценты в своих рассуждениях о природе исторического познания и способах представления реальности в историческом нарративе. Задачи преобразования академической историографии все чаще включались ими в более широкое пространство “новой философии истории”, которая чутко улавливала новации мировой науки. В работах “новых философов истории” конца 80-х - 90-х годов обнаруживалось серьезное знакомство с перспективными направлениями творческого поиска в таких областях как когнитивная психология, когнитивная лингвистика, искусственный интеллект.<sup>7</sup> Рассмотрение содержания познавательной практики историков в тесной связи с общими когнитивными детерминантами знания побуждало реформаторов теории и практики исторического познания дальше дистанцироваться от модернистской эпистемологии - безотносительно объективистской или субъективистской ее версий,

Один из создателей “новой философии истории” Г.Келлнер отмечал, что после “лингвистического поворота” в историографической познавательной практике стала закрепляться тенденция “смотреть на”, а не “видеть сквозь телескоп” (где “телескоп - это язык”), иначе говоря, “видеть призмы и линзы, стоять перед зеркалом и видеть зеркальную поверхность.” Тем самым, привычное обращение историков с концептами нации, расы, народа, пола как с объективными целостностями вытеснялось признанием историчности конструируемой модели репрезентации, “культурности” нарративных образов.<sup>8</sup>

Важное место в “новой философии истории” 1990-х годов заняли концепты “экспериментальное (опытное) знание” и “исторический опыт”.<sup>9</sup> Наиболее полно они оказались представлены в работах Ф.Анкерсмита. История как наука, отмечал он, всегда стремилась основываться на опыте. Именно в опыте обычно усматривался высший источник человеческого знания о реальности. Вместе с тем, “экспериментальное знание о самом объекте исследования” казалось историкам недостижимым.<sup>10</sup> Ф.Анкерсмит предлагал историкам вернуться “назад к Аристотелю”. Опираясь на суждения древнегреческого философа, он положительно отвечал на вопрос “возможно ли знать прошлое по опыту”. В мировоззрении Аристотеля Ф.Анкерсмит находил идеи взаимообусловленности бытия и знания, нераздельности опыта с индивидуально полученным, этически и эстетически пережитым знанием.

Реализуя анти-сциентистские интенции, исследователи процедур исторического познания сосредоточились прежде всего на рассмотрении нерациональных аспектов когнитивного. В работах “новых фило-

софов истории” описывались свойства непосредственно-образного индивидуального восприятия, живого “схватывания” исторической реальности посредством установления прямого контакта с “вещью из прошлого”. Ф. Анкерсмит заново проблематизировал известное рассуждение Й. Хейзинги о возможности короткого прямого контакта исследователя с прошлым. Как полагал голландский историк, такой контакт, достигается посредством нерационального восприятия и чувственного переживания личностью историка конкретного “свидетельства прошлого” (концепт “sensation”).<sup>11</sup>

Познавательные акты, описанные Хейзингой, позволяют, по мнению Ф. Анкерсмита, говорить о положительной возможности “исторического опыта” как такового. Однако, он отмечал, что эти “одномоментные” процедуры, как правило, поглощаются в научной историографии привычной исследовательской практикой, когда историк поддается соблазну “приблизить” прошлое, сделать его понятным, узнаваемым читателю. В результате “присвоения” исторического прошлого оно отдалается в историческом нарративе от самого себя. В этом смысле гораздо более плодотворным выглядит, по его мнению, подход культурных антропологов школы К. Гирца, которые пытаются “не присваивать” то, что они видят в “другой” культуре, но искать “на что это похоже”, иначе говоря, - находить такой язык описания, который позволял бы сохранить это “другое” в положении “извне”.<sup>12</sup>

В ранний период формирования “новой философии истории” исследователей историографии занимал прежде всего вопрос о чертах формального сходства и различий литературного и исторического нарративов. В 1990-е годы “новые философы” актуализировали значимость эстетического способа постижения и репрезентации исторического прошлого. Не довольствуясь деконструкцией познавательных процедур в гуманитарной сфере, Ф. Анкерсмит, Г. Келлнер, Ст. Бэнн, Н. Партнер и другие авторы их круга стремились к собиранию переопределенных в смысловом отношении элементов в новую целостность. “Новая философия истории” актуализировала образно-художественное индивидуальное восприятие мира как способ постижения исторической реальности. Используемая ею метафора “картины” приобрела качества формы, которая обеспечивала целостность восприятия историком объекта изучения.<sup>13</sup> На первый план исследователи стали выдвигать идею о близости историографии к визуальным искусствам. Для подтверждения своей точки зрения “новые философские историки” опирались на соответствующие суждения Дж. Дьюи, Н. Гудмена, Р. Рорти и некоторых других известных американских философов.<sup>14</sup> В своих работах они постоянно подчеркивали определяющее интеллектуальное воздействие трудов Х. Уайта на “эстетические” построения “новой философии истории”.

Пытаясь выйти за пределы вербальности исторического дискурса, “новые философские историки” стали обращать преимущественное внимание на “картинность” историографического текста, его изобразительность. В итоге, “литературная” модель представления истории была существенно скорректирована возвышением “визуальных кодов репрезентации”. При этом дополнительную значимость в построениях “новой философии истории” обрела метафора как таковая.

Именно в метафоре, как полагали авторы, органично соединялись вербальное и изобразительное начала. Сдвиг от “литературной” модели репрезентации к “живописной” выражался, в частности, в том, что высказывание “картина подобна тексту”, характерное для “нарративистской философии”, замещалось формулой “текст подобен картине”. Ключевые слова - глагол “видеть” и существительное “картина” - стали употребляться в “художественном” смысле.

Так, в работе “Утверждения, тексты и изображения” Ф. Анкерсмит писал: “Различие между изучением истории и историческим романом может быть выражено следующим образом. Историческое исследование соединяет историческое знание, выраженное в описательных исторических утверждениях, в пределах определенной картины прошлого; исторический роман применяет это историческое понимание, полученное при исследовании истории, для того, чтобы производить литературные высказывания о прошлом. Историческое исследование “индуктивно” и поэтому прокладывает себе путь от утверждения к картине; исторический роман “дедуктивен” и продвигается от картины к высказыванию. Имея в виду равноценность картины и текста (последний выглядит как интегрированная сумма утверждений), мы, таким образом, обнаруживаем, что визуальные искусства и изучение истории имеют между собой больше общности, чем историческое исследование и (исторический) роман. Изучение истории представляет собой по большей части “изображение”, нежели “вербализацию” прошлого... Бесчисленные визуальные и оптические метафоры в историческом исследовании и теории истории содержат урок, который нам следует принять близко к сердцу”<sup>15</sup>.

В подтверждение своей позиции о значимости художественного способа познания для исторической профессии “новые философские историки” ссылались на исследовательскую практику “новой культурной истории”, “истории повседневности”, микроистории. В своих работах Ф. Анкерсмит специально обращался к рассмотрению содержания микроисторического подхода. По его мнению, микроистория заметно обнаруживает в себе базовые отличия от “традиционной историцистской или нарративистской парадигмы”. Автор отмечал в этой “новой форме” историографии “поразительное очарование малой и явно незначительной детали”, отсутствие интереса к “истории крупного масштаба”,



отказ от идеологических претензий, которые свойственны ее историографическому предшественнику. При использовании микроисторического подхода, полагал Ф. Анкерсмит, "исторический агент, живущий в прошлом, ... не выглядит частью того же исторического процесса, частью которого являемся мы сами; взамен этого достигается своего рода "демократическая" или даже "анархическая" независимость элементов исторического процесса".

Главное же отличие нового направления от традиционной академической историографии Ф. Анкерсмит усматривал в том, что "историцистское историописание было попыткой навести мост между прошлым и настоящим и, таким образом, сделать прошлое доступным для нас. Язык историка, (метафорические) технические концепты, используемые историком, и (соционаучные) теории, посредством которых эти концепты зачастую определялись, традиционно действовали как такие мосты между прошлым и настоящим... Мосты позволяют нам *преодолевать* дистанцию или различие, но в то же время также *маркируют* такую дистанцию. Однако, в новых формах историописания парадокс моста отсутствует; таким образом, прошлое и более отдалено, и еще более близко нам. Размышляя над этими тремя главными отличиями, мы обнаруживаем здесь движение и к деконтекстуализации, и к возрастающей прямоте и непосредственности, с которой нам представляется прошлое".<sup>16</sup>

По убеждению Ф. Анкерсмита, сторонники микроисторического подхода используют в "историческом опыте" элементы нерационального прямого контакта (sensation). Это, по его мнению, позволяет им создавать исторические нарративы, в которых запечатлена живая образность и заметны признаки личностного восприятия. В таких текстах Ф. Анкерсмит усматривал "движение против присвоения" прошлого, тенденцию "разрыва" с предшествующей научной историографией, преодоления идеи трансцендентности познающего субъекта. Этически и эстетически представленное знание о прошлом (историк увлечен, захвачен тем, что "видит") отнюдь не есть, по мысли автора, наивно-эмпирический слепок объективной реальности. Таким образом, в историографической практике микроисториков, на его взгляд, утверждается право историка на личный "исторический опыт", на выражение своей индивидуальности в тексте исторического нарратива.<sup>17</sup>

Для подтверждения своей точки зрения автор ссылаясь на суждения Г. Иггера, работающего в рамках модернистской общенаучной парадигмы. По мнению Ф. Анкерсмита, этот исследователь теории и истории современной историографии констатировал наличие в новых формах историописания "важных инноваций", в том числе, использование процедуры "остраненности каждого исторического объекта исследования", хотя и отмечал "чувство обязанности", которое испытыва-

ют "новые культурные историки" и микроисторики по отношению к традиции социальной истории.<sup>18</sup>

В ответной статье<sup>19</sup> Г. Иггерс пояснял, что его оценки историографической ситуации существенно отличаются от версии, представленной Ф. Анкерсмитом. Разделяя некоторые суждения Ф. Анкерсмита по поводу значимости метафоры в историческом дискурсе, его оппонент, тем не менее, стремился доказать принципиальную невозможность сведения профессиональной историографии к поэзии (именно такое намерение Г. Иггерс находил в работах поборников "новой философии истории"). Он полагал тщетным желание Ф. Анкерсмита усмотреть в некоторых тенденциях трансформации "историцистской историографии" сущностные признаки преодоления зависимости индивидуального способа исторического познания от социального контекста и идеологии.

По мнению Г. Иггера, "новым философам истории" не стоит искать в микроисторических исследованиях попытки установления "прямого и непосредственного контакта с реальностью", сдвиг "от языка к опыту", равно как обольщаться по поводу существа познавательных новаций, которые используются микроисториками. "Все недавние работы по микроистории, - отмечал Г. Иггерс, - сознательно или бессознательно утверждают культурную связь, которая, как они показывают, придает смысл "малым, незначительным деталям". Многие соединили с этим какую-то политическую программу - коммуитаристскую, популистскую или феминистскую. И практически все помещают малый мир, который они изображают, в контекст макроисторических сил, склонных к разрушению народной культуры Фриули или Монтаньо". Г. Иггерс характеризовал позицию Ф. Анкерсмита как "новый реализм". По его мнению, очередная попытка "новых философов истории" преодолеть объективизм по сути есть не что иное как воспроизведение "ошибки более старого историцизма", когда объективность субъекта исторического исследования напрямую связывалась с непосредственностью его восприятия прошлого.<sup>20</sup>

Оба автора неоднократно (до и после этого спора) обращались к рассмотрению существа исследовательской работы микроисториков. Г. Иггерс неизменно констатировал абсолютное преобладание черт предметности "новой культурной истории" и "микроистории" с "новой исторической наукой" и, прежде всего, - с "новой социальной историей". Ф. Анкерсмит каждый раз настаивал на том, что в микроисторическом подходе содержится нечто новое, - то, что принципиально отличает тексты его поборников от модернистской (историцистской) академической историографии.<sup>21</sup>

В последние годы феномен микроистории стал предметом оживленного обсуждения в академическом сообществе. Заметный интерес к ана-

лизу содержания микроисторического подхода обнаруживают историки, которые выступают в роли обозревателей современного историографического процесса<sup>22</sup>. Повышенная саморефлексия отличает тех профессионалов, кто сам активно участвует в созидании микроистории и формулировании принципов этого исследовательского подхода.<sup>23</sup> Следует заметить, что микроисторики, как правило, не разделяют анти-объективистского пафоса “новой философии истории”. Так, например, Дж. Леви достаточно решительно заявил, что микроисторический подход изначально чужд познавательному релятивизму, хотя импульс творческого поиска новых познавательных процедур у микроисториков очень силен.<sup>24</sup> О своих расхождениях с релятивистской версией “новой интеллектуальной истории” и “новой философией истории” по поводу понимания процесса и процедур исторического познания неоднократно высказывался К. Гинзбург. Его критические суждения об интерпретации Х. Уайтом эстетического опыта репрезентации прошлого<sup>25</sup> позволяют обнаружить водораздел, пролегающий внутри новых форм историописания.

В свое время микроисторики самоидентифицировались с антропологически ориентированной частью социально-культурной историографии. Внутренняя общность их позиций во многом определяется убежденностью в “социальности” культурно-исторического микрообъекта, познавательным намерением соотносить единичное, уникальное с широким социально-историческим контекстом в целях достижения целостного представления об исторической реальности.<sup>26</sup>

Принципиально разное восприятие теоретиками и практиками современной историографии сущностных черт микроистории во многом обусловлено переменами, которые происходят в самой культуре исторической профессии; эти различия выражают острую потребность историков в переопределении более общей проблемы методологии истории - проблемы возможностей и границ исторического познания. В этой связи предложения “новых философов истории” шире представить познавательную практику микроистории, возвысить роль эстетического опыта в процессе исторического исследования думается, заслуживают более пристального внимания и детального изучения.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Обзоры познавательных “поворотов” см.: Gardner H. *The Mind's New Science. A History of the Cognitive Revolution*. N.Y., 1989; *The Past before Us: Contemporary Historical Writing in the United States* / Ed. M. Kammen. Ithaca, N.Y., 1980; *Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate* / Ed. F. Ankersmit // *History and Theory*. 1986. Vol. 25; *Development in Modern Historiography* / Ed. H. Kozicki. L., 1993; Olabarri I. “New” New History: A Longue

Duree Structure // *History and Theory*. 1995. Vol. 34. No. 1995; *New Perspectives on Historical Writing* / Ed. P. Burke. L., 1995; Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы “Анналов” / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1993; Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках метода // *Одиссей. Человек в истории. Ремесло историка на исходе XX века*. 1996. М., 1996. С. 5-10; Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // *Одиссей*. 1996. М., 1996. С. 11-24; Ястребицкая А. Л. Культурное измерение историографического // *Культура и общество в Средние века - раннее Новое время. Методология и методики современных зарубежных и отечественных исследований. Сборник аналитических и реферативных обзоров*. М., 1998. С. 17-47; Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и новой интеллектуальной истории // *Одиссей*. 1996. М., 1996. С. 25-38; Репина Л. П. “Новая историческая наука” и социальная история. М. 1998.

<sup>2</sup> Вехи творческой истории этого направления представлены Ф. Анкерсмитом во Введении к его книге “История и тропология. Возвышение и падение метафоры” (1994 год) и “Библиографическом эссе” - своеобразном историографическом послесловии к сборнику статей, вышедшему в 1995 году под общим названием “Новая философия истории”. - Ankersmit F. *Bibliographical Essay // A New Philosophy of History* / Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. L., 1995. С. 278-283. Складывание оппозиции модернистской философии истории происходило, по мнению Ф. Анкерсмита, в тесной связи с “переориентацией исторической теории на историографию”.

<sup>3</sup> Подробнее см.: White H. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Baltimore, 1973; White H. *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. Baltimore, 1978; White H. *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation*. Baltimore, 1987; *The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding* / Ed. R. Canary, H. Kozicki. Madison, L. 1982; *Modern European Intellectual History. Reappraisals and New Perspectives* / Ed. D. LaCapra, S. Kaplan. Ithaca, L. 1982; LaCapra D. *Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Languages*. Ithaca, N.Y., 1983; Ankersmit F. *Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian's Language*. Hague. 1983; Ankersmit F. *The Reality Effect in the Writing of History. The Dynamics of Historiography Topology*. Amsterdam, N.Y., 1989; Ankersmit F. *History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor*. Berkeley, 1994; Kellner H. *Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked*. Madison, 1989; Bann St. *Clothing of Clio*. Cambridge, 1984; Bann St. *The Inventions of History: Essays on the Representations of the Past*; Gossman L. *Between History and Literature*. Cambridge (Mass.) 1990; Hutton P. *History as an Art of Memory*. Hanover. 1994; *A New Philosophy of History* / Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. L., 1995.

<sup>4</sup> Об этом подробнее см.: Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // *Одиссей*. 1996. М., 1996. С. 11-24

<sup>5</sup> Shiner L. *The Secret Mirror: Literary Form and History in Toqueville's "Recollections"*. Ithaca, 1988; Kellner H. *Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked*. Madison, 1989; Orr L. *Headless History: Nineteenth-Century French Historiography of the Revolution*. Ithaca, 1990; Orr L. *Intimate*

Images: Subjectivity and History - Stael, Michelet and Tocqueville // A New Philosophy of History. P.89-107; Rigney A. The Rhetoric of Historical Representation: Three Narrative Histories of the French Revolution. Cambridge. 1990; Rigney A. Relevance, Revision and the Fear of Long Books // A New Philosophy of History. P.127-147.

<sup>6</sup> Эти явления были, в частности, отмечены в статье И.Олабарри: Olabarri I. "New" New History: A Longue Duree Structure // History and Theory. 1995. V.34. № 1995. С.1-29 (русский перевод этой статьи, сделанный О.Гавришиной, см. в сборнике "Культура и общество в Средние века - раннее Новое время. Методология и методики современных зарубежных и отечественных исследований. Сборник аналитических и реферативных обзоров". М., 1998. С.99-136).

<sup>7</sup> См. подробнее об этих концепциях в сб.: Язык и интеллект. Сб. / Пер. с англ. и нем. / Сост. В.В. Петров. М., 1996.

<sup>8</sup> Kellner H. Introduction: Describing Redescriptions // A New Philosophy of History. P.8-16.

<sup>9</sup> Понятие "экспериментальное знание" активно используется в современных когнитивных науках. Близкими по смыслу к позициям "новой философии истории" выглядят высказывания Дж.Лакоффа, одного из создателей когнитивной семантики: "Присущая человеку ментальная процедура категоризации в существеннейшей степени опирается на человеческий опыт и воображение - на особенности восприятия, моторной активности и культуры, с одной стороны, и свойства метафоры, метонимии и ментальной образности - с другой...Интуитивное представление об объективизме как "просто здравом смысле", как кажется, имеет источником доконцептуальную структуру нашего опыта взаимодействия с материальными объектами на базовом уровне...Именно опыт взаимодействия с материальными объектами базового уровня создал впечатление об адекватности объективизма. И он же, в конце концов, обеспечит основу для экспериментального подхода к эпистемологии, который заменит объективизм, но не приведет к отказу от реализма...Когнитивные модели приобретают фундаментальную значимость благодаря своей способности органично вписываться в рамки доконцептуальной структуры. Непосредственное соответствие когнитивной модели доконцептуальной структуре обеспечивает основу для изучения категорий истины и знания" (Язык и интеллект. Сб. / Пер. с англ. и нем. / Сост. В.В. Петров. М., 1996. С.147, 168-169, 182).

<sup>10</sup> Ankersmit F. Can We Experience the Past? // KVHAA Konferenser 37. Stockholm, 1996. P. 47-76.

<sup>11</sup> Хейзинга Й. Задача истории культуры // Об исторических жизненных идеалах. Лондон, 1992. С.55-60. В особенности см.: "В понимании истории имеется очень важный момент, который точнее всего можно назвать историческим чувством. Можно употребить также выражение исторический контакт. Словосочетание историческое воображение было бы слишком конкретным, равно как и "историческое видение", ибо возникновение у читателя зрительного представления означало бы придание картине чрезмерной однозначности... Этот почти необъяснимый контакт с прошлым есть погружение в его атмосферу, один из данных человеку путей выхода за пределы

собственного я и причащения истины. Описываемое историческое чувство в чем-то сродни наслаждению от искусства, религиозному переживанию, трепету перед силами природы и метафизическому узнаванию... Едва ли слово образ годится для обозначения происходящего в нашем сознании. Если тут вообще можно говорить о форме, то форма эта сложна и неотчетлива: некое угадывание улиц, домов, полей, звуков, цветов, а затем и людей с их сложными побуждениями. Подобный контакт с прошлым, сопровождаемый верой в его подлинность, может быть достигнут с помощью строки из старинной грамоты или хроники, какого-либо изображения, а то и нескольких звуков старинной песни. Элемент этот невозможно вложить в историческое сочинение с помощью каких-то определенных слов. Он присутствует не в тексте, а где-то за книгой...Описываемое чувство - видение, контакт... - ограничивается всего лишь моментами особой духовной ясности, внезапного просветления духа. Это историческое чувство, по-видимому, настолько существенно, что его часто считают единственным подлинным моментом постижения истории."

<sup>12</sup> См: Ankersmit F. Can We Experience the Past? // KVHAA Konferenser 37. Stockholm, 1996. P.47-76; Ankersmit F. Statements, Texts, and Pictures // A New Philosophy of History / Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. L., 1995. P. 212-240.

<sup>13</sup> Опосредованное воздействие на формирование этой идеи оказали постструктуралистские модификации литературной теории, в том числе, попытки соединения в ней "натуральной" когнитивной лингвистики с социолингвистическим концептом "натурального" нарратива в целях выяснения способностей исследователя связывать общими значениями элементы текста, казавшиеся разнородными. Об этом см. например: Fludernik M. Towards a "Natural" Narratology. Freiburg, 1996.

<sup>14</sup> Dewey J. Art as Experience. Carbondale, 1987; Goodman N. Ways of Worldmaking. Hassocks. 1978; Idem. Languages of Art. Indiana, 1985; Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, 1979 ( русск. пер.: Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997)

<sup>15</sup> Ankersmit F. Statements, Texts, and Pictures // A New Philosophy of History / Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. L., 1995. P.239-240.

<sup>16</sup> Ankersmit F. Historicism: An Attempt at Synthesis // History and Theory. 1995. V.34. №3. P.158-159.

<sup>17</sup> Ankersmit F. Introduction. Transcendentalism and the Rise and Fall of Metaphor // History and Topology. P.17-22.

<sup>18</sup> Idem. P.158.

<sup>19</sup> Iggers G. Comments on F.R.Ankersmit's Paper "Historicism: An Attempt at Synthesis" // History and Theory. 1995. V.34. №3.

<sup>20</sup> Iggers G. Comments on F.R.Ankersmit's Paper "Historicism: An Attempt at Synthesis" // History and Theory. 1995. V.34. №3. P.166-167.

<sup>21</sup> Iggers G. Rationality and History // Development in Modern Historiography / Ed. H.Kozicki. L., 1993. P.19-39; Ankersmit F. History and Topology: The Rise and Fall of Metaphor. Berkeley, 1994; A New Philosophy of History / Ed. F. Ankersmit, H. Kellner.. L. 1995; Ankersmit F. Can We Experience the Past? // KVHAA Konferenser 37. Stockholm, 1996. P.47-76.

<sup>22</sup> Например: Olabarri I. "New" New History: A Longue Duree Structure // History and Theory, 1995. V.34. № 1995. P.1-29; Burke P. History of Events and the

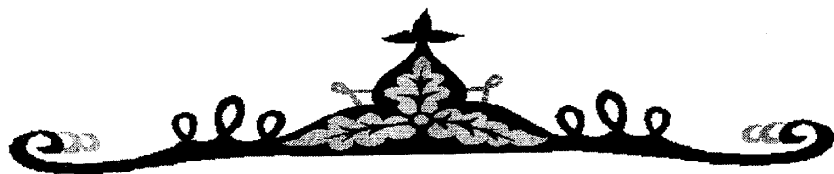
Revival of Narrative // New Perspectives on Historical Writing / Ed. P.Burke. L., 1995. P.233-248.

<sup>23</sup> См. например: Davis N.Z. The Shapes of Social History // Storia della Storiografia, 1990. V.17. P.28-34; Levi G. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing / Ed. P.Burke. L., 1995. P.93-113; Лепти Б. Общество как единое целое. О трех формах анализа социальной целостности // Одиссей, 1996. М., 1996. С.148-164; Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. 1996. М., 1996. С.110-127; Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. 1996. Индивидуальное и уникальное в истории. М. 1997. С.291-302; Бессмертный Ю.Л. Что за "Казус"? // Там же, С.7-24; В настоящей работе не ставится задача специального рассмотрения дискуссий, которые ведутся в среде самих "микроисториков", однако, следует заметить, что практически никто из них не считает феномен микроистории целостным интеллектуальным образованием; все обычно подчеркивают многообразие понимания существа микроисторического подхода к изучению прошлого.

<sup>24</sup> Levi G. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing. P. 101-103.

<sup>25</sup> Ginzburg C. Just One Witness // Probing the Limits of Representation. Nazism and the "Final Solution" / Ed. S.Friedlander. Cambridge (Mass.), 1992. P.88-96.

<sup>26</sup> См. например: Davis N.Z. The Return of Martin Guerre. Cambridge (Mass.). 1973. Introduction.; Ginzburg C. The Cheese and the Worms. The Cosmos of a Sixteenth-century Miller. L., 1982. Preface to the Italian Edition. P. XIII-XXVII.



*А.А. Олейников*

## ИСТОРИЯ: СОБЫТИЕ И РАССКАЗ. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ SUB SPECIE НАРРАТИВНОЙ ФОРМЫ

Обсуждение проблем философии и методологии истории часто начинается с констатации кризиса, в котором находится историческая наука в настоящий момент своего развития. Кризис стимулирует поиск новых методов овладения историческим материалом и новых способов его оформления. Иногда предполагается, что определить направления поиска могут специалисты – философы истории. Однако особенность современной ситуации заключается еще и в том, что философия также переживает кризис, поскольку не может уже стяжать право на то, чтобы быть последним основанием в разработке критериев не только гуманитарного, но и научного знания вообще. Современная философия – это не фабрика по производству рецептов, помогающих представителям той или иной науки справиться с открывшимися вдруг "неразрешимыми" методологическими проблемами. Это специфический способ рефлексии условий, в которых эти проблемы осознаются как таковые, и от которого непосредственно не следует ожидать приемов их практического разрешения. Что же касается кризиса в исторической науке, то мне представляется, что никакие смены "конъюктур" и "эпистем" не могут поколебать в историке уверенности в важности выбранного им для изучения конкретного исторического сюжета, если он им действительно увлечен. Но коль скоро тот или иной историк начинает задавать вопросы об условиях возможности своей исследовательской деятельности, ему не избежать встречи с философией. Однако, мне хотелось бы подчеркнуть, что сама эта встреча не диктуется из объективной практики историка, но является делом вкуса и носит характер его личной ответственности. В этом смысле кризис в гуманитарных науках, если он не ставит под сомнение, как в нашей стране, саму возможность экономического содержания научно-исследовательских институтов, есть нормальное состояние этих наук, свидетельствующее об их жизнеспособности.

В этой работе мне хотелось бы остановиться на том аспекте упомянутого кризиса, который отличает историю от других социальных наук

и формулируется как отсутствие у нее собственной теории, ибо, как пишут И. М. Савельева и А. В. Полетаев, “подавляющая часть так называемых “теорий” или “моделей” исторического процесса заимствуется из других общественных наук или разрабатывается философами”<sup>1</sup>. Открытие этого факта не является делом последних лет. Его обнаружение относится как минимум к концу прошлого столетия. Именно тогда стремительное развитие естественнонаучного знания побуждало неокантианцев, Риккерта и Виндельбанда, а также Дильтея к стремлению обеспечить за историей собственный, удовлетворяющий правилам рационального исследования, метод познания. Но в конечном итоге оказалось, что ни индивидуализирующий (идеографический) метод неокантианцев, ни, тем более, “понимание” Дильтея таким правилам не удовлетворяли и выходили за пределы допустимости картезианского дискурса естественных наук. Проблемы постижения истории обнаруживались как проблемы онтологии, обсуждение которых потребовало создания нового направления в философии, получившего название герменевтики. История, согласно мысли основоположников философской герменевтики, Хайдеггера и Гадамера, есть не столько наука, сколько понятие, выражающее совокупность условий, составляющих человеческое “бытие-в-мире”.

Последний удар по самой идее исторической теории был нанесен К. Гемпелем и К. Поппером, разработавшими схему научного объяснения, которая, по их мнению, должна действовать во всех науках, если точность и достоверность получаемых знаний является принципом, на котором покоится их работа. Согласно этой схеме, причинное объяснение всякого события, будь то в физике или в истории, может считаться состоятельным, когда суждение о том, что подлежит объяснению (*explanandum*), может быть дедуцировано из универсального объясняющего (*explanans*) закона с помощью начальных условий, описывающих интересующее событие. Но отличие истории в том и состоит, что в ней просто нет универсальных законов. Максимум, что она может предложить, так это “объяснительный скетч”, в котором содержатся расплывчатые указания на закон и начальные условия. Чтобы довести этот скетч до развернутого объяснения, необходимо вести поиск универсального закона, чего историки совершить не в состоянии. Поэтому следует признать, что история как наука имеет только прагматические основания, сама смена которых, так называемый исторический процесс, остается для нее непостижимой.<sup>2</sup>

Однако тот факт, что историография не может претендовать на строгую научность используемых в ней объяснительных процедур, еще не означает бессмысленности занятия историей и не ставит под сомнение ее культурную значимость. Историография существует не одну тысячу лет и при этом большую часть времени она не только не имела своей теории

и методологии, но даже не была особенно озабочена, чтобы их иметь. Например, их не было в античности не смотря на то, что образованный грек или римлянин прекрасно представляли себе разницу между историей и “литературой” как разницу между правдой и вымыслом. История, учит Аристотель в “Поэтике”, занимается единичным, тем, что фактически произошло, в то время как поэзия – общим, тем, что могло произойти. Правдивость исторических сочинений стояла в прямой зависимости от степени компетентности свидетелей, на которые опирался историк. Однако вопрос о существовании законов, устанавливавших критерии их достоверности, не составлял предмета рефлексии для античных авторов. Такие законы стали разрабатываться гораздо позднее, когда “история” перестала обозначать просто тип повествования о прошедших социально-политических катаклизмах и приобрела статус некоего тотального онтологического плана, в котором эти события разворачиваются, иначе говоря, когда “история” стала синонимом человеческой жизни в ее социо-культурном измерении.

Но ничто не оказалось более трудным, чем задача сформулировать устойчивые правила, по которым происходит смена одних форм социального бытия другими. Ибо при ее решении всякий раз возникал следующий парадокс: если эти правила устойчивы и неприменны, то почему они не столь очевидны, что требуют специального исследовательского усилия для их экспликации; если же их обнаружение зависит от правильности используемых логических процедур, то в чем тогда их неприменность и устойчивость? Задача решалась только при том условии, что исследователь, устанавливающий эти правила, способен преодолеть конечность собственного существования и настаивать на некоем сверх-рациональном проникновении в самую суть исторической судьбы человечества. Стоит ли говорить, насколько предосудительны и небезопасны претензии на такую способность...

Поэтому то, что оставалась философам, которые не хотели игнорировать факт своеобразия исторического сознания и пытались определить отвечающие ему условия исторической критики, так это рассмотреть ту элементарную форму, в которой это сознание находит свое естественное воплощение – историческое повествование. Вопрос о том, как возможна история, превратился в вопрос, как возможен исторический нарратив.

Начало изучению принципов его организации было положено Артуром Данто. Интерес к нарративу у него был продиктован убеждением, что историческое повествование представляет собой не просто регистрацию фактов на основе свидетельств и документов, но в своей целокупности содержит как описание, так и объяснение исторических событий. Разделение этих двух задач работы историка было общим местом в дискуссиях по проблеме специфики исторического знания.

Данто подверг его критике и постарался показать, что расхождение противопоставление хроники (чистого описания) историческому объяснению является неосмысленным. И то и другое лишь односторонние способы понимания того целого, которое представляет собой историческое сочинение.

Для подтверждения этого тезиса Данто предпринял анализ структуры так называемых нарративных предложений, то есть тех предложений, в которых используются глаголы прошедшего времени. Их особенность заключается в том, что относясь к двум различным и разделенным во времени событиям, E-1 и E-2, описывают самое раннее из них. По отношению ко времени высказывания оба события находятся в прошлом. Поэтому в нарративном предложении имплицированы три временные позиции: описываемого события, события, в терминах которого описывается первое, и позиция рассказчика. Например: "В 1713 году родился автор "Племянника Рамо". В то время, когда произошло то, о чем здесь говорится, никто не мог произнести такую фразу. Написание "Племянника Рамо", таким образом, есть событие, в терминах которого описывается рождение Дидро.

Разделенность трех указанных позиций является принципиальной для организации повествовательного высказывания. Этим Данто подчеркивает, что история может быть только о прошлом. Он критикует так называемую "субстанциональную" философию истории (или гегелевский ее тип), поскольку в ней заложена тенденция экстраполировать в будущее то, что может иметь отношение только к прошлому. Такая "погрешность" происходит в силу стремления дать целому истории содержательное толкование. Но так как в нарративных предложениях более ранние события описываются в свете последующих им и неизвестных героям первых, то не может быть историй ни о настоящем, ни о будущем. В то же время прошлое – не детерминировано. В противном случае нам пришлось бы мыслить некоего "идеального хрониста", способного быть свидетелем событий, следующих в порядке их возникновения. Но даже и такой хронист не сможет ничего сказать о событии, пока оно не завершится, так как будучи его очевидцем, он не располагает критерием его дистинктности.

История, с точки зрения Данто, есть "ретроспективное пере-описание прошлого."<sup>3</sup> В строгом смысле это прошлое никогда не было настоящим, поэтому историк не может и не должен знать о интересующих его событиях то, что могли знать их непосредственные участники. В виду открытости своего собственного будущего историк всякий раз заново переписывает прошлое. Его взгляды и оценки могут меняться не в силу того банального факта, что мы не постоянны в своих мнениях, а по причине нашей неспособности быть "идеальными хронистами" или авторами единственно возможной истории. Нарративный дис-

курс по самой своей природе является открытым и незавершенным. Соединение двух прошлых событий в темпоральное целое исторического сочинения производится самим историком, а не диктуется неким неизменным субъектом истории, будь это Объективный Дух, как у Гегеля, или классовая борьба, как у Маркса. Это соединение существенным образом случайно и зависит от прагматической ориентации историка. Отсюда все же не следует, что у такой "случайности" как историографическая традиция нет своих закономерностей, нет, так сказать, своих правил игры. Единственное, чего точно нет, так это самого прошлого, как и нет такого плана судьбы человечества, согласно которому множеству партикулярных историй, написанных в разное время и по разному поводу, слагаются в некое единое повествование.

Данто опроблематизировал некогда привычное и устойчивое представление, по которому жизнь (настоящее) и история (прошлое) связаны неким каузальным континуумом. Без этого, казалось бы, трудно даже мыслить историю как повествовательный, но все же ориентированный на достоверность способ изучения социального прошлого. Сам Данто отказался решать проблему характера этой связи как проблему слишком "метафизическую". Единство жизни и истории выступает у него как заинтересованность историка тем или иным историческим сюжетом. Но является ли это единство только повествовательным, или существует оно до повествования, об этом Данто ясно не говорит, полагая все же, что нарратив есть структура, которая *накладывается* на события, оформляя их в темпоральное целое. Эта проблема побудила философов так же, как и Данто видевших в нарративе структурообразующую основу исторического знания, предложить свои варианты ее решения.

Так, Луи Минк, в целом позитивно оценивающий работу Данто, рассматривает нарратив как "когнитивный инструмент", благодаря которому историк осуществляет синтез разнообразных и не соотносимых по времени и месту событий в единое сюжетное целое. Акт установления сюжетной связи принадлежит самому историку, а точнее его воображению. События сами по себе не имеют начала, середины и конца. Этими свойствами обладают только повествовательные структуры. "Истории, – пишет Минк, – не переживаются, а рассказываются"<sup>4</sup>.

Деятельность историка отсюда ничем принципиально не отличается от деятельности беллетриста. Минк показывает, что метафизическим основанием, долгое время оправдывающим уверенность историков в связи жизни, в широком смысле, и историографии, была идея способности жизни к саморепрезентации. Историк в таком контексте был не столько автором, сколько открывателем уже существующих, но пока еще не рассказанных историй. Такая идея неизбежно заставляла полагать в качестве регулятивного принципа существование некоей Еди-



ной Истории, логика которой не доступна отдельному историку, но к ее обнаружению направлены его исследовательские усилия. Минк считает, что эта идея оживляет призрак “идеального хрониста”, который уже сумел развеять Данто, и в противовес ей утверждает, что отдельные истории не объединяет никакая мета-нарративная связь. Отсюда следует, что не существует исторического события до его описания, есть только истории, не получившие пока своей дескриптивной фиксации.

Хейден Уайт, автор ставшей уже знаменитой “Метаистории”<sup>5</sup>, пожившей начало изучению “поэтики исторического дискурса”, в своем решении проблемы связи жизни и повествования следует в основном Минку. Историки, с точки зрения Уайта, для создания своих сочинений не нуждаются в проникновении в скрытую суть некоего предсуществующего исторического процесса. Модели реальности, предлагаемые ими в качестве его адекватных репрезентаций в большей степени зависят от характера используемых ими топологических фигур (метафора, метонимия, синекдоха и ирония) и от типа сюжетного оформления (emplotment). Историк, таким образом, работает не с реальностью *per se*, а с языком, ее замещающим.

Однако, отрицая возможность прямого доступа к событиям самим по себе, Уайт вынужден дать такую картину языковых способов их “осужетивания”, в которой наблюдался бы строгий континуум от самых примитивных до наиболее рафинированных типов их описания и объяснения. Первичным способом оформления сюжетного целого является у него рассказ (story-line) – последовательная линия повествования, имеющая начало, середину и конец. События, конституирующие рассказ, в строгом смысле не создаются воображением историка, но представляют собой исходный материал, в котором осуществляется его работа. Следующим уровнем, обладающим большим, нежели рассказ “объяснительным эффектом”, является собственно сюжет (plot). Рассказ получает здесь свое значение, через идентификацию сюжетного типа, к которому он принадлежит. Наконец, завершающим этапом в построении исторического нарратива выступает аргументация (argument), благодаря которой мы можем получить представление о политическом и философском мировоззрении историка.

Парадокс, с которым мы сталкиваемся, изучая уайтовский проект “метаистории”, заключается в том, что, заявив сначала об отсутствии реальной связи жизни и историографии, Уайт все же снова возвращает нас к идее саморепрезентирующей социальной действительности, которая получает у него название “исторического поля”. Сколь не была бы решающей роль воображения, ведь именно ему обязан историк видением смысла конкретных событий, это воображение вынужденно действовать в пространстве уже существующих событий рассказа (story-line), а значит оказывается каким-то образом ими детерминированным.

Однако Уайт, если не на деле, то на словах, остается сторонником категорического разделения жизни и повествования, сторонником их несоизмеримости.

На примере работ Минка и Уайта можно заметить, что основная проблема, которая остается не решенной исследователями, отрицающими возможность *реальной* связи жизни и повествования, заключается в необходимости полагания *до* акта нарративного структурирования некоего хаотического, бессодержательного в смысловом отношении, состояния событий нашей жизни, которое чаще всего понимается как их “простая последовательность” (*mere sequense*). Отказывая реальной жизни в возможности самоструктурирования, эти авторы, тем не менее, вынуждены вводить некий синкретический акт конфигурации “простых” событий в смысловое сюжетное целое. Но как раз именно в силу своей синкретичности этот акт не может быть однозначно воспринят как целиком и полностью зависящий от воображения историка. К тому же, кто сказал, что “простая последовательность событий” отвечает элементарному уровню восприятия реальности? Не есть ли она абстракция от некоего более сложного по своей структуре комплекса переживаний?

Такие замечания в адрес Минка и Уайта были сделаны Дэвидом Карром, предложившим для разрешения указанных затруднений воспользоваться теми достижениями, которыми в области изучения сознания времени обладает феноменологическая философия. Карр показал, что, согласно исследованиям Гуссерля, мы в действительности никогда не переживаем “простую последовательность событий”. Даже наиболее пассивные уровни восприятия временной последовательности включают в себя то, что Гуссерль называл “ретенцией”, то есть удержанием в сознании истекшего временного ряда, а так же “протенцию” – предвосхищение его грядущего протекания. Благодаря этим способностям сознание, живя во времени, может творить и структурировать его. В отличие от основоположника феноменологии Карр сделал акцент на возможности творения времени. Поэтому ведущую роль в деле оформления содержаний временного опыта он отвел протенции.

Опора на результаты феноменологического анализа позволила Карру выступить с утверждением об укорененности нарративной структуры в самих событиях. Нарратив не является чем-то совершенно чуждым реальной жизни. В противовес Минку Карр заявляет: “Истории рассказываются, поскольку переживаются, и переживаются, поскольку рассказываются”<sup>6</sup>. Различие между “жизнью” и “искусством” не лежит на поверхности и не изоморфно различию между “хаосом” и “структурой”. Единственным серьезным основанием в пользу проведения такого различия является отсутствие в жизни *hic et nunc* сторонней рефлексивной позиции – той позиции, которой обладает автор в отно-

шении героев своего произведения. Однако, считает Карр, в своей повседневной практике мы также стремимся занять эту позицию, поскольку по большей части нам приходится давать отчет о том, что мы совершили или намереваемся совершить. Наша жизнь соткана из историй, которые мы рассказываем тем, кто окружает нас, или самим себе. Прежде, чем получить свое оформление в виде художественного или историографического текста, эти истории существуют как “практический нарратив”, не отделимый от событий реальной жизни. Поэтому повествование не есть описание того, что существует до него и независимо от него. Повествование в первую очередь представляет собой единство рассказа, рассказчика и его аудитории – то, что конституирует человеческое сообщество в его согласованной деятельности. Чтобы утвердиться в своей идентичности и реализовать себя, люди рассказывают истории о себе или своих сообществах, и если художественная литература (fiction) является наилучшим средством для индивидуальной самореализации, то историография – для самоидентификации социальных сообществ.

Концепция Карра представляется весьма убедительной в отношении утверждаемой в ней связи повествовательной деятельности и социальной практики. Но следует заметить, что опосредующий противоположность жизни и искусства временной континуум сам оказывается сложенным на две основные смысловые составляющие – пассивный и активный опыт восприятия времени. Их согласование тоже должно быть как-то обосновано, поэтому Карр говорит о телеологии, имманентной самой структуре временного опыта, благодаря которой только и возможен переход от его пассивного (содержащего минимум рефлексии) к активному уровню. Однако мы в праве спросить, кто является субъектом телеологического (целеполагающего) акта? Временной опыт в его совокупности, или все же человек, его осуществляющий? Карр не задает такого вопроса, потому что он работает в феноменологической традиции, где принято говорить не о конечном субъекте, а о “субъективности”, действующей поверх индивидуальных особенностей конечных субъектов. Поэтому снова, как и в случае Х. Уайта, нам приходится констатировать, что стремление философов открыть механизм, согласно которому воображение автора повествования приводит к сюжетному единству дискретные события прошлого, грозит элиминацией самого феномена воображения и замещением его некоей надперсональной (природной или гиперсубъективной) необходимостью.

Обзор исследований в области философии истории *sub specie* нарративной формы всегда окажется неполным, если в нем не будет упомянута трехтомная работа Поля Рикера “Время и повествование”<sup>7</sup>, являющаяся, пожалуй, самым фундаментальным по замыслу и по охвату историко-научного материала произведением по настоящей проблема-

тике. Вынужден буду ограничиться наиболее общими положениями этой работы.

В сравнении с уже упомянутыми философами стратегия исследования Рикера состоит в том, чтобы избежать крайностей в вопросе о связи жизни и повествования. Рикер стремится занять среднюю позицию, полагая, что жизнь (временной опыт) и повествование обращены друг к другу, проникают друг в друга, но остаются отличными друг от друга.

“Время, – пишет Рикер, – становится человеческим в той мере, в какой оно организуется с помощью нарратива, нарратив является значимым в той мере, в какой он изображает особенности временного опыта”<sup>8</sup>. Говоря о “мере”, Рикер дает понять, что время и повествование скоррелированы на всех уровнях человеческого бытия. С одной стороны, повседневная действительность (“простая последовательность” переживаемых событий) уже содержит в себе “нарративные ресурсы”, хотя они и представляют пока только “плохо обработанные истории”. С другой стороны, художественная и историографическая практика, хотя и предполагают дистанцию в отношении повседневности, но может осуществляться только при обращении к аудитории, живущей в этой повседневности. Однако и повседневность и “высокая” литература – не просто разные уровни корреляции времени и повествования. Их связывает отношение прогрессии. Художественные и исторические повествования не только репрезентируют те аспекты реальности, которые в свернутой, “префигурированной”, форме содержатся в повседневности, они также изменяют реальность, расширяя ее смысловые горизонты, и, таким образом, делают наш мир “более обитаемым”.

Затруднения, которые могут возникнуть при внимательном анализе концепции Рикера, касаются вновь, как и в предыдущих случаях, характера того синтеза, благодаря которому неупорядоченные истории повседневности превращаются в рафинированную литературу, умножая наши представления о мире, в котором мы живем. Происходит ли этот синтез в реальном времени, или связность времени и повествования требует иного принципа обоснования? Рикер настаивает, что акт нарративной конфигурации обладает темпоральными характеристиками, однако мне представляется, что без риска впасть в апории субстанциональной философии истории эти характеристики показать невозможно. Нарративная конфигурация, устанавливающая связь прошедших событий во времени, сама происходит не во времени, но существует как трансцендентальное условие единства временного опыта, заранее полагемое при его анализе.

На мой взгляд, это обстоятельство наилучшим образом было разъяснено в работе немецкого философа Ханса-Михаеля Баумгартнера<sup>9</sup>.

Рассматривая проблему континуума жизни и истории как одну из центральных тем европейской философии, начиная с Гегеля, Баумгарт-

тнер приходит к выводу, что именно Данто удалось найти наиболее непротиворечивый вариант ее решения. История – это не удвоение и не репрезентация прошлого, это его конструирование. Не может быть мыслимо прошлое вне организующих его нарративных структур. Однако Данто ошибался, когда полагал, что последние как бы накладываются на дискретные события, объединяя их в темпоральные целостности исторических сочинений. Такая точка зрения невольно заставляет думать о временной дистанции, разделяющей сами события и рассказ о них. Для ее преодоления понадобится дополнительный акт нарративного конфигурирования, после чего мы вряд будем избавлены от необходимости мыслить некий метафизический план истории человечества, вызывающий призрак ее “идеального хрониста”.

Если же мы придерживаемся того очевидного факта, что истории пишутся людьми, будущее которых открыто, а прошлое – не детерминировано, то мы, как считает Баумгартнер, не обязаны думать так, что время, о котором рассказывает история, и время, которое потребовалось для того, чтобы этот рассказ сложился, составляют единое процессуальное время Истории. Иначе говоря, нарративная конфигурация, устанавливающая единство во времени для, как минимум, двух прошедших событий, сама этому времени не принадлежит, а является логической презумпцией (трансцендентальным условием) его связности. Конечно, можно возразить, что написание рассказа или исторического исследования, в свою очередь, тоже требует времени. Но речь идет о другом.

Нам никогда не удастся обосновать необходимость критического отношения к прошлому, без чего были бы бессмысленны наши занятия историей, если мы будем упорствовать во мнении, что продолжаем жить в той же истории, о которой сами же и повествуем. То, что связь, установленная между событиями прошлого, является по отношению к ним внешней, свидетельствует о факте случайности и, если угодно, искусственности наших представлений о прошлом.

Однако сказать, что наш исторический опыт – случаен, что история – всего лишь нарратив, еще не значит расписаться в полной беспомощности своих попыток открыть смысл интересующих нас исторических событий. Как если бы заранее было известно, что все эти попытки бессмысленны. Ничего заранее неизвестно и необходим талант и усердие историка, чтобы показать случайность и вымышленность какого-то конкретного исторического факта. Для этого необходимо написать *свою* историю, которая так же кому-то может показаться вымышленной, но только при условии, что этот кто-то будет в ней живо заинтересован.

Исследования Баумгартнера и других философов в области изучения условий возможности исторического повествования, позволяют

понять, что различие между историей и литературой, как и различие между правдой и вымыслом, не лежит на поверхности. Его устанавливает каждый конкретный историк в ходе своей критической работы. Наибольшую беспристрастность здесь продемонстрирует тот, кто сумеет осознать, что всякая история является в той же мере вымышленной и случайной, в какой вымысел сам является вынужденным и историчным.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Савельева И. М., Полетаев А. В. История и Время, М., 1997, с. 57.

<sup>2</sup> О дискуссии вокруг схемы Поппера-Гемпеля и о том влиянии, которая она оказала на новое, нарративистское направление в философии истории см. Ankesmit F. R. Knowing and telling history: the anglo-saxon debate // History and Theory, 25, 1986, p. 1-29.

<sup>3</sup> Danto A., Analytical philosophy of history, N-Y, 1965, p. 26.

<sup>4</sup> Mink L. History and fiction as modes of comprehension // New literary history, 1(1970), p. 557.

<sup>5</sup> White H. Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe, Baltimore, 1973.

<sup>6</sup> Carr D. Narrative and the real world: an argument for continuity // History and Theory, 25, 1986, p. 117-131. См. также его более полное исследование: Carr D., Time, narrative and history, Bloomington, 1987.

<sup>7</sup> Ricoeur P. Temps et récit, t. 1-3, Paris, 1983-1985.

<sup>8</sup> Ricoeur P. op. cit., t. 1, p. 17.

<sup>9</sup> Baumgartner H.-M. Kontinuität und Geschichte. Zur Kritik und Metakritik der historischen Vernunft, Fr. am M., 1972.



## ПОЛЕМИКА

**Н.И.Басовская (РГГУ)**

### **За плодотворный плюрализм подходов к изучению прошлого**

Я испытываю глубокое удовлетворение от того, что сотрудничество части наших коллег из Российского Государственного Гуманитарного Университета с коллегами из Института всеобщей истории дает такие интереснейшие плоды. Воистину, в семинаре по истории частной жизни и на нашей конференции веют ветры современности, не в конъюнктурном, а в самом глубоком, как мне представляется, серьезном смысле. Мы имеем здесь возможность услышать голоса тех, кто сочетает высокий профессионализм с самым хорошим представлением о том, что делается сегодня в науке, с готовностью к серьезной дискуссии. Попытки упрекнуть кого-то из авторов в непривычности формы доклада, град вопросов, который обрушился на М.А.Бойцова, напомнили мне споры о “серьезной” музыке. Существует ли понятие “серьезная” и “несерьезная” музыка? Мне кажется, нет. Есть только понятие хорошей музыки – и нехорошей, несостоявшейся.

Представленный М.А.Бойцовым текст оказался в состоянии создать напряженное полемическое поле уже в процессе ответов автора на вопросы. Следовательно, он едва ли может быть отнесен к разряду “плохой” или “никакой” музыки. Неординарность формы подачи материала и некоторый полемический задор автора все еще излишне взволнованно воспринимаются в отечественной академической среде, в то время как в докладе речь идет как раз об изменениях в способах писания истории и ее изучения в конце нашего столетия.

Что же это? Очередной “кризис” исторической науки? Да нет, просто в очередной раз появилось немало свидетельств бесконечного приумножения подходов к познанию прошлого. Например, задуманный и осуществленный нашим университетом и Институтом всеобщей истории сборник “Казус”, в котором авторы сосредоточились на частном, индивидуальном, может быть, даже случайном, нетипичном в историческом прошлом. Как и многие другие современные события в нашей науке, это говорит о том, что она жива, что бы вокруг нее ни происходило, сколько раз ее ни пытались бы вычеркнуть из числа так называемых серьезных наук. Даже сегодня в докладе И.М.Савельевой и А.В.Полетаева прозвучало все-таки что-то вроде упрека истории в том, что она – не социология и не экономика. Да, она – “не”. А в других докладах, и М.А.Бойцова, и П.Ю.Уварова, превосходно прозвучало то, что они, по-моему, и хотели сказать, Да, она всегда была особой,

эта наука, сохранившая музу Клио. Она всегда занимала – в разные времена по-разному – место такое, какое у т.н. точных или социальных наук вызывало взволнованность. Ну и пусть волнуются. Тем приятнее, что мы принадлежим к какой-то очень своеобразной науке. Ее пограничное с искусством и литературой положение, как прекрасно показал П.Ю.Уваров, является, по-моему, ее органическим свойством.

Чрезвычайно интересной представляется затронутая на конференции проблема цели истории как таковой и задач ее научного познания. В этом году я написала короткий текст вступительной лекции для наших студентов-историков, которую я назвала, процитировав одно из пушкинских писем: “Цель истории – история”. В сущности, здесь уже предлагалась дискуссия на эту тему. Цель истории – история, и никакой другой цели у нее, по-моему, не может быть. Как писал Ю.М.Лотман в своей статье “Клио на распутье”: “Когда истории придается чуждое ей понятие цели и смысла, она перестает быть историей”. И я здесь глубочайшим образом согласна с этим замечательным мыслителем. Когда истории приписывается цель, она, по-моему, как наука умирает. Как мне представляется, она изучается не “для”, а “потому что”. Потому что мы не можем не заниматься историей, потому что это нам дано в нашей природе, в антропологической структуре. Мы не можем этого не делать, это наше свойство. Человечество подобно жене Лота, которую предупреждали не оглядываться – оглядывается, и ничего с этим не сделать. Прошлого в полном смысле нет – оно внутри нас, мы в нем живем. Это часть нас, это как дышать, как мыслить. Наука второй половины XVIII-XIX вв. приписала истории, историческому знанию принцип вертикального прогресса. Технический прогресс, промышленная революция создали такие иллюзии, что показалось, что нет сомнений в постоянном движении вперед и вверх... Я согласна с тем тезисом М.А.Бойцова, в котором он говорит, что по существу мы сейчас в России – в мучительной и очень сложной ситуации. Мы расстаемся – но не с марксизмом-ленинизмом – с подходами, свойственными той самонадеянной эпохе.

Недавно в РГГУ проходила конференция, посвященная российской истории XVIII века. Ее лейтмотивом, прозвучавшим в интереснейших докладах, была мысль об абсолютной недостаточности наших устоявшихся представлений. Поистине наша наука подошла к рубежу веков и тысячелетий, я бы сказала, в сократовском состоянии, поняв, что по-настоящему мы ничего не знаем и никогда знать не будем. И это не лишает занятия историей смысла, это просто наше свойство. Как это делать лучше, интереснее, по-разному – вот это, вероятно, будет заботой нормальной, не болеющей, не живущей в тоталитарном обществе исторической науки. Все поиски метода, все поиски единого языка – не единого, но сопрягаемого языка – у профессионалов – это в высшей

степени продуктивно. Но считать, что это приведет к какой-то конечной станции – наверное, впадать в очень большую наивность.

В сущности человечество, с помощью истории в том числе, ищет самого себя и находит понемножку, а потом снова теряет. И когда здесь М.А.Бойцов слегка, конечно, кокетливо говорил о том, какие у него искания и как ему тяжело и как он ищет помощи собратьев, это была такая игра, но ведь с помощью игры делается много серьезного в науке и в жизни. “Вся наша жизнь игра” – это уже не ария, это как пословица или поговорка, отражающая реальную жизнь. Всякий генерализирующий подход тоже должен оставаться, и дух докладов тем приятен, что никто не стремится уничтожить один подход или другой. Если удастся приподняться на какой-то генерализирующий уровень, лишь бы он ни был догматическим и насильственным, – очень хорошо. Если потом вновь приходится это пересмотреть, то это так нормально, так свойственно самому человеку. Ведь в сущности, человечество – это совокупность человеков. У нас так часто понятие становится самодействующим. Например, было принято говорить: “Государство о тебе думает”... Да кто оно такое, чтобы думать? Его одушевили, ему приписали человеческие свойства. Но ведь часто и человечество рассматривается как что-то совсем отдельное, а это – совокупность многих-многих человеков. Поэтому на самом деле, я думаю, поиски рубежа веков, которые у нас проходят более буйно в силу особенностей нашей истории, – это очередное нормальное состояние нашей истории, и кризис в этом смысле плодотворен.

Я думаю, что историк на самом деле должен иметь деньги и досуг, чтобы не быть обязанным стать патриотом или шовинистом. И в сущности эта же мысль присутствует в докладах моих более молодых коллег. И если какой-то аспирант поехал зарубеж не только за наукой, а чтобы получать приличную стипендию и иметь нормальную для историка возможность сосредоточиться не на кусочке хлеба, а только на архивных изысканиях, то это прекрасно. Величайшие гиганты прошлого, которые стремились писать историю *sine ira et studio*, на любом микро- или макроуровне имели одно из свойств, которого так мы лишены (П.Ю.Уваров только что об этом говорил на примере Л.П.Карсавина) – возможность предаться этим штудиям в интеллектуальном спокойствии.

Завершая, хотелось бы сказать: как симпатичны различия мнений, как нормально, что кризис перестает восприниматься нами истерически, хотя у нас миллион причин для всевозможных истерик. И то, что есть Институт всеобщей истории, и есть такой семинар, где этой истерике не подвластны коллеги, члены нашего сообщества, это прекрасно с любой дискуссией и с любым результатом. Дискуссию о “цели” и “смысле” истории можно было бы провести, взяв эти понятия решительно в кавычки.

**А.Я.Гуревич (ИВИ РАН)**

**Не “Вперед, к Геродоту!”, а назад – к анекдотам**

Я полагаю, что постановка вопроса противоположности микро- и макроистории ложная. Императивом исторического познания является синтез, а достижение его, посильное для тех или иных историков, всегда относительное и неполное, неизбежно требует применения самых разных методов и подходов, в том числе и тех, которые ныне называют микроисторическими. Это первое. Во-вторых, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что приемы микроистории далеко не в равной степени применимы к разным эпохам исторического процесса. Случайно ли, что труды Гренди, Леви и других представителей этого направления посвящены периоду едва ли более раннему, нежели XVI-XVII в.в. Микроистория как один из методов исследования обретает все свое значение лишь с появлением новых категорий исторических источников. Что же касается предшествующих эпох, в частности, средневековья, то здесь применение подобных методов, к сожалению, чрезвычайно ограничено. Поэтому когда Ю.Л.Бессмертный в своей вступительной статье к первому выпуску альманаха “Казус” пытается в явной или неявной форме противопоставить микроисторию истории ментальностей и исторической антропологии, то он бьет мимо цели. Он превосходно знает, сколь редко медиевисту удастся достигнуть уровня исследования, при котором рельефно выступают отдельные индивиды и что поэтому изучение коллективных представлений по необходимости остается преобладающим.

Одностороннее вычленение отдельных фактов и событий в разряд микроисторических, как мне кажется, ведет к подмене серьезного исследования рассказыванием анекдотов, которые, может быть, заняты сами по себе, но находятся в явном противоречии с той постановкой вопроса, какая обозначена в этой вступительной статье. Я убежден в том, что Б.Лепти, Ж.Ревель, Н.Дэвис, Е.Гренди и другие историки понимали под микроисторией нечто иное, нежели то, что преподносится читателю в ряде статей “Казуса”.

Историческая наука - это наука о конкретном, индивидуальном, неповторимом, и эта истина была сформулирована уже столетие назад в трудах неокантианцев, но подобная ориентация исторического познания не имеет ничего общего с занимательными рассказами, какие были в ходу у части историков XVIII и XIX в.в. (о бесконечной устарелости этого жанра справедливо пишет в своей статье и сам Ю.Л.Бессмертный). Историк изучает обособленные исторические явления, но, с одной стороны, он едва ли сам способен выделить эти явления, не рас-

полагая общей гипотезой, а - с другой - неизбежно включает его в некую более синтетическую и общезначимую линию развития. Вы говорите о микроистории как о некотором автономном направлении. Один из корифеев микроистории - а вы знаете, что это прежде всего итальянская почва - Карло Гинцбург. Он микро-историк? Да, он написал “Бенанданти”, написал “Сыр и черви”. Это работы, основанные на совершенно сугубо конкретном материале, но последняя его монография, мне известная, - это увесистый том, посвященный шабашу ведьм, и он начинается свое исследование с каких-то пра-исторических времен и доводит его до демономании, демонологии конца средневековья - начала нового времени. Это микро-история? Значит, историк, который настаивает на том, что микро-история - существенный аспект исторического исследования, не может довольствоваться этим, он раскрывает совершенно другие перспективы своих собственных исследований. Я думаю, что постановка вопроса должна быть изменена. Это особая тема, но я не ради этого попросил слова. Как уже, наверное, многие из здесь присутствующих догадались из моего несколько ехидного вопроса Михаилу Анатольевичу, речь пойдет о его докладе. Дело не в том, чтобы вести полемику по каким-то конкретным научным вопросам, ведь у любого историка может быть своя собственная точка зрения. Речь идет, к сожалению, о некоем социальном и психологическом влиянии. Нас захлестывают какие-то волны, идущие из масс-медиа, телевидения, газет, журналов и т.д., и это приводит к тому, что тот островок, на котором ютится гуманитарное здание, также вовлекается в это; на него тоже попадает эта пена, и в результате мы теряем грань между научным исследованием и фельетоном, мистификацией, безответственными заявлениями. Вот, к сожалению, я должен сказать, что при глубочайшем уважении к Михаилу Анатольевичу как исследователю, с работами которого я был знаком и раньше, этот его текст меня поразил своей несостоятельностью, безответственностью и тем самым неоправданностью его существования. Еще более меня поразило то, что этот текст тиражируется. В марте этого года состоялось обсуждение доклада Михаила Анатольевича, во втором номере “Казуса” будет опубликован этот текст. Значит, это уже номер два. Теперь, оказывается, сегодня мы снова обсуждаем этот текст. Это значит, что мы придаем ему какое-то сакральное значение. Я хочу в нем немножко разобраться. Хейден Уайт назвал одну из своих книг, менее знаменитую, чем “Metahistory”, “The content of the form”. Смысл такой - вы выбираете определенную форму изложения, исторического или другого, и эта форма предопределяет содержание вашего дискурса, как теперь модно выражаться. Короче говоря, содержание, комплекс идей, характеристика тех явлений, которые вы изучаете, степень проникновения в них, степень серьезности анализа зависит прежде всего от того, какую форму



вы выбираете. Я задал Михаилу Анатольевичу вопрос: "Не фельетон ли это?" Нет ли здесь замысла поиграть с публикой, эпатировать ее, выдать за научный доклад, опирающийся на принципы серьезного историка, каким является Бойцов, нечто другое - какую-то игру, эпатаж. И почему у меня возникла эта мысль. Далее следуют пункты. Первый пункт. Мысль Михаила Анатольевича состоит в том, что историческая наука существует лишь постольку, поскольку в сознании общества, ее порождающего и потребляющего, есть категория будущего. В сознании европейцев XIX в. категория будущего неизменно присутствовала, в зависимости от их или иных философских ориентаций они говорили о каких-то новых временах, новых формациях, новых свершениях мирового духа и т.д., и эта идея была на нашей благословенной земле вплоть до недавних времен, поскольку мы жили, собственно, не в настоящем, а в преддверии вот этого самого светлого будущего. Теперь, когда категория будущего выветрилась из общественного сознания, перестала существовать сама история. В конечном итоге, говорит Михаил Анатольевич, историческая наука развалилась на кусочки, она утратила свой *raison d'être*. Итак, была великая историческая наука в XIX веке, который по праву называют веком историков. А что в XX в.? Тут я должен отвлечься, поставив вот какой вопрос. Вы можете себе представить историю русской литературы XIX в., в которой были бы сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, критический реализм и что-то еще, без единого имени - ни Пушкина, ни Одоевского, ни Толстого, ни Гончарова или Достоевского, а только эти измы? Это была бы великая профанация, которая тоже уже в начале XX в., в 20-30-х гг. имела место. Подобно истории литературы история исторической науки представляет собой сумму вкладов и достижений разных историков. Скажем, когда я писал книгу об историческом синтезе школы Анналов, я был вынужден отказаться от метода многих своих предшественников. Говоря о школе Анналов, они приводили примеры из Дюби, Ле Руа Ладюри, Ле Гоффа, Шмитта, Блока, Февра, для того чтобы иллюстрировать какие-то общие тезисы. Да, существует школа Анналов. Но каждый представитель этой школы глубоко своеобразен. И так же, столь же своеобразны и приверженцы других школ, которые с "Анналами" имеют много общего или конкурируют с ними и пр. Михаил Анатольевич говорит о крахе исторической науки XX в., не привел ни одного конкретного факта, не сославшись ни на какое движение мысли, ни на какую школу, ни на какую тенденцию, которую мог бы поддержать или наоборот отрицать. Почему он так делает? Потому что форма, которую он выбрал для изложения, это фельетон, содержание которого определяется тем, как я уже сказал, что за стенами этого благословенного учреждения находится. Нас захлестывают эти волны, к сожалению, и у нас, очевидно, не всегда достаточно иммунитета, что-

бы этому ополчению, простите меня за грубое слово, противостоять. В результате единым мазком снимается вся характеристика движения исторической мысли в XX столетии. Правда есть одно замаскированное имя - это имя Иммануила Канта. В тексте доклада говорится, что этот упадок, собственно, начался с неокантианства. Я глубоко убежден, и в этом случае я отнюдь не оригинален, что становление исторического знания в его более глубоком понимании началось именно с неокантианства и что проклятием исторической науки было засилье Гегеля, в идеалистической или в марксоидной форме. Неокантианство открыло специфику исторического познания, ориентировало историка на самое главное - во-первых, на понимание того, что история, по выражению Марка Блока - это наука о человеке, о людях, организованных в группы, в общества, и проживающих свою жизнь в определенном потоке времени. Вы знаете слова Марка Блока о том, что историк подобен людоеду, там где пахнет человечиною - там его добыча. Неокантианство указало на эту проблему - не история идей, не история производительных сил, не история государства, а история человека, проживающего вот в этом обществе, является подлинным предметом исторического познания. Это первое. И второе - историческая наука - это исследование, направленное на изучение неповторимого, конкретного, потому что во времени уже ничто не может повториться, в один и тот же поток исторического времени войти невозможно. Вы понимаете, мне неловко об этом говорить, ибо все это мы проходили тысячу раз. Но отсутствие кумулятивности, игнорирование элементарных, казалось бы, во всяком случае, трудно оспариваемых вещей, присутствует в тексте, о котором я осмелился заговорить. Я убежден в том, что историческая наука в XX в. достигла таких успехов, перед которыми в значительной мере меркнут, во всяком случае, антикизируются, достижения исторической науки предшествующего века, что впервые - и это главное - в XX в. историческая наука обрела свою собственную, как это теперь принято говорить, - идентичность. Она стала глубже познавать самое себя, что, собственно, и диктуется неокантианской эпистемой; историческая наука сделала, наконец, тот мощный рывок, который ей дал возможность вырваться из-под глыб историософии, глобальных генерализаций, которые мешают историку увидеть конкретное, а не иллюстрировать эти общие законы и т.д. Таким образом историческая наука приобрела свою суверенность. Я понимаю, что Михаилу Анатольевичу приведенный выше пример школы Анналов не очень по душе. Я, подозреваю, может быть у меня насморк, и я плохо обоняю, но мое испорченное обоняние дает мне запахи Института MGH, может быть Сорбонны. Но не буду строить гипотезы, всегда делать такого рода предположения рискованно. Каждый выбирает то, что он считает целесообразным и продуктивным в его исследовании. Но в любом случае

прежде чем настаивать на том, что историческая наука, развалившись на кусочки, умерла, надо уяснить себе то, что происходило с ней в XX в. Но форма фельетона исключает это. И поэтому кроме имени Канта я нашел в дополнение только два имени - Маркса и Жванецкого. Эта безлюдная историческая наука, где нет традиций, имен, школ, а все сводится к тому, что поскольку категория будущего выветрилась из сознания и читателей, и исследователей, то, стало быть, историческая наука потерпела полный крах. Дело в том, что категория будущего как обязательный аспект исторического повествования, является неотъемлемой характеристикой не исторической науки взятой в целом, а того, что немецкий мыслитель Карл Поппер 50 лет тому назад примерно назвал историцизмом в противоположность историзму. Историзм - это здравый научный подход, в соответствии с которым люди в разные эпохи были различны, обладали инициативой и способностью в активной мере участвовать в историческом процессе. В противоположность историзму историцизм это такое течение исторической и философской мысли, которое подчиняет современное общество будущему, превращает его в "закрытое общество", по выражению Поппера, движущееся по законам, которые от людей уже не зависят, и человек обречен оставаться игрушкой этих непреложных законов. Поэтому книга Поппера называется "Открытое общество и его враги", и наряду с Платоном, который помещал идеальное в его представлении общество в прошлое, как это вообще свойственно античной мысли, два важнейших врага открытого общества это Гегель и Карл Маркс. Так вот, для этой тенденции исторического и историософского знания, действительно, категория будущего является определяющей. Удалите из исторической концепции Маркса коммунизм как конечную цель исторического развития, элиминируйте из абсолютной идеи Гегеля ее завершение в сознании самого Гегеля, и их системы развалятся. У них категория будущего является детерминантой. Что касается историков, которые не придерживаются принципов историцизма - и слава Богу - то перед ними стоят совершенно другие перспективы. И здесь я бы ссылаясь не на категорию будущего, а на то, о чем лучше всех сказал Йохан Хейзинга: "История, - он имеет в виду историческое знание, историческое исследование, - это та интеллектуальная форма, в которой общество отдает отчет о самом себе". Здесь нет категории будущего, здесь есть категория прошлого и настоящего. Общество не может не обращаться к истории. Но почему оно это делает? Оно пытается углубиться в свое собственное "я". Не для того, чтобы проецировать свой образ на прошлое, а для того, чтобы сопоставить свое самосознание с самосознанием людей, которые жили в разные периоды этого прошлого. Так вот, здесь Михаил Анатольевич напрасно нас лишает всякой перспективы и провозглашает, ну не так, как Фукуяма, но все-таки об этом же речь и

идет, о конце истории. Я думаю, что не нужно впадать в панику, нужно всерьез разбираться в этих проблемах. Я хотел бы задать вопрос: все-таки, есть какая-либо теоретическая, абстрактная возможность договориться, что есть какие-то завоевания исторической науки, какие-то общие и самые главные принципы исторического исследования, его гносеологические основы, которые нужно специально изучать? Последнее, что я хотел бы сказать. Для историков XX в., в большей степени, чем для их предшественников, прежде всего, позитивистов, характерно углубление в свой собственный понятийный аппарат, в свой механизм работы. Как я работаю, какими средствами удастся мне разговорить это прошлое, если не воскресить его, как говорили Мишле или Буркхардт, то во всяком случае сделать возможным для нас понять это прошлое? Каковы эпистемологические основы исторического познания? Это важнейший и труднейший вопрос. Мы его обходим, мы подменяем его псевдо-проблемами. И я боюсь, что сегодня дискуссия идет тоже несколько по касательной, а не затрагивает существо дела.

#### С.И.Лучицкая (ИВИ РАН)

#### Исследование без рефлексии? – или о мнимых апориях отечественной медиэвистики

Я восприняла доклад М.А.Бойцова как-то лично. Когда я прочитала его в первый раз, у меня была реакция отторжения, но при повторном прочтении я попыталась понять, почему, собственно, М.А.Бойцов решил написать такой опус. И чем больше я этот доклад читала, тем больше я понимала, что это в какой-то степени исповедь нашего поколения. Я думаю, что эта дихотомия теории, с одной стороны, и архивных штудий, с другой, - в определенной степени следствие какой-то деформации в структуре нашего профессионального образования и вообще в структуре исторического знания. Я думаю, что этот методологический нигилизм и отторжение теории являются проявлением некоего комплекса неполноценности, который присущ нашему поколению. В свое время – а мы в большой степени – дети брежневской эпохи – для нас всякая теория и методология всегда отождествлялась с научным коммунизмом, с идеологией и проч. Если у нас и была какая-то теоретическая подготовка, то она сводилась, как правило, к весьма пошлому советскому псевдомарксизму. Естественно, что этот псевдомарксизм порождал реакцию отторжения. Мы изучали экзотические иностранные языки, искали неопубликованные источники и таким образом пытались утвердиться в своей интеллектуальной самостоятельности. Но, к сожалению, эта дихотомия до сих пор присутствует в на-

шем сознании, и мы не можем ее преодолеть.

Наверное, сам М.А.Бойцов не разделяет той точки зрения, что историк только предсказывает будущее. Еще древние сформулировали задачу истории: она состоит не в том, чтобы радоваться, смеяться, плакать, а в том, чтобы понимать. И всем понятно, что у корабля, который не имеет курса, не может быть и попутного ветра. В этом смысле историк, обнаруживший самые богатые архивные фонды, обречен так или иначе на неудачу, если он не руководствуется общей идеей. Но эта дихотомия в нашем сознании существует во многом потому, что в свое время мы имели только отрицательные примеры либо того, либо другого. Ясное дело, что настоящее историческое исследование рождается из стечения двух обстоятельств, из сочетания двух факторов. С одной стороны, это – новый материал, а с другой стороны – новая проблематика. К сожалению, именно в плане теории все эти социологические обобщения, скорее, представляли собой отрицательный пример, от которого хотелось оттолкнуться и противопоставить ему что-то серьезное и основательное, в частности, знаточеские штудии, архивную работу и поиски неопубликованных источников. Я думаю, что, возможно, с этим связано то, что мы до сих пор ничего не написали и ничем серьезным о себе не заявили.

Но мне кажется, что объяснение наших бед кроется во многом и в каком-то внешнем факторе. К сожалению, такое же противопоставление теории и знаточеских штудий и архивной практики, все эти сентенции можно слышать и в коридорах Сорбонны и других, ориентирующихся на позитивистскую практику научных учреждений. Действительно, очень мало настоящих историков, и в основном то, что знаем мы, это какой-то массовый, серый поток. Мы не знаем сочинений умных, талантливых историков, которые могли бы создать альтернативу, а плоская вещь, сказанная по-французски или по-немецки производит почему-то на нас намного большее впечатление и вызывает большее доверие и уважение, чем та же глупость, сказанная или написанная по-русски. Отсюда, мне кажется, наш несколько нездоровый эпатаж и стремление видеть в архиве и знаточеских штудиях панацею от всех бед.

Мне хотелось бы также сказать и о другой стороне дела. Признаться, меня тоже несколько смутила фельетонная манера этой статьи. Мне кажется, что в какой-то степени создан весьма опасный прецедент, когда вещь, предназначенная, может быть, для прессы, приравнивается к жанру научной статьи. Я думаю, что тем самым открывается весьма опасный путь, по которому пойдут люди мало профессиональные и достаточно невежественные. Мне кажется, это тенденция, которая, к сожалению, характерна для нашей ситуации, и во многом она объясняется тем, что мы сейчас переживаем эпоху безвременья и у нас, по прав-

де говоря, нет настоящих лидеров в исторической науке, а международный престиж нашей науки довольно низок. У нас нет ученых, которые задавали бы настоящую планку, которые создавали бы действительно настоящие интеллектуальные ценности. Пока мы будем находиться в этой ситуации (а мы будем в ней находиться, поскольку у нас нет никаких внутренних резервов), мы будем поддаваться на такого рода провокации.

### М.Ю.Парамонова (ИВИ РАН)

#### Несбывшиеся надежды

У меня такое впечатление, что то, что мы сейчас обсуждаем, имеет отношение не столько к таким сублимированным абстракциям, как методология истории, метод, пути познания, сколько к проблеме самоидентификации и самопознания историков нашего поколения. Мне кажется, это большая тема, которая звучит здесь все время и является доминирующей. Мне кажется неудивительным, что именно доклад М.А.Бойцова попал в фокус зрения. И то, что дискуссия по нему приняла такой разворот, тоже неудивительно, потому что с текстами, которые мы сейчас обсуждаем, выступили Копосов, Уваров и Бойцов – т.е. люди, которые должны стать своеобразными лидерами нашего поколения. Они выступили со своего рода программными текстами. Но почему же речь идет в основном о М.А.Бойцове? Мне кажется, что и доклад Н.Е.Копосова, и доклад П.Ю.Уварова более академичны. С ними можно спорить, соглашаться, не соглашаться – но они более академичны по жанру. В том, что касается текста М.А.Бойцова, я согласна его воспринимать как некий манифест, имея в виду не идеологический уровень, а уровень некоего зеркала, в котором мы так или иначе отражаемся.

Я тоже буду говорить об этом тексте, и это не удивительно, потому что он очень интуитивен, он как вскрик, с которым я не согласна ни в одном пункте идеологии, но который я принимаю как факт, который существует. Мне кажется, что три вещи в этом тексте находятся в своеобразном контрапункте: форма, пафос и некие последствия, которые это может иметь. Здесь много говорилось о том, что это фельетонная вещь. У меня не возникло такого ощущения. Это, на мой взгляд, некий симбиоз расширенного до 30 страниц рекламного слогана и проспекта историософского труда. Точно так же в большом историософском труде или рекламном слогане можно принимать пафос или отрицать его, но понимать, что какие-то отдельные вещи могут вызывать полемику с точки зрения своей конкретной правдивости, о чем здесь уже много говорилось.

Второй момент касается пафоса. Пафос, безусловно, трагический. С другой стороны, здесь есть какой-то пафос разрушения от слабости. В свое время А.Я.Гуревич сказал, что предложил бы другое название – “Вперед, к Герострату!”. Я воспринимаю это в другой модальности, для меня это – отражение нашей общей слабости, и интеллектуальной, и душевной, потому что наше поколение, я думаю, воплотило в себе слабости всей той традиции, в которой мы существуем. Русской, российской традиции, с сильным стремлением к большой эсхатологии и с малым стремлением к саморефлексии, к поискам путей спасения и отказу от того, чтобы обсуждать, что же мы все есть на самом деле. В этом пафосе отрицания я вижу трагическую вещь. На это, конечно, наложилась масса других обстоятельств. В частности, как говорила С.И.Лучицкая, все мы выросли в 70-е гг. и все тутошнее в себе несем.

Что касается последствий, то мне кажется, что у этого текста может быть два типа последствий. Один – прочитать и забыть. Другой – когда они будут иметь, на мой взгляд, опасные выражения. Мы, в общем, тоталитарные люди, поэтому ищем истину, и при некоторых условиях этот текст может прозвучать как декларация идеологии, которая будет единственно прогрессивной и доминирующей. Это мне кажется достаточно опасным. Я считаю, что если рассматривать это как частное мнение, это текст, который, безусловно, важен. Если рассматривать это как какую-то декларацию, которая претендует на пафос идеологической программы, это, в принципе, было бы достаточно опасно.

Теперь очень коротко по поводу конкретного момента, к которому я придиралась и который мне кажется одним из проявлений того, как некая аргументация для построения общей картины может быть уязвима. Это момент, касающийся зарубежных поездок. По мысли М.А.Бойцова, мы движемся в русле общеевропейской парадигмы, и молодое поколение делает другие вещи, открывая новые архивные материалы и разрабатывая новые методики. Сам этот аргумент о поездках наших аспирантов, молодых ученых, на мой взгляд, не состоятелен. Во-первых, поехать на 2 месяца или на год и выучиться за это время новым методикам невозможно, потому что учиться нужно долго. Во-вторых, мы ездим уже 10 лет, а выходов пока нет. Нет фигур в нашем, например, поколении, которых мы бы могли представить. Это грустно, но приятно, что мы хотя бы об этом говорим.

**Н.Ф.Усков (МГУ)**

**Против монополии на метод**

Доклад М.А.Бойцова уже во второй раз становится предметом весьма бурной полемики. Надо сказать, что дискуссия после первого об-

суждения, собственно, не прекращалась, все это время она шла, а точнее бурлила, в кулуарах. Кажется в пору проводить специальную конференцию о не до конца забытом историке русского постмодерна М.А.Бойцове. В чем причина такого “успеха”, обернувшегося для автора доклада (или статьи) весьма нелिцеприятными, если не сказать, оскорбительными выпадами? Сегодня в тексте М.А. усмотрели “фельетон”, “элемент бульварной прессы”, “скандальность”; за глаза докладчика называли “торговцем опиумом”. Меня как ученика М.А.Бойцова, эти выпады по меньшей мере заделали.

За перипетиями дискуссии мне видится некая каста, почувствовавшая в докладе М.А. угрозу своим позициям. К ней по большей части принадлежат те, кто свято уверовал в истинность лишь собственного способа мыслить и писать историю. Как оказалось, лишить их покоя и гордой уверенности в собственной правоте может просто смех. Они не против того, чтобы проблемы истории обсуждались “серьезно”: во всеоружии сносок, в привычном плетении иностранных словес, эдаких монстров нашего “низкопоклонства” и тяги к наукообразию. Они лишь против “балаганного тона”, они беспокоятся о неопытном юношестве, ибо туман загадочности рассеялся, и теперь всякий сможет толковать то, что толковать могли только они – маги, волхвы истории, единственно владеющие ее сакральным языком. Язык М.А.Бойцова – вот что, собственно, вызвало столь бурное неприятие у некоторых из наших коллег и, к сожалению, помешало им обратить внимание на весьма важное, с моей точки зрения, замечание докладчика: “Следует перенести акцент с построения разных теорий и схем на углубленное выявление свойств именно этого фрагмента на фоне индивидуального, личного опыта историка”.

Способность к “построению разных теорий и схем” (равно как и язык исторического текста) – не единственный критерий, отличающий историка-профессионала от дилетанта. Есть еще целый набор специальных знаний и навыков, которые любителям теорий и схем часто мешают: дайте русисту почитать третий том “Материальной цивилизации” Ф.Броделя с потрясающими выкладками по поводу “освоения” казаками Сибири... Если исследователь отказывается от теорий и схем, то это не значит, что он перестает быть исследователем. По меньшей мере, теории и схемы могут не выстраиваться, не получаться. М.А.Бойцов попытался объяснить причины этих неудач. С его объяснениями можно соглашаться или нет, но трудно поспорить с тем, что вкус к масштабным генерализациям ныне потерян: повсеместно наблюдается рост “знаточеских” штудий, исследований “фрагментов”, “осколков”, “казусов”, индивидуальностей.

В некоторых выступлениях прозвучала мысль о том, что текст М.А.Бойцова порожден проблемами поколения 30-40-летних. Дескать,

пора безвременья отняла у них лучшие годы, и теперь... Я бы решительно возражал против "приватизации" М.А. каким бы то ни было поколением, пусть отдельные его представители и охвачены пафосом самобичевания. Проблемы, о которых шла речь в его докладе, вполне осознаются и поколением 20-летних, к которому принадлежу я и те, кто вместе со мной заканчивал университет, и наши нынешние студенты.

С одной стороны, мы устали от бесконечного методологического поиска, который все больше представляется "монадой без окон и дверей". В докладах на этой конференции не раз звучала мысль о том, что та или иная методологическая новация устаревает, не успев опереться на опыт конкретных исследований. Пожалуй, нужна уже отдельная жизнь, чтобы познакомиться со всеми методологическими изысками последних 20 лет. Методологический поиск, кажется, окончательно отделился от практической истории, превратился в самостоятельную дисциплину, что подтверждают и судьбы отдельных историков, увлекшихся методологией: у них свой круг общения, свои "культовые" имена, свой стиль и ритм жизни.

С другой стороны, мы осознаем, что история в течение XX в. стала сложнее, изолированной сделался познавательный инструментальный исследователь, бесконечным – перечень вопросов, который тот хотел бы задать человеку прошлого. Перейти от одного индивида к другому, выйти за пределы одной социальной группы, одного, очень короткого промежутка времени стало мучительно сложно: генерализация буксует, а затем рассыпается, не в силах примирить открывшееся многообразие прошлого. Попробуйте собрать разбросанные по трудам медиевистов черты так называемой "современной личности", той самой, которой постоянно противопоставляют "средневековую личность" и таким образом описывают ее, и вы сами удивитесь: неужели это – "я"? Что же происходит с так называемым средневековым человеком вследствие такого моделирования?

Фрагментаризация истории – объективный итог развития той сферы знания, которую еще недавно именовали "наукой истории". Неизбежное следствие фрагментаризации – потеря интереса к методологическим поискам: теории и схемы все равно не получаются, а вот увидеть, как жил реальный, а не "средний" или "типичный" человек, как функционировала конкретная группа конкретных людей в конкретном человеческом времени, и возможно и интересно. Если и нужны теории и схемы сегодня, то только для того, чтобы констатировать их несостоятельность на конкретном примере, казусе. Наверное, без обобщения фрагментов историк все равно не обойдется, но это обобщение возможно лишь в рамках его личного исследовательского опыта. Соответственно иначе выглядит масштаб обобщения. Естественно, у та-

кой истории – свой язык, он живой и ироничный, как сама жизнь, о которой этим языком повествуется: этот язык не претендует на то, чтобы быть понятным только узкой касте, ставящей миру диагнозы и очерчивающей его судьбы. Как кажется, некоторый шанс удержаться на плаву теориям и схемам дают школьные и университетские курсы, учебники. Надолго ли?

Мне показалось, что между докладами М.А.Бойцова и П.Ю.Уварова есть много общего. Конечно, М.А.Бойцов обосновывает свои выводы, исходя из общего взгляда на развитие мирового историописания от Геродота до наших дней – перспектива, естественная для университетского преподавателя историографии. П.Ю.Уваров ищет опору в трудах одного из самых ярких русских медиевистов, Л.П.Карсавина. В семинаре, читая и слушая доклады П.Ю. о странных парижанах XVI в., мы были весьма заинтригованы. Действительно, странные, симпатичные, живые люди, эти парижане... Но что же дальше? Всякий раз П.Ю. отвечал: "Ничего". Понять человека как всеединство, воскресить его – задача почтенная и по сути своей сходная со стремлением М.А.Бойцова, отдалившись от "построения разных теорий и схем", углубиться в "выявление свойств именно этого фрагмента".

### **М.В.Бибииков (ИВИ РАН)**

#### **Микроподход в историческом исследовании как вызов банальности в истории**

Я абсолютно уверен, что то, что мы сегодня рассматриваем, – это не результат какой-то случайной аберрации или недоразумения. Мы действительно обсуждаем феномен, родившийся на наших глазах и развивающийся, имеющий свои законы развития, важный для нас, и ход той дискуссии, которая сегодня происходит, различия во взглядах и дискуссионтов, и самих авторов докладов, демонстрируют то, что микроподход в историческом исследовании, его взаимоотношение с макроподходом – вещь актуальная, реальная, и как бы ни хотелось, может быть, от этого отвернуться или объявить это обычным традиционным делом, – это не так.

Начну с сюжета, который затрагивается в докладе И.М.Савельевой и А.В.Полетаева. Я категорически не согласен с тем, что дело все – в предмете исследования, что история завода, даже маленького завода, – это само по себе уже микроистория. Нет. Когда те традиционные истории советских заводов, о которых мы слушали и читали, служили средством демонстрации каких-то общих, догматических идей – это не являлось микроподходом, микроанализом. Более того, изучение какого-то представителя рабочего класса как типического носителя идей

русского пролетариата – тоже не является микроанализом. И наоборот, изучение целых цивилизаций может поддаваться (и я приведу сейчас пример) микроанализу. Несколько лет назад в Мюнхене проходила конференция, сопряженная с прекрасной выставкой “Земля Ваала”, которая состояла из мельчайших археологических находок, очень изолированных, очень частных. Но выставка представляла цивилизацию, “претендующую” на роль праматери всех европейских алфавитов и, тем самым, она привлекла к себе внимание самых разных специалистов. Эбла и Угарит анализировались на основании микроисторического подхода, и только такого рода анализ мог быть проведен на материалах изолированных находок, которые не укладываются в общую схему того, что мы себе представляли об этом регионе или о начальных стадиях развития человечества.

Вообще, в появлении микроистории я вижу реакцию на генерализирующие понятия – на “классы”, на типологические обобщения и т.п.. Реакцию, ставящую задачу выявить то, что не совпадает с этой генерализацией. Это, если хотите, война с банальностью в истории. Это одновременно и вызов односторонности оценки того или иного исторического факта. Микроподход, изучение частного, казуса, предполагает вариативность реакции того или иного элемента на генерализирующее влияние тех категорий, которые предлагает макроанализ. В связи с этим позволю себе две ремарки, связанные с докладом М.А.Бойцова.

Первая касается кризиса концепции времени и сегодняшнего кризиса исторической мысли вообще. Почему у меня вызвала недоумение фраза, сама по себе не вызывающая сомнений, о том, что в конце поздней античности возникает идея “светлого будущего”. При ответе М.А.Бойцова на мой вопрос все разъяснилось: речь идет о христианстве. Но почему мы сводим христианство только к идее “светлого будущего”? Ведь до светлого будущего предстоит еще Страшный суд и Апокалипсис. Причем в какие-то периоды исторического сознания, собственно, именно это является реальностью, а что будет дальше – неизвестно. И в какие-то периоды именно апокалиптическое сознание, апокалиптический историзм преобладает, что я пытался в свое время показать на примере поздневизантийской историографии. “Хорошее время” случается редко. Хорошие времена бывают, но, как правило, в прошлом. И если это не агитка, если это действительно историческая рефлексия (а в общем все историографы – рефлексиирующие личности), то “времена” оцениваются как “плохие”. “Хорошие” же чаще помещаются в прошлое, независимо от того, античность это или христианство. Хотя есть, конечно, масса примеров, когда авторы (от Горация до выступлений наших писателей на своих Съездах) идентифицируют свое время с “лучшими временами”. Но самый отказ от идеи прогресса – это не достижение XX века. Это – одна из альтернатив, один из вариантов.

Это – связь проблемы кризиса историографии с проблемой кризиса общества.

Я не думаю, что микроподход может быть всегда совершенно изолированным от макроподхода. Тот же пример с мальчиком, собирающим камешки, конечно предполагает, что какой-то общий фон есть, и в этом смысле я согласен с Н.Е.Копосовым. Понравилась мне идея и И.М.Савельевой с А.В.Полетаевым, о том, что микроподход – это все-таки теория, это не просто описание фирмы, а это – теория фирмы, к примеру. Это не просто описание какого-то поведения, а это – теория поведения. Так что генерализация и индивидуализация, так или иначе, в той или иной форме присутствуют и здесь.

Вообще, с чем связано изменение уровня изучения объекта в сторону микроанализа? С тем, что во многих случаях, даже в большинстве их, может быть, изучение того, что называют decision making, неудовлетворительно, если оно происходит, скажем, на уровне заседаний парламентов, Соборов или каких-то правительственных структур. Гораздо конструктивнее в этом смысле изучение, скажем, неформальных групп, неформальных решений, бесед в кабачке или в термах, где, на самом деле и “обговаривались” большие государственные решения. Здесь, конечно, встает проблема источников. Ведь нет “стенотрамм” бесед в бане. Нет, естественно, никаких свидетельств бесед в кабачке. Мы лишены возможности анализировать, ставить эксперимент, поэтому кроме проблемы источников встает и проблема методическая. Мне кажется, в частности, актуальной методика ретроспекции, когда исходят из более позднего опыта для понимания более раннего. Приведу один пример, как из проблемы, казалось бы, макроанализа встает проблема необходимости применения микроанализа.

Изучение населения на территории пост-византийских Балкан. Что с чем сравнивать? Естественно, материалы по налоговому обложению. Здесь и статистика населения, сколько с кого берется... И выясняется, что в Османское время, если следовать цифрам, на изучаемой территории оказывается населения значительно меньше, чем в византийское. Дело ли в том, что действительно население так уменьшилось? Есть и другой взгляд, исходящий из более позднего опыта, XVIII века. Дело в том, что попадают-то в регистры далеко не все: человек дает взятку чиновнику и записывает не десять человек в семье, а одного. Остальные, так сказать, “опускаются”. Я не говорю о том, хорошо это или плохо, насколько это корректно, но такой взгляд из более позднего времени, применение микроподхода к макропроблеме мне кажется, в принципе, оправданным.



## А.А. Сванидзе (ИВИ РАН)

## Строгости и свободы музы истории.

Мне удалось ознакомиться с пятью докладами – Ю.Л.Бессмертного, Л.П.Репиной, П.Ю.Уварова, М.А.Бойцова и Н.Е.Копосова. Все они, при очевидных различиях в жанре, задачах, способах изложения и точках зрения, содержательны и интересны и, безусловно, дают материал для дискуссии по существу, для обсуждения всех ракурсов поставленной темы. Однако внимание присутствующих сосредоточилось преимущественно на критике доклада М.А.Бойцова, который почему-то (возможно, для “разогревания” аудитории?) здесь представлен, хотя совсем недавно детально обсуждался на специальном заседании. Но хотя объявленная тема конференции почти не разбиралась, тем не менее, сегодняшний разговор и сам по себе оказался весьма интересным, во всяком случае, для меня. Он высветил определенные имена, тенденции, настроения и отношения в науке и в нашей среде, поставил вопросы, которые волнуют наше профессиональное сообщество, в частности, поколение ученых “на подходе к зрелости”, которым предстоит стать ядром отечественной медиевистики в XXI веке.

Однако прежде всего я хотела бы все-таки сказать несколько слов о микроанализе и микроистории. Никто не спорит с тем очевидным для всякого профессионала фактом, что и данный жанр, и данный метод важны, нужны и т.д. Более того, они давно вошли в арсенал историков, и нам совершенно незачем уподобляться мольеровскому герою, который внезапно уразумел, что говорит прозой. Вопрос, видимо, в другом. Судя по части представленных докладов, некоторые коллеги ставят своей задачей не только обособить, но абсолютизировать данный метод, само направление и, в конечном счете, противопоставить его макроанализу, социо-структурной истории и выработке обобщающих характеристик. Пожалуй, наиболее принципиально значимое обоснование предложила по этой части Л.П.Репина, известная своим глубоким интересом к новым течениям в историографии и методологии истории. Она видит специфику микроистории не в масштабе ее объектов и “даже не в разглядывании подробностей и мелочей” и, видимо, даже не в применении особых методик (хотя докладчик ниже о них говорит, что очень существенно). По мнению коллеги Репиной, все дело в методологии историка, т.е. зависит от его “теоретической платформы и принятой модели развертывания исторического процесса”. А именно: если историк идет “от настоящего к прошлому, пытаясь проследить в ретроспективе становление настоящего”, современного ему мира, то итогом становится “некая одномерная проекция прошлой реальности на траекторию развития”, “свершившаяся история в ее реализованном

варианте”; таков, судя по логике автора, итог макроисследования. Применение же микроисследования дает возможность рассмотреть “самую эту исчезнувшую реальность как бы с открытым, неопределенным будущим, т.е. несущей в себе различные потенциальные возможности – варианты развития, а значит во всем ее многообразии и полноте”.

Но, во-первых, любое рассмотрение “исчезнувшей реальности”, поскольку оно производится человеком из будущей по отношению к ней эпохи, неизбежно несет больший или меньший отпечаток ретроспекции; эта мысль тривиальна и ее нет надобности здесь развивать. Во-вторых, автор не показывает, почему макроанализ не позволяет выявить варианты развития, а микроанализ, в свою очередь, не годится для того, чтобы увидеть реализованный вариант истории. Ведь многие примеры из тех, которые затем приводятся в докладе как объекты для микроанализа (экономическая и демографическая ситуация, структуры семьи и домохозяйства, средства социального контроля и многое другое), на самом деле успешно решаемы с помощью макроанализа. А если исследователь талантлив, умен и полон терпения, он воссоздает именно “многообразие и полноту” реалий прошлого в значительно более убедительном виде, чем, скажем, при помощи “казусного метода”, который нередко выглядит произвольным, случайным, “способом тыка”. В-третьих, остается не понятным, каким образом явления (факты, события, связи и т.д.), полученные в результате микроанализа, могут быть оценены исследователем, если он не находит, не ищет им места в той системе исчезнувшей реальности, которая воссоздается путем макроанализа, социо-системного исследования, создания обобщающих моделей и прочих известных приемов “большой истории”. А без этого – как определить, оценить, как обозначить изученный микрофакт: типичен он или исключителен, особенно важен или зауряден, относится к числу явлений, присущих природе человека – или природе окружающего сообщества?

Мне представляется, что гораздо продуктивнее определять микроисторические исследования как одну из форм конкретно-исторического анализа, направленного на то, чтобы проникнуть в интимные глубины сообщества людей, прежде всего во внутренний мир человека, в мотивы его житейского (бытового) и общественного поведения, мотивы и формы повседневных связей и интересов. Таким образом, на мой взгляд, применение методов, о которых идет речь, зависит не от методологии исследователя, а от его задач и тех объектов, которые он избирает для решения поставленных задач. Я не могу разделить категорическое утверждение коллеги Копосова, что микроистория как таковая невозможна. При известных условиях, т.е. при детальном определении методик и объектов, при точном определении границ и целей исследования и при отказе от абсолютизации (навязывания как единственной,

наиболее совершенной, “самой современной” и, главное, совершенно автономной), микроисторию можно выделить как одно из направлений и методик реконструкции исторического прошлого. В то же время, я разделяю мысль Копосова о том, что невозможно оставаться только “на уровне микроистории”, т.е. анализа индивидуального (добавлю: тем более – отдельного, изолированного) факта и действия, не пытаясь связать их с “социальным целым”. Сегодня концепция неразрывности микро- и макроистории была убедительно обоснована и подчеркнута А.Я.Гуревичем, и я полностью присоединяюсь к его аргументам.

В выступлении профессора Гуревича прозвучал и другой, весьма близкий мне мотив: в борьбе за место под солнцем науки “не бить копытом” в расчете на популярность, не зарываться, высоко “держат планку”. Я бы добавила: и быть устойчивее, последовательнее, не отказываться впопыхах от наработанного, стараться сохранять положительные традиции и, вероятно, долю здорового, трезвого консерватизма. Но я вынуждена возразить профессору Гуревичу в той части его выступления, где речь идет как бы об “образцах для подражания”. Мне представляется напрасной тратой времени и сил ученого спорить об “абсолютном авторитете”, методом, идеями, подходами и даже тематикой которого мы “должны” руководствоваться. Навязывание в такие авторитеты Макса Вебера, Канта, Гегеля, журнала “Анналы”, “новой социальной школы”, постмодернизма, любой сверхмодной “новации” завтрашнего дня или признанной мудрости дней прошедших – столь же сервильно и так же отдаст тоталитарной идеологией, как и безусловное следование советскому марксизму. В нашем распоряжении – все сокровища разума и все уроки заблуждений, накопленные человечеством. Пора, наконец, договориться о том, что ученый как творческая личность вправе ориентироваться на любые удобные ему образцы и выбирать те сферы, методы и способы исследования (творчества), которые ему по душе, которые соответствуют его психологическим, нравственным, творческим особенностям, его опыту и образованию. И единственными критериями здесь могут быть только научно аргументированные итоги и нравственная безупречность. Все-таки история как наука была, остается и должна оставаться, как говаривал Е.А.Косминский, “строгой музой”.

Сказанное относится и к свободе жанров исторических сочинений. Я не вижу худого в создании, например, эссе, где автор, не сковываясь строгой аргументацией, выразил бы свои мысли о состоянии и перспективах нашей науки, посетовал на грядущее одиночество ученого и пожалел о прошедших временах — “золотом веке” Геродота, когда, помимо прочего, история еще не превратилась в ремесло, “вроде портняжничества” (доклад М.А.Бойцова). Я с удовольствием прочитала остроумный доклад П.Ю.Уварова, который вполне “традиционно”

обращается к хорошо известным и изученным авторитетам, к их текстам, но при этом как бы жонглирует расчлененными текстовыми периодами. Подобрал их определенным образом, он в конечном счете выстраивает из них собственную гуманистическую концепцию историка, смысла исторических знаний и характера побуждений, которые историком руководят (или должны руководить). Мы много говорим об “истории человека”, но ведь и историк – человек. И очень важно, что коллега Уваров поднял вопрос о побуждениях, устремлениях, чувствах историка. Конечно, и эта тема не нова, она всегда органично входила в интересы историографов. Но, судя по составу и настроениям данной аудитории, в основном молодой, этот вопрос сегодня актуален и отнюдь не только академичен. Разумеется, мотивы поведения и трудов историка могут быть самыми разными: честолюбие, алчность, оригинальничание, изживание комплексов, наконец, единственная возможность трудиться ради хлеба насущного (если другие сферы деятельности по тем или иным причинам недоступны). Но если иметь в виду “основной инстинкт историка”, то это, прежде всего, всепобеждающий интерес к предмету и, следовательно, потребность самореализации именно таким путем, именно в сфере истории, “вживаясь” в нее любовно и бережно. Здесь, как и в других видах творчества, открытия или заметные, этапные произведения создавались только тогда, когда историк действовал согласно внутренним убеждениям, был внутренне независим, автономен.

Отсюда – необходимость развития так называемой чистой, фундаментальной, академической науки. Все многочисленные виды прикладного знания в области истории, равно как и в разной мере популярные историко-литературные сочинения, невозможны без базовых, глубоких по содержанию, строго аргументированных трудов. Мне стыдно за тех руководителей, которые, не понимая закономерностей развития знания как одной из основ не только производства, но и общества вообще, заявляют о том, что, например, финансированию подлежат только те отрасли науки, от которых ожидается “немедленная отдача” для практической жизни. Воспитание невежественных и подверженных отрицательным веяниям и прямому мракобесию “иванов, не помнящих родства”, – прямая угроза обществу.

Возвращаясь к сегодняшним докладом, я хотела бы успокоить коллегу Лучицкую, которая сетовала на отсутствие талантов в нашей исторической науке. К счастью, она ошибается. И доклады на данной конференции, и разнообразные издания медиевистов обнаруживают немало способных и перспективных, даже талантливых ученых разных поколений. Но я с великим уважением отношусь ко всем труженикам-исследователям, которые вносят в наше общее дело свою лепту, как бы скромна она ни была. По-настоящему большой талант, ведущий за со-

бой и открывающий новые горизонты, - такой "Монблан науки" очень редок, здесь вообще вряд ли можно употреблять множественное число. Но закономерно, что Монблан высится не в пустыне. Его окружает множество гор разного размера. Так и в науке: необходима общность ученых, с ее школами, профессионализмом и преемственностью, принципами, традициями, информативностью, особым этическим климатом. Необходима научная среда и желательно – без снобизма.

Еще один волнующий меня вопрос, который уместно поднять в связи с сегодняшней дискуссией, - это вопрос о языке историка, который стал особенно интересным в последние годы, в связи с увлечением постмодернизмом. Первый пыл увлечения им, видимо, прошел, выявились различные варианты толкования сути нового течения, его возможностей и перспектив для науки. Но при всех разногласиях и несогласиях импорт методологии постмодернизма уже дал один бесспорный результат, который распространился даже на его противников: заимствования в области языка. Причем, если сама методология еще мало освоена, по-разному понимается ее толкователями, и большинством историков воспринимается недоверчиво, то языковые новации и более доступны, и более победоносны. Появился специфический новояз, своего рода "феня", что, похоже, становится признаком особой избранности, принадлежности к высшей касте внутри сообщества историков. "Нарратив", "дискурс", "концепт" и другие новообразования, которых нет даже в иностранных философских словарях, так и порхают в некоторых речах. Новые термины, безусловно, должны появляться в профессиональной речи, но по мере необходимости, оправданно, т.е. когда явление или предмет не могут быть определены или выражены в уже известных, выработанных терминах. Кроме того, сочетание этих терминов и искусственное усложнение речевых оборотов сплошь и рядом вынуждают лишь догадываться о смысле текста. К сожалению, порочная практика надуманных словесных конструкций распространилась уже и на художественную литературу и критику. В некоторых представленных на сегодняшний форум докладах использован такой же неоправданно утяжеленный, претенциозный язык. Не случайно и некоторые выступавшие, даже читая заранее подготовленный текст, с трудом выбирались из чащи подобных словосочетаний.

Прошу понять меня правильно: если в новом языке есть необходимость, ее следует объяснить, обосновать. Мне, например, было бы полезно и интересно послушать о связях между новыми подходами к истории, новыми методиками, новым поиском – и языком. Чем не устраивает "старый" язык, какие возможности открывает новый? Не пора ли специально и серьезно поговорить о языке историка, исторической науки: каковы его особенности, факторы и закономерности развития? Как он изменяется в зависимости от области применения (монография,

научно-популярное сочинение, учебное пособие для вуза или школы, лекция в вузе, урок в школе, публичная лекция и т.д.)? Каковы степени допустимых его упрощений или усложнений? Каковы перспективы, возможности, специфика и границы использования в исторических сочинениях языковых форм, терминов, фигур речи, принятых в смежных и, особенно, несмежных науках? Вряд ли здесь возможна "полная" договоренность, но обсудить эту тему было бы, как мне кажется, полезно.

### **О.Ю.Бессмертная (РГГУ)**

#### **Об истории в культуре и "культуре" в истории (фрагментация историописания и социальная ответственность историка)**

Прозвучавший в некоторых выступлениях оптимистический тезис: "стремление к знанию о прошлом, историописание - есть неизбежная и неискоренимая форма познавательной деятельности человечества", иными словами, тезис о том, что история как дисциплина (т.е. форма гуманитарного знания) вечна, заставляет меня предложить вспомнить о том, что именно этот тезис по сути поставлен под сомнение в докладе Н.Е.Копосова. Мне хотелось бы обратить внимание на возможность самого такого сомнения: это означает, по крайней мере, что названный тезис, кажущийся выступавшим абсолютным, таковым не является - несмотря на предшествование исторического знания европейской Науке (солидный возраст истории все же не свидетельствует о ее внеисторичности). Оптимистичным при этом оказывается ожидание прямо противоположного сорта: "неизбежность поиска новой интеллектуальной парадигмы, исходящей из иных базовых уверенностей, чем социальные науки" (Копосов). Это, пожалуй, действительно оптимизм более высокого порядка, чем уверенность в бессмертии истории. Вместе с тем, мне хотелось бы спросить автора, пользуясь его же постановкой вопроса: "как возможна" такая новая парадигма? Насколько я смогла понять, "базовые уверенности", описанные им, "подлежат" пока не только социальным наукам, но и всякой земной интеллектуальной деятельности... И все же мне кажется, что отсутствие ответа на этот вопрос в докладе Н.Е.Копосова связано не с тем, что у автора вовсе нет гипотезы о том, в какой сфере могли бы располагаться поиски такой парадигмы, а скорее с тем, что это был бы еще один совсем не маленький доклад. Кроме того, мне кажется, что изыскание новых оснований истории (буде она существует) вряд ли может лежать на пути к Геродоту: предшествование истории Науке не означает, что она легко может отделаться от привычек, уже воспринятых ею от "младшей сестры".

Пока же поиски новых общих интеллектуальных оснований нашей

познавательной деятельности лежат в тумане, историки, которые “вообще не склонны обсуждать, на чем основаны и к чему обязывают их теории...” (Копосов), ищут новую парадигму внутри все той же истории, парадигму, подобную сменявшимся предыдущим, - спасение не с большой, а с маленькой (строчной) буквы. Сама такая манера поиска - не только свидетельство “невозможности” какой бы то ни было (макро- или микро) истории, но и, действительно, спасение историков как профессионалов: выйдя за пределы своей практики, они замолчат. Не об этом ли свидетельствует доклад П.Ю.Уварова? Я обращусь теперь к примеру такого поиска, уже вскользь упомянутому мной - докладу М.А.Бойцова. Это будет критика, тоже по неизбежности находящаяся внутри привычных парадигм. Отмечу, что я хотела бы обсуждать этот доклад с иных позиций, чем А.Я.Гуревич.

Мне представляется, что объяснение М.А.Бойцовым фрагментации историописания тем, что Запад, купаясь в благах демократии, лишился страхов и “гомогенизировался” - мифологично. Причем этот миф является собой своеобразную интерпретацию и индивидуализацию характерного общероссийского мифа о “цивилизованном Западе”. Даже если подобные точки зрения на состояние западной “цивилизации” высказываются - среди прочих - на самом Западе, существенно ведь то, что именно выбираем мы сами. Это мое рассуждение представляет, по-видимому, пример культурологического, т.е. по сути исторического, “генерализирующего микроанализа”, не так ли? Причем соотношение генерализации и индивидуализации лежит здесь на некоем пересечении горизонтали и вертикали. К этому соотношению я вернусь позже.

Между тем, парадоксальное обилие прогнозов, будто бы “случайно получившихся” (Бойцов) в статье, принципиально их отрицающей, отражает, на мой взгляд, как раз страхи демократического Запада (возможно еще не вполне наши), страхи как перед будущим, так и перед настоящим: фрагментация гуманитарного знания - результат не благополучности демократии, а ее неизбежной трагичности. Тем самым анализ исторической картины в докладе (пусть эта картина современна, но она располагается в истории), в частности и картины истории как дисциплины, более или менее в соответствии с тезисом самого автора (т.е. его пониманием “традиционной” истории), есть зеркало определенного видения ближайшего будущего. Замечу, кстати, что и это неосознанное, как мне кажется, заимствование западных страхов - характерный пример нашего отношения к Западу. Каковы же основания этих страхов? Иными словами, каковы “бытийные” (или даже попросту “бытовые”) основания обсуждаемой фрагментации знания и ее последствий при таком, отвлекающемся от собственно эпистемологических оснований, ракурсе взгляда на нее? Понятно, что я могу предложить лишь еще одно видение этой картины - другой миф, но тем самым и другую “идею”

фрагментации историописания. Понятно также, что здесь может быть очерчен, притом весьма приблизительно, лишь некоторый фрагмент этой идеи. Впрочем, видение ситуации, из которого я исхожу, представляется мне довольно широко распространенным, и заговорить об этом заставила меня как раз нетривиальность обсуждаемого взгляда.

“Фрагментация” действительно характеризует сейчас широкую область гуманитарного знания - не только историю, но и антропологию, и даже, как ни неожиданно, подобную тенденцию можно наблюдать в лингвистике. Я бы предпочла говорить, однако, не о фрагментации знания вообще, а о фрагментации объекта исследования - что выражается не только в изменении ракурса и масштаба исследования, исследовательского вопросника и т.д., но и в принципиальном суживании и дроблении или, по крайней мере, переакцентировке самих базовых исследовательских понятий.

Прежде, чем говорить об этом, замечу, что я по ряду причин предпочитаю этот ракурс тому, которому уделено столько внимания в докладе М.А.Бойцова, т.е. фрагментации, так сказать, “дележа” исторического знания: одиночества исследователя и отсутствия у него “собеседников”, немногочисленности единомышленников и отсутствия доминирующих теорий и интереса к ним. С одной стороны, доминирующих идей - по крайней мере на Западе, - похоже, более чем избыток: не только из Америки раздаются жалобы, что “все теперь следуют общепринятым подходам и нет свободы выбора исследовательских тем” (напомню хотя бы о повальном характере гендерных исследований), да и наше обсуждение привлекло немало участников. Мне кажется, не стоит считать современной особенностью “знаточеский” характер (однако по преимуществу в русле тех же “модных” подходов) потока исследований, “отсутствие времени на занятие теорией” у большинства профессионалов: теории всегда разрабатывает меньшинство, те, у кого хватает на это времени и мужества балансировать на грани профессии (я имею в виду сказанное ранее об угрозе профессионально “замолчать”). С другой стороны, одиночество исследователя все же экзистенциально, ибо он человек... И при всей значимости компьютерной культуры вряд ли различие между одиночеством за письменным столом и за компьютером принципиально (“в те края дорогой дальней ходит всяк по одному” - Ю.Мориц). Наконец, с третьей стороны, в той мере, в которой ощущение измельчения “соратнических” групп действительно возрастает, оно связано, как мне представляется, с теми же обстоятельствами, которые обуславливают фрагментацию исследовательского объекта.

Парадоксальным образом, фрагментация объекта, кажущаяся проявлением “энтропии”, оказывается как раз реакцией на страх перед ней. Говоря “энтропия”, я использую слово, мелькнувшее в докладе П.Ю.Уварова, который тоже смотрит на микроисторию как на сред-

ство против энтропии. Но я имею в виду несколько другое - то, что мне, профессионально обращенной к другой, неевропейской цивилизации, особенно заметно (я занимаюсь одной из мусульманских культур Африки). Это - открытие на Западе активного присутствия "другого" (во всех многочисленных пониманиях этого слова), которое и порождает страх перед распадом общества и безмерной индивидуализацией. Замечу, что в этом "открытии" присутствует, в частности, такой существенный фактор как комплекс вины перед до сих пор дискриминированным "другим", например, перед населением бывших колоний, женщинами или сексуальными меньшинствами.

Я останавлиюсь на том, как в результате дробится, а то и исчезает, лишь одно, но базовое понятие - "культура", прежде использовавшееся преимущественно в масштабе цивилизации, нации или замкнутого в своих границах этноса (культура "европейская", "французская", "китайская", "бушменская" и пр.). Подход, фактически определивший в антропологии, да и в гуманитарном знании в целом, содержание этого понятия, - культурный релятивизм<sup>1</sup> - видится теперь как слуга "европоцентризма", проявление "эссенциализма", "фундаментализма". Корни понятия "культура" обнаруживают в "комплексе неполноценности" изобретших это понятие народов (германцев и русских)<sup>2</sup>. И в самом деле (и теперь можно вспомнить о наших собственных страхах), не оказывается ли понятие специфической, замкнутой на себя культуры, и тем более особой национальной или этнической ментальности, основой для наших изоляционистских "патриотических" и, в конечном счете, расистских концепций?

Расистскому, как утверждается в таких рассуждениях, пониманию культуры противопоставляют постоянную историческую изменчивость общества, бесконечное пересоздание им своего прошлого в зависимости от каждого данного конъюнктурного момента настоящего, определение границ той или иной культуры не столько изнутри, сколько извне, соседями (отчего эти границы также оказываются исторически изменчивыми). А это означает отсутствие объективно существующей традиции, фактически самой антропологически понимаемой культуры, как и ее статичных "категорий". Другие говорят о мультикультурализме<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Это "самоназвание" упомянутого подхода.

<sup>2</sup> Одно из крайних воплощений этих тенденций см. в J.-L. Amselle. *Logiques metisses*. P., 1991, где в этом ключе развиты идеи, высказанные в B. Anderson. *Imagined Communities*. L., 1983. Аналогичная критика направлена в адрес востоковедения - "ориентализма". Она инициирована в особенности книгой E. Said. *Orientalism*. L., 1978.

<sup>3</sup> См. например: J.-F. Fourny & M.-P. Ha. *Multiculturalism*. Introduction: The History of an Idea, in: *Research in African Literatures*, 1997, vol. 28, no. 4; H. Bhabha. *The Location of Culture*. L., 1994.

как соотношении пребывающих в постоянном контакте многих мелких, групповых культур, причем способных быть и мельче национальной общности (этнические меньшинства, социальные группы), и пересекать национальные границы ("интернациональная" культура геев, феминизм и пр.).

Тем самым на сцену вновь приходит универсалистское видение истории и перспектив человечества. Но теперь универсализм заявляет себя сознательно исходящим не из европоцентризма, как это было до эпохи культурного релятивизма (явившегося как раз реакцией на европейский универсализм), а из принципа диалога с "другим", стремления наконец услышать его голос<sup>4</sup>. (Замечу, что эта претензия кажется мне особенно сомнительной и требует отдельного обсуждения). Суть же этих тенденций с точки зрения исследовательской практики - в принципиальном изменении ракурса исследования, и не только в "возвращении субъекта", на которое, как мне кажется, преимущественно обращают внимание, анализируя новый "поворот" в гуманитарном знании. Лежащий в основе этого ракурса отказ от детерминистской картины социальной действительности, определяющей той или иной статичной макросистемой (такой как культура или ментальность, не говоря уж о производительных силах), ведет, кроме того, к обращению к текучести и изменчивости социальной практики.

Я далека от того, чтобы видеть в таких подходах как "окончательное" решение эпистемологических и теоретических проблем, так и панацею от расистских приложений ученых понятий (как известно, в реальной истории универсализм тоже легко сочетался с национализмом, оказываясь его оборотной стороной, и удобно ложился на "патриотическую" почву). Вместе с тем, акцент на изучении изменчивости культур, "текучей" практики и индивидуальных действий, мог бы, на мой взгляд, поспособствовать реализации социальной ответственности историка (конечно, если признавать плодотворность указанного подхода по существу).

Я согласна, что при обращении к этому исследовательскому ракурсу макротеории - как теории макропроцессов - теряют объясняющую силу. Но я никак не согласна с тем, что это "должны быть" или "будут" (ключевые слова прогностического доклада М.А. Бойцова) "знаточеские" исследования. Н.Е. Копосов, говоря о неизбежности нашего стремления к обобщению - до тех пор, по крайней мере, пока не будет найдена парадигма, базирующаяся на принципиально иных интеллектуаль-

<sup>4</sup> Характерно название влиятельной в так называемой "постколониальной теории" статьи: "Может ли подчиненный говорить?" G. Ch. Spivak. *Can the subaltern speak?*, in C. Nelson & L. Grossberg (ed.) *Marxism and the interpretation of culture*. Basingstoke, 1988.

ных основаниях, - перечислил в конце своего доклада несколько подходов, дающих успешные, хотя и не достигающие конечной Цели (с большой, а не строчной буквы), результаты. Я бы добавила к этому анализ интерпретирующей деятельности - т. е. способов конструирования смысла индивидуальными "актерами" в конкретных практиках. Этот анализ мог бы быть направлен как раз на точки пересечения "вертикали" (пусть "вертикалью" будет индивидуальная интерпретация) и "горизонтали" (будем считать ею то социальное и смысловое пространство, в котором такая интерпретация вырабатывается) - пересечения, пример которого я предложила в начале выступления, "деконструировав" некоторые мифы, "подлежащие" докладу М.А.Бойцова; но это был бы, конечно, существенно менее поспешный анализ. Замечу, что при такой постановке вопроса, вероятно, пришлось бы задуматься о различии между "логикой поступка" (может быть, более изменчивой) и "логикой текста" (глубинная структура которого может в большей мере зависеть от "традиционных" стереотипов).

Тогда снова встает вопрос: вполне ли невозможно "обобщать от индивидуального" (Копосов)? Действительно, нашему анализу индивидуального скорее предшествует некое обобщенное знание о пространстве, в котором индивидуальное "движется". Очевидно во многом это возможно постольку, поскольку, отталкиваясь от антропологических исследований культуры и истории ментальностей и отрицая их, новый исследовательский ракурс, вместе с тем, наследует приобретенное ими знание (как и их процедуры, что показывает Н.Е.Копосов) - даже если бы хотел этого избежать. Однако и индивидуальное, отражая "эпоху", как капля воды - мир, неизбежно преобразует наши представления об общем и тем самым заставляет нас так или иначе вновь обобщать, по-видимому, порой подспудно. Различать сопоставляемые подходы, вероятно, следует не по наличию или отсутствию обобщения в них, а по их ориентации: на массовое и статичное или же частное и изменчивое. Добавлю, что "наследственность" нового "поворота" не позволит ему отождествиться с "традиционной", событийной и т.п. историей: достаточно вспомнить хотя бы, что сам его "исследовательский вопросник" несет на себе эту наследственную печать.

В заключение я процитирую попытку "динамизации", если можно так выразиться, изучаемого объекта в лингвистике. Она была категорически отвергнута известными мне лингвистами как пижонство и погоня за модой (sic!), но мне представляется очень показательной. Цитата посвящена как раз соотношению объективирующих и индивидуализирующих, "макро-" и "микро-" аспектов: "...Попытки посмотреть на язык как на открытый процесс, а не построенный объект, проходят через всю историю философской, лингвистической, эстетической мысли последних двух десятилетий. Однако, как правило, эти попытки оста-

навливаются перед трудностью реализации этой общей философской идеи в конкретном описании повседневного языка. Ведь всякое описание, в силу самой своей природы, предполагает некое упорядочение, обобщение и стабилизацию. Дать упорядоченную картину языка как динамической сущности, состоящей из индивидуальных и неповторимых творческих действий, нарисовать эту картину так, чтобы она сделалась объективированным предметом научного наблюдения, описания и критики, представляется крайне затруднительной, если не вовсе неосуществимой задачей.... Мне хотелось не просто подчеркнуть динамически-текущий и творчески-субъективный аспект языковой деятельности в качестве общего философского принципа, но выделить и описать те конкретные приемы, из которых этот процесс складывается, те категории в которых он протекает. Я сознаю, что в такой постановке проблемы заключено внутреннее противоречие, - но не вижу возможности продвинуться к намеченной цели, без того, чтобы принять это противоречие как данность"<sup>5</sup>.

### Е.В.Ляпустина (ИВИ РАН)

#### Соблазны и риски исторического поиска

Складывается впечатление, что о микроистории сказано и написано гораздо больше, чем существует реально выполненных с помощью этих приемов исследований. Почему так? В микроистории, как я ее себе представляю, весьма ярко проявляются дробность предмета и размытость границ исторической науки.

А.Я. Гуревич произнес слово, которое я очень люблю - "кумулятивность". Мне тоже всегда нравилось думать, что именно в этом кроется одна из отличительных черт науки: знание накапливается, и оно не должно исчезать. В действительности, многие дискуссии последних лет рождают ощущение беспомощности и растерянности, потому что мы постоянно слушаем и обсуждаем нечто давно, чуть не ли со студенческих лет, знакомое. Наверно, настало время придать результатам методологических поисков XX века привычную форму кумулятивного знания - т.е. учебника, который избавил бы от бесконечного повторения пройденного и тем самым высвободил энергию для новых исканий. Я вполне отдаю себе отчет в том, что представляющийся недостаточным уровень кумулятивности позитивного знания в сфере общих проблем

<sup>5</sup> Б.Гаспаров. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.1996, с.39-40.



исторического поиска - одна из характеристик, в наибольшей степени отличающих историческую науку от прочих гуманитарных дисциплин. (Когда я столкнулась с изучением римского права, то сразу почувствовала, что такое тысячелетняя школа, где есть то, чему людей учат, то, что должен знать каждый студент - и это достаточно строго определенная сумма знаний). История в этом смысле гораздо более произвольна. Любой объект, любая вещь, любое явление может стать предметом интереса историка. Соответственно для его исследования могут быть применены самые разные, самые экзотические методы. В своих высших и лучших проявлениях это, безусловно, дает блестящие результаты. Но насколько эти результаты повторимы? Здесь очень многое зависит от индивидуальных особенностей историка, от его личного опыта, от того, чему он удивился, какие ключи подобрал он к тому, что его удивило и что захотелось раскрыть. Насколько это повторимо, насколько этому можно научить? Мне кажется, что здесь есть большая опасность, потому что в конечном счете все это выходит на проблему того, чему мы должны учить студентов и чему мы можем их научить. Таким образом микроистория оказывается связанной с проблемой некоего ядра исторических знаний, которые должны кумулироваться и передаваться от поколения к поколению.

Итак, в безграничности выбора предмета и методов исторического поиска есть, как мне представляется, некий риск. Он связан с тем, что сами исследования, о которых говорили как о микроисторических, требуют двух вещей. С одной стороны, - высочайшего цехового ремесла для того, чтобы уметь работать с источниками. И вместе с тем - достаточно глубокого знакомства с теорией и методами различных социальных наук. Любое из удавшихся микроисторических исследований, о которых мы слышали, именно потому и удалось, что в нем оказались уместны и результативны методы современных социальных наук. Но это в свою очередь предполагает, что методы эти должны быть достаточно хорошо освоены.

В связи с этим я бы хотела поддержать один из пунктов доклада И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, в именно: выделение двух функций в исследовании - собственно аналитической исследовательской функции и функции сбора информации. Авторы доклада совершенно справедливо и уместно напоминают, что историческая наука тем и отличается от прочих социальных наук, что в ней эти функции не разделены. Историк не может поручить их кому-то другому, но должен постоянно держать в поле зрения обе эти функции и уметь находить некий их баланс и взаимодополняемость. Это наблюдение о двух различных функциях исследования имеет очень большое значение и для вопроса о том, что определяет микроисторию - своеобразие метода или своеобразие объекта, ибо любое историческое исследование должно содержать в себе

достаточно трезвую и серьезную рефлексию на тему о совместимости предмета и метода.

К чему-то близкому - некоторому трезвому взгляду на свое занятие - призывает историка и доклад П.Ю. Уварова. Стремление воскресить минувшие поколения, отдельных людей, мне кажется, - это проявление претензии историка на власть над временем, т.е., согласно П. Бурдье, на самую высшую власть. И здесь трезвое понимание своих возможностей и своих задач, если я правильно поняла П.Ю. Уварова, также необходимо.

Не приходится удивляться тому, что в центре обсуждения оказался доклад М.А. Бойцова. Конечно, проще всего сказать, что это - фельетон, эпатаж. Но если бы дело сводилось лишь к этому, то наверное люди, которым есть, чем заняться, не стали бы уделять ему столько своего времени и внимания. Само по себе знакомство с текстом М.А. Бойцова вызывает целую гамму настроений. Читаешь и думаешь: "Как здорово! Со всем согласен"... А строчкой ниже в душе рождается чувство необыкновенного возмущения и несогласия. И эти перепады не поддаются никакой рационализации. Но постоянно присутствует соблазн - быть может, не менее опасный, чем соблазн власти над временем, - найти некий ключ к прочтению этого текста, который объяснил бы все. Возможно, в этом стремлении проявляется моя склонность к социологизаторству, от которой никогда не стану откаться, но тем не менее, как мне представляется, ключ такой найти можно.

По-моему, в тексте М.А. Бойцова прочитывается та же самая парадигма, которую он всячески отрицает. Он пишет, что для той исторической науки, что теперь существует в осколках, которые только тихо позвякивают, первичным был образ чаемого будущего и соответствующие страхи и ожидания, а вся история прочитывалась как некий путь к этому будущему. Так ведь и его текст может быть прочитан точно так же. В нем есть картина будущего, которое совершенно явно воспринимается автором как желанное. А все остальное излагается с той точки зрения, как к этой жизни наука придет. И когда я представила себе это чаемое будущее, все встало на свои места и стало понятно, что в тексте вызывает согласие, а что - нет. Все эти согласия-несогласия можно довольно четко поделить в зависимости от собственного отношения к рисуемому М.А. Бойцовым образу будущего, который представляется мне типичной либеральной утопией. То есть это общество, где нет масс, а есть индивиды (образ историка наедине с Интернетом); это общество, где национальные государства давно превратились в анахронизм (как и сложившиеся в них в славном и вызывающем снисходительно-ностальгические переживания XIX веке национальные историографии). Можно продолжать перечисление, но думаю, что в общем ясно, о чем идет речь. И соответственно люди, которые разделяют подобные идеа-

лы и верят в их осуществимость, будут, наверное, в большей степени соглашаться и с прочими оценками, содержащимися в тексте М.А. Бойцова. А у тех, кто считает, что это все же не совсем так, что это - утопия (и я принадлежу к числу именно этих последних), будет больше поводов для несогласия по многим конкретным вопросам, каждый из которых в отдельности вполне заслуживает интересных и содержательных дискуссий.

В качестве жизнеутверждающего финального аккорда хотелось бы поддержать мысль М.А. Бойцова о том, что история всегда была и будет, и только ее брак с парвеню под названием "рациональная наука" распадется. Я тоже думаю, что история была и будет, ибо есть в ней некая субстанция, которая и отличает ее от всего другого. Смею думать, что это - рациональное познание прошлого, и поэтому выкинуть рациональность из истории все-таки невозможно. А формы такого познания, как и вообще пути человеческого разума, безусловно, были и будут самыми разными.

**М.Л.Абрамсон**

(Московский Заочный Педагогический Университет)

### **О некоторых проблемах микроистории**

Объектом микроподходов, которые обрели равноправие с макроподходами, становится индивид, не обязательно принадлежащий к выдающимся государственным деятелям, ученым и другим подобным людям, которые издавна приковывали к себе внимание исследователей. Этого индивида следует рассматривать в системе его взаимоотношений с родственниками, соседями, друзьями и врагами и пр. Необходимо, насколько это возможно, выявить его пристрастия, ценностные ориентации, духовные устремления, мироощущения, проследить поведение как в процессе повседневной практики, так и в особых обстоятельствах.

Вот почему среди источников важную роль играют в микроистории памятные заметки, мемуары, автобиографии, письма (особенно - комплекс писем одного лица), так как они позволяют проникнуть во внутренний мир персонажа, даже проследживать происходящие в нем со временем изменения. Однако при занятиях "персональной историей" имеется, как справедливо замечает Л.П.Репина, немало эпистемологических трудностей. К ним относятся, на мой взгляд, способ прочтения таких памятников. Для их верификации надо определить, в какой мере автор придерживается истины. Легко оценить простодушное хвастов-

ство Бенвенуто Челлини - итальянского золотых дел мастера, ювелира и скульптора XVI в., знаменитого в наши дни благодаря своему жизнеописанию. Но в других текстах, написанных лицами с тонкой душевной организацией, не так просто отличить правду от намеренных (подчас и неосознанных) ее искажений. Приведем пример. Л.М.Баткин в своей книге "Петрарка на острие собственного пера. Авторское самосознание в письмах поэта" (1995 г.) весьма убедительно показал, как Франческо Петрарка в своем обширном эпистолярном творчестве тщательно и обдуманно стилизирует собственный образ.

Иногда появляется возможность скорректировать источник, сопоставляя его с другими - на ту же или близкую тему. В любом случае при истолковании памятника определенную роль играет интуиция историка или культуролога, хотя ее значение нельзя преувеличивать: часто приходится делать оговорки, что речь идет о наших предположениях. Исследовательский метод любого ученого не лишен, разумеется, известной доли субъективности.

Работа, написанная путем микроанализа, в большей мере основывается на интуиции в том случае, если труд носит нарративный характер. Такова монография известной американской исследовательницы Натали Земон Дэвис "Возвращение Мартена Герра" (1990 г.). / Н.З. Дэвис. Возвращение Мартена Герра. Пер. с англ./Послесловие М.А.Барга. М., 1990. Полный текст с научным аппаратом см. N.Zemon Davis. The Return of Martin Guerre. Cambridge, Mass., 1983. В ней излагается история самозванца Арно де Тиля, явившегося в 1556 году в южнофранцузскую деревню Артига к крестьянке Берtrande под видом давно покинувшего ее мужа Мартена Герра. Берtrande "опознала" мужа. Когда после трех лет их совместной жизни возникла судебная тяжба между Арно и дядей Мартена, в тулузском парламенте в ходе процесса неожиданно появился подлинный Мартен Герр, и дело завершилось смертным приговором и казнью самозванца.

Н.Дэвис далеко не первой обратилась к этой удивительной истории (самым первым был член парламента, участвовавший в этом процессе, Жан де Кора). Однако только Н.Дэвис эффективно использовала приемы современной микроистории, анализируя поведение главных действующих лиц, оказавшихся в столь необычной ситуации, степень нарушения ими традиционных поведенческих стереотипов, этических норм, обычаев и права. Охарактеризована их ментальность. Рассмотрены взаимоотношения героев с другими членами деревенской общины, позиции, занятые отдельными членами парламента. То обстоятельство, что события разворачивались как в рамках самой общины, так и в судах города Рио и Тулузы, наглядно показывает отсутствие грани между частным и публичным - еще одна проблема, связанная с микроподходом.

На мой взгляд, неправомерно утверждение, сделанное в докладе С.Г.Ким, что Дэвис стирает границы “между фактом и вымыслом”: автор опирается на источники (в том числе – на семь архивов) и постоянно ссылается на них в самом тексте. Нарративное повествование отнюдь не означает беллетризированной его формы: труд носит научный характер.

Подчас и серийные документы, привлекаемые обычно с целью исследования генерализирующей истории, например, картулярии (состоящие из актов дарений, брачных контрактов, завещаний, протоколов судебных тяжб и пр.) содержат материал, который дает возможность выделить ряд неординарных индивидов (см., к примеру, статью П.Ю. Уварова о “десяти странных парижанах” в коллективном труде “История частной жизни”, том 2 (готовится к изданию)). Ибо присутствие персонажей, в чем-то отличающихся от типичных для своего времени и места в общественной структуре, характерно для любого социума и любой эпохи. Общество, члены которого во всем одинаковы – неосуществимая (и вредная) мечта всех социальных утопий.

При любой форме исследования на избранный сюжет налагается, по выражению Л.П.Репиной, сетевой анализ “межличностных взаимодействий”. Добавим взаимное влияние субъективных и объективных факторов.

Очень труден вопрос о понятийном аппарате. Как постигнуть специфику людей данной исторической эпохи, смысл и содержание тех или иных нравственных ориентаций, эмоций (любовь, ненависть, зависть, ревность и пр.), представлений о женщине, детстве, старости? Все они зависят не только от времени и социальной среды, но и от личностных черт самих персонажей. Исследователю приходится оценивать эти чувства, оперируя современными понятиями и методами, рассматривая при этом не только стереотипное, но и уникальное, что придает особую глубину и многокрасочность изучаемому событию или индивиду.

В текстах, относящихся к средневековому или ренессансному обществу, границы познаваемого сужает то обстоятельство, что этим эпохам свойственен “лес символов”, знаковые системы, коды. Они присущи и мышлению, и способу его выражения в образах искусства, трактатах и других видах творчества, и поведению людей, прежде всего, в ключевых моментах жизни (рождение и крещение, браки, похороны). Их расшифровка не всегда возможна, что уменьшает степень надежности истолкования памятников того времени.

Занятия микроанализом тесно связаны с интерпретацией макроистории, в частности в следующем соотношении: степень свободы, которой обладает рассматриваемый персонаж, иными словами – границы его возможностей, соотносенных с его собственными взглядами, – если они являются в той или иной степени девиантными, – и его поступками,

зависят как от самого индивида, так и от характера общества. Между тем именно персонажи, отличающиеся в каких-то важных аспектах своей особостью, представляют для нас наибольший интерес, так как они могут оказывать самое сильное воздействие на ту социальную группу, к которой они принадлежат.

Однако даже подобные персонажи не могут не разделять в своем образе жизни и воззрениях многого унаследованного от прошлого, типичного для большинства. И всё же в их духовной жизни, а как правило, в отношениях с современниками, неизбежны столкновения между традиционными нормами, импульсами, устремлениями. Такова одна из важных причин коллизий между микро- и макроисторией.

Неординарность упомянутых выше индивидов ярче всего проявляется, когда они находятся в необычной, особенно – трагической ситуации, в которой от них требуется предельная напряженность мысли и действия, подчас – нарушение общепринятого. К таким людям относятся, к примеру, Алессандра Строщи, вдова флорентийского купца XV столетия; главной жизненной целью которой было любой ценой помочь материальному успеху своих изгнанных сыновей, а главное – добиться их возвращения в родной город.

Микроанализ особенно плодотворен в отношении индивидов, живущих в переломные эпохи, когда раскрываются более широкие возможности для проявления личностных качеств, благодаря которым они не вписываются в рамки традиционного мировосприятия, стиля жизни, массового сознания. Эти персонажи участвуют в выработке элементов нового общества, расшатывая своими ценностями и жизненной позицией старое. Таким образом, изучение подобных индивидов помогает лучше осмыслить специфику данного исторического периода, как бы “вчувствоваться” в него. Более того, нестереотипные поступки этих людей, аккумулируясь, в конечном счёте служат важным стимулом к качественному изменению всего общества, существенным сдвигом в его социальной, интеллектуальной, психологической структуре.

В такие кризисные эпохи, сопровождающиеся бурными потрясениями, когда размываются издавна сформировавшиеся поведенческие стереотипы разных социальных страт, появляется больше условий для самовыражения и у маргинальных индивидов, особенно резко выпамающихся из общепринятых норм. К таким людям, стоящим по своим личностным качествам и поведению на обочине общества, принадлежал, например, Бенвенуто Челлини. У него гуманистическое представление о достоинстве человека – творца совмещается с отсутствием способности анализировать свои действия, а главное – с полным пренебрежением к чужой жизни. Его автобиография пестрит эпизодами следующего типа: “Я взялся за маленький колючий кинжальчик ... Я уколол его под самое ухо... на втором (ударе) он выпал у меня из рук мер-

твым, что вовсе не было моим намерением“ / Б. Челлини. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции. М., 1958. Пер. М. Лозинского, с. 175 – 176. / И обычное объяснение, что всё ему сходило с рук благодаря тому, что его талант высоко ценился, представляется мне ограниченным: именно в такие времена, когда цена жизни была ничтожной, подобное поведение и могло сходить с рук. Но и такое объяснение поверхностно. Лишь новый инструментарий – приемы микроанализа создаст ранее не использованные возможности подходить под другим углом зрения к исследованию таких автобиографий как жизнеописание Челлини, с его кажущейся простотой.

**О.И.Тогоева (ИВИ РАН)**

#### **Об удивлении и удивительном в исторических исследованиях**

Я бы хотела сказать несколько слов об удивлении – о принципе удивления как об одной из составляющих инструментария историка. Об *admiratio* – чувстве удивления, восторга и изумления – которое нужно испытывать перед тем сюжетом (фактом, событием, личностью), которым собираешься заниматься. На эти размышления меня натолкнул, в частности, доклад Л.П.Репиной. Впрочем, сходные мысли присутствовали и во многих прозвучавших здесь выступлениях. А.Я.Гуревич говорил о том, что историк выбирает то, что ему особенно интересно. А.А.Сванидзе признавалась в своей любви к истории. О том же пишет М.А.Бойцов, называя это чувство “удовольствием от писания истории”. Любопытно, что этот же самый принцип не раз уже вставал на повестку дня в нашем семинаре по истории частной жизни. Мы не всегда могли ответить на вопрос, почему выбрали тот или иной сюжет (персону). И часто автоматически восклицали: “Это меня так поразило, что я решил этим заняться!”

Принцип удивления, на мой взгляд, в большей степени соответствует именно микроисторическому исследованию. Имея уже в достаточной мере представление об историческом контексте, обладая определенными навыками и методологией, применимыми в макроанализе, историку проще увидеть нечто необычное – и удивиться ему. Таким образом, принцип удивления чаще всего вторичен (как может быть вторично микроисследование по отношению к макроисследованию), но от этого не менее важен. Просто крупный масштаб и небольшой объект исследования позволяет четче разглядеть то удивительное (индивидуальное, уникальное, девиантное – как ни назови), что так часто становится первым побудительным мотивом в нашей работе. Как сказал

П.Ю.Уваров, исторические штудии – это в первую очередь процесс творческий, предполагающий вдохновение и, соответственно, удивление от материала.

Интересно, что представленные нашему вниманию доклады по историографии в большой степени также построены на принципе удивления, на некоей выборочности материала. В них рассмотрены те работы зарубежных историков, которые обратили на себя особое внимание авторов. Так, например, поступила Л.П.Репина, которая представила нам разбор нескольких историографических казусов, о чем и заявила в названии своего доклада. Так же построен доклад Ю.Л.Бессмертного, который акцентирует внимание на отдельных, конкретных работах французских историков. И этот принцип построения наводит на следующие размышления.

Как мне представляется, микроистория не допускает повторов – повторов в исторических исследованиях, повторов в теоретизировании об этих исследованиях. Суть микроанализа, как кажется, собственно и заключается в том, что самой концепции МИКРО не существует – по крайней мере, в истории. Никто из присутствующих так и не смог дать какого-то универсального определения, что же такое микроистория. И я думаю, это невозможно. Микроистория изучает единичные события, отдельных индивидов – и она, так же как и ее объект, обладает неким “казуальным” характером, меняя свои очертания в соответствии с сугубо индивидуальными представлениями каждого конкретного историка.

**И.Н.Данилевский (РГГУ)**

#### **Практик на теоретическом распутье**

Поскольку я не столько теоретик, сколько практик, даже прагматик, можно сказать, мне бы хотелось бы перейти от микроанализа в докладах М.А.Бойцова, И.М.Савельевой и А.В.Полетаева, к макроанализу и подвести для себя какой-то общий итог. Как совершенно справедливо отмечал Ю.Л.Бессмертный, в высшей степени актуально для каждого профессионала осмысление мирового методологического опыта. Ясно, что это касается и российского историка, побуждая его осмыслить, в частности, опыт современной зарубежной исторической науки. Конечно, это – очень полезное и нужное занятие. Но, скажется мне, что мы собрались здесь не столько для того, чтобы решать проблемы французской, итальянской или англоязычной историографии. Мы решаем свои проблемы, анализируя опыт наших зарубежных коллег. И это, конечно, очень важно и нужно. Однако, здесь возникает, на мой взгляд, очень серьезный и важный вопрос, что мы имеем в виду, когда говорим об использовании этого опыта. Одно дело, когда речь

идет об овладении и применении понятийно-категориального аппарата. Этим мы занимаемся регулярно и в больших дозах. Другое дело - если имеются в виду подходы к изучению прошлого. В принципе, эти подходы для нас - в чем-то новые, в чем-то хорошо забытое старое (потому что они отрабатывались и в отечественной историографии, у специалистов, которые занимались как западноевропейской медиевистикой, так и отечественной историей). И третье - если речь идет об использовании методического арсенала, накопленного, скажем, при изучении письменных источников Западной Европы. Конечно, эта проблема очень сложная, и ее можно по-разному решать применительно к отечественным источникам. Я, как человек, специализирующийся в области истории Древней Руси, сразу могу сказать, что методический арсенал, который мне предлагают мои зарубежные коллеги, сплошь и рядом не применим к моим источникам. При всей близости, они все же чуть-чуть не такие, как источники западноевропейские. Поэтому напрямую эту методику я транслировать не могу, мне обязательно нужно этот опыт адаптировать. Собственно говоря, проблема, над которой мы сейчас бьемся, по-моему, и есть проблема адаптации.

Конечно, до чего-то мы дошли "своим умом". Общаясь с западными коллегами, изучая их труды, приятно бывает осознавать, что это "что-то" имеет вполне авторитетное и даже аристократическое, хотя и независимое происхождение. Обидно бывает только за потраченное зря время.

Но есть один аспект, на котором мне хотелось бы остановиться. Это аспект, касающийся собственного невежества. Читая доклады, которые подготовлены нашими коллегами - не без удовольствия и не без трудностей - я невольно задавался вопросом, что важнее: продолжать говорить прозой, не ведая об этом, подобно мольеровскому Журдену, или забросить все конкретно исторические работы и с головой погрузиться в изучение огромного и до сих пор недоступного простого смертным теоретического багажа, накопленного на Западе. Накопленного, смею думать, попутно, при широкомасштабной разработке все той же конкретно-исторической проблематики. Не возникнет ли в последнем случае феномена, так сказать, сороконожки, запутавшейся в своих ногах, как только она задумалась над проблемой, с какой именно из них ей следует начать движение? Да и так ли важно, в принципе, как назовут то, что я написал: макроисторией или микроисторией? Не теряем ли мы за терминологическими и поневоле, наверное, в значительной степени схоластическими спорами сам предмет спора, так сказать, "историческое мясо", о котором здесь уже говорили?

Полагаю, все, как всегда, зависит от дозировки. Все может быть лекарством, все может быть ядом. Для меня это довольно сложный и мучительный вопрос. Есть ли противоречие между микроисторическим и

макроисторическим подходом? Обращаясь к своей практике, думаю, нет. Как мне представляется, я поневоле занимаюсь микроисторией, изучаю потенциальные альтернативы развития, скажем, текста, пока он находился в стадии создания, когда я пытаюсь понять, почему автор выразился так, а не иначе, можно ли это было выразить другим способом, и почему он все-таки остановился на той или иной форме. Чтобы поняв, почему автор написал именно это и именно так, вернуться к вопросу о том, что же он все-таки описывал. В общем-то, последнее, наверное, и есть та история, которая нас интересует, хотя мы сами прекрасно понимаем, что до нее мы, может быть, никогда и не дойдем.

Опыт последнего столетия как нельзя лучше показал, что дедуктивная история себя не оправдывает. Наши предки ни за что не хотят развиваться так, как должны были бы развиваться по той или иной актуальной, модной или "единственно научной" теории, концепции, парадигме. Рационалистическое изучение истории вместе с тем, кажется, кануло в Лету. Волей-неволей, я думаю, историки всех стран рано или поздно должны были вернуться и вернуться к индуктивной истории. В терминологии, на которой мы сейчас здесь говорим, это как раз и есть противоречие - или единство - между макро- и микроисторическими подходами. Да, макроистория для нас, историков-профессионалов, сейчас не интересна, потому что мы увидели, как рассыпались карточные домики блестящих конструкций, как только мы обратились к углубленному изучению конкретных источников.

Для меня сейчас проблема прежде всего заключается, наверное, в том, понимаю ли я, на каком языке со мной говорят. И отсюда - триединая задача, которую я поставил перед собой, поработав с материалами конференции. Первое - изучение лексики и фразеологии языка источников, их образной системы. Для историка Древней Руси это значит, в частности, увеличение источниковой базы в несколько раз, потому что девять десятых всего рукописного наследия Древней Руси историки никогда не привлекали для своего анализа. Это - Священное Писание, переводы которого разнятся невероятно, богослужебные тексты и, наконец, богословская литература, какой бы хилой она ни была на нашей почве. Мы начинаем изучать колоссальный комплекс духовной литературы - микроподход, микроанализ дает нам возможность увеличить источниковый багаж в несколько раз. Вторая задача, которую, как представляется, мы еще не до конца осознали, хотя только что об этом говорил П.Ю. Уваров, - необходимость историко-антропологического анализа историко-антропологической литературы. Я глубоко убежден в необходимости специального изучения историко-антропологического понятийно-категориального аппарата, чтобы мы все-таки разобрались, о чем нам говорят наши коллеги. Это касается и историографии в целом. Она должна, наконец, превратиться из сугубо

описательной дисциплины в дисциплину, транслирующую и адекватно переводящую на современный мета-язык исторической науки то, о чем писали наши предшественники. И третья задача (а она выполнима, наверное, только на уровне макроистории) – на основе результатов, полученных при решении двух предыдущих задач, необходимо выработать язык-посредник, мета-язык, собственно, мы сейчас с вами здесь, наверное, этим и занимаемся. Только решив эти задачи, можно с определенной степенью уверенности говорить, что наша историография – шире – история более или менее адекватно описывают то, что они должны описывать, а не объективируют наши собственные представления о том, что мы хотим прочесть у того или иного автора – независимо от того, современник это наш или предок.

Полагаю, справедливым был бы такой общий вывод. Дедуктивным может быть описание. Исследование же всегда индуктивно в своей основе. Наверное, поэтому описывая то, что сейчас происходит, я перешел как раз к дедукции – в большей степени, чем к индукции, и потому не ссылаясь уже на какие-то конкретные положения докладов тех или иных авторов.

#### А.А. Олейников (РГГУ)

#### О достоверности и вымысле в литературе и истории

Мне хотелось бы сказать еще несколько слов об отношении вымысла и достоверности, или отношении истории и литературы. Прежде чем я начну об этом говорить, я хочу заметить, что в ходе нашего обсуждения только подтвердилось то, что мы и до него хорошо себе представляли. А именно, что нет ничего сложнее, чем дать спецификацию истории через предмет или через метод. Сколько существует типов человеческой деятельности – практической, научной, теоретической – столько существует и историй. История экономики, история политики, история искусства и еще масса историй. Здесь, не будучи специалистом в экономике, нельзя представить экономическое развитие той или иной страны в тот или иной ее период. И еще, что касается спецификации через метод. Речь шла на прошлом заседании о том, что якобы нужно сохранить традиционное, от неокантианцев идущее, разделение на номотетический и индивидуализирующий, или идеографический метод. Я хочу сказать, что это разделение давно уже устарело, поскольку с самого начала было весьма проблематичным с теоретической и философской точки зрения. Мы это и сами можем хорошо понять, если обратим внимание на то, что историк не применяет в чистом виде ни индивидуализирующие методы, ни обобщающие методы. Он работает с неким казусом, случаем. Это очень хорошее слово – “казус” – и очень хорошо назван журнал, мне кажется.

Я вспоминаю Херманна Люббе, известного современного немецкого философа истории, который пытался описать прагматику занятия историей. Что толкает человека к этому занятию? Он приводит такой пример, когда в послевоенной Германии, если не ошибаюсь, в Рурской области, были организованы два политехнических университета. Они были совершенно аналогичны друг другу и располагались на расстоянии буквально каких-то десятков километров друг от друга. Зачем нужно было это делать? Была программа у земли, она пыталась реагировать на изменения в экономической конъюнктуре и готовить соответствующих специалистов. Но объяснить возникновение двух одинаковых учебных заведений, отправляясь только от характера экономической ситуации, от необходимости насытить рынок техническими специалистами, невозможно. Это курьез, если хотите, это казус. И здесь никто кроме историка не может взяться показать, почему такие вещи происходят – происходят постоянно в нашей жизни. Это знаковая ситуация встречи теории и практики, из которой как раз и приходит понимание об их отличии, она маркирует собой поле деятельности историка.

И теперь, собственно, о том, что касается вымысла и достоверности. Здесь уже как-то говорилось, что история как вид письменного творчества заведомо должна определяться стремлением к точному воспроизведению определенных событий или сюжетов, в то время как литература – это, так сказать, только belles lettres, только какая-то красивая риторика. Это различие представляется мне слишком поверхностным и мало что объясняющим, поскольку на уровне творческого желания написать сочинение по какому-то конкретному поводу или предмету – на этом уровне не разделить нам, как бы мы ни хотели, историю и литературу. Здесь работают какие-то гомогенные механизмы, психические или сознания, или еще какие-то. Но само различие вымысла и реальности все же существует, и мы обязаны его проводить. Каким образом? Каждый в своем исследовании критически. Потому что вымысел не есть то, с чем изначально имеет дело историк. Я даже больше скажу: вымысел не есть то, с чем изначально имеет дело художник или литератор. Он подходит к созданию своего произведения – будь то эпический роман или лирическая повесть – как к тому, что существует до и помимо его воли, т.е. всегда очень серьезно. Просто выдумать какую-то фикцию ради того, чтобы удовлетворить чье-то любопытство или эстетическое чувство, не только очень сложно, но и вряд ли вообще возможно. В нашем случае вымысел – это результат позитивной работы историка по интерпретации какого-то традиционного исторического сюжета или документа. Вымышленность последних нужно понимать как необходимое следствие из признания того факта, что исторические описания создаются людьми, взгляд которых так или иначе пристрастен,



но и исторически так или иначе мотивирован. Именно они, эти люди, а не какие-нибудь надперсональные силы и факторы, являются конечными субъектами истории. Поэтому вымысел – это то, что получается на выходе, это то, что историк стремится обнаружить в текстах, которые он интерпретирует. Это не значит, что он должен создавать вымысел. Вымысел должен быть найден, обнаружен, но создать вымысел нельзя.

**И.С.Свенцицкая**

(Московский Заочный Педагогический Университет)

### **Микро- и макроистория – “нераздельны и неслиянны”**

Прежде всего я хочу сказать, что доклады нашей конференции, с моей точки зрения, представляют большой теоретический и практический интерес. Я полагаю, что все они показали реальное существование особого направления в мировом историописании – микроистории: это первый вывод.

Второй вывод, который, мне кажется, все мы должны принять, заключается в том, что существует сложная связь микро- и макроистории. В этом отношении я хочу повторить то, что по существу имел в виду Ю.Л. Бессмертный: микро- и макроистория, если использовать слова догмата о природе Иисуса Христа, нераздельна и неслиянна. Я думаю, что делать глобальные выводы, выявлять процессы, связанные с историческими движениями масс в пределах значительных временных отрезков, т.е. попытаться проследивать историческое движение масс в пределах больших временных отрезков, и заниматься одновременно микроисторией вряд ли возможно. Но включать микроэлементы в какие-либо сериальные исследования или подразумевать глобальную историю при микроисторическом подходе не только допустимо, но и полезно. Любой эпизод или биография отдельного человека интересны не только историку, но и читателю (для которого он пишет) тем, что эти истории включаются в знакомую систему связей или открывают возможность новых связей, важных и для исследователя, и для читателя. Вне системы связей факт сам по себе произвести впечатление не может. Поэтому столь важна проблема интерпретации объекта исследования.

Третье, что, как мне представляется, показали историографические доклады, это то, что микроистория не составляет единого направления; и внутри нее уже вычленяется несколько направлений – локальная история, персональная история, проблема микрогрупп, микроисторическая интерпретация эпизода. Анализ этих разных направлений, прекрасно проделанный Л.П. Репиной, и создает представление о разнообразии современных микроисторических подходов. Я хочу также под-

держат тезис о том, что микроисторические исследования могут менять наши представления о глобальной истории и теориях общесоциального процесса.

Не только зарубежная, но и отечественная историография дает нам примеры микроанализа источников, микроистории, разных локальных историй, хотя этот подход в прежние годы не решались так называть. В частности, локальные исследования древневосточных архивов, глиняных табличек, содержащих частные документы, письма и т.д., на первый взгляд, достаточно узкие, но серийные, дали возможность крупнейшим нашим востоковедам нанести первый, но решительный удар по марксистской теории формаций еще в 60-е годы. Именно тогда была поставлена под вопрос идея рабовладельческой формации, ибо серийные исследования изменили представления и о числе рабов, и об их положении внутри семьи, и о месте рабства в мировосприятии жителей древневосточных стран.

Мне представляется, что источник для микроанализа может быть самым разным и не обязательно письменным, как утверждалось в одном из докладов. Приведу пример недавно защищенной диссертации. Объект исследования – воинские надгробия рейнской армии времени ранней империи. Эти надгробия исследовали отдельно эпиграфисты (текст надписей), отдельно искусствоведы (главным образом, технику изображений). Тексты стереотипны, а изображения варьируются по содержанию, в зависимости от того, кто ставил надгробие – товарищи, родственники – и как они хотели представить умершего. Мы знаем, например, из письменных источников, что солдатам было запрещено иметь семьи. Но оказывается, они в отдельных случаях нарушали это правило: на некоторых надгробиях появляются изображения детей и жены/сожительницы. Настолько тесными были в данных случаях внутрисемейные связи, что родственники пожелали увековечить погибшего воина в кругу семьи, а не в сражении, как было обычно принято. Кто-то сделал такое надгробие первым, но со временем число подобных надгробий увеличивалось. И мы можем говорить об изменении в психологии воинов, о нарушении дисциплинарных норм. Сравнивая эти данные с другими источниками, историк может выйти уже на уровень макроисторических выводов.

Мне представляется, что объектом исследования может быть и индивид, и группа индивидов, и эпизод, и даже, как было сказано в одном из докладов, одна буква. Многих из нас учили еще на первом курсе, что христианство распространялось в городах, а жители деревень оставались язычниками, причем это положение считалось справедливым для всей Римской империи. И хотя имеется свидетельство Плиния Младшего в письме к Траяну о христианстве в деревнях Малой Азии, его слова считались преувеличением, так как они противоречили общей

теории в рамках макроисторического подхода. Однако до нас дошла целая серия надписей на надгробиях из маленьких малоазийских деревень, поставленных еще до Никейского собора, где было изменено начертание одной-единственной буквы, буквы “Х” в конце надписи в последнем слове стереотипной формулы – “памяти ради (харин)”. В этом слове буква “Х” была написана в виде креста. Первое впечатление – ошибка резчика. Но в некрополе той же деревни или в деревнях по соседству обнаружены такие же надгробия в окружении стереотипных языческих памятников с изменением той же буквы. В основном эпитафии эти относятся к третьему веку (время гонений на христиан); после Никейского собора верующие уже открыто называют себя христианами и если изображают крест на надгробии, то отдельно от основного текста. Итак, изменение одной буквы дает возможность выявить наличие христиан среди языческого населения в глухих деревушках Фригии и стремление их хоть как-то выделиться среди своих соседей. И это – удар по стройной “городской” теории.

Очень важным представляется мне и обращение к изучению имен (доклад П.Ш.Габдрахманова). Антропонимика – интереснейший источник, и не только для микроистории, но и для макроистории. Античность дает необычайно интересные примеры. Когда в III веке в Римской империи было введено общеримское гражданство, то новые граждане согласно римской традиции должны были носить родовое имя Аврелиев (поскольку это имя носил император Каракалла, даровавший общее гражданство). Но при исследовании надгробий некрополей некоторых городов восточных провинций выделяются как группы людей, которые это имя приняли, так и те, которые не пожелали его принять и сохранили греческие имена (причем в семейных надгробиях имена мужа и жены, как правило, этнически сходны). А в одном из надгробий (г.Афродисий) сказано, что здесь будут похоронены такие-то и такие-то Аврелии и одна Татия, которая раньше была Татия, а теперь стала Аврелией. Эта женщина, по-видимому, порвала со своими родными, приняла имя новой семьи и демонстративно об этом заявила. Анализ антропонимики, таким образом, может показать, как отдельные люди восприняли изменение своего статуса – какое значение он имел (или не имел) для них. Микроисторический подход открывает то, что не дано макроистории, он демонстрирует вариативность человеческих действий, помогает понять “механизм” истории.

**Я.В. Чеснов (Институт этнологии и антропологии РАН)**

**Между двух деревень**

Здесь происходит самоидентификация сообщества историков высо-

чайшего класса. К сожалению, самоидентификация эта ведется на каких-то не очень ясных основаниях. В докладе Н.Е.Копосова выдвигались логические основания, которым придавались формы идеологемы. Но в данном случае – это уже не чистая логика. Помните Аристотеля, который говорил, что изнутри сознания сознание понять невозможно? Идентификация — это не логическая проблема. Ведь важно, с чем идентифицируешься — и здесь возникает методологическая проблема. Нужно идентифицироваться с чем-то иным, положенным вовне.

Я полагал, что эта методологическая проблема не всеохватна, и она может быть сведена к какому-то четко сформулированному вопросу — например, к соотношению методов макро- и микроистории. Следовательно, я ожидал, что здесь пойдет процесс проблематизации. В наибольшей степени моим ожиданиям соответствовало выступление Л.П. Репиной, которая сказала, что микроистория занимает самостоятельную позицию по отношению к макроистории, но вовсе не по объекту и не по методу. Она самостоятельно проблематизируется. Она ищет, кто рядом, с кем ей сотрудничать. И тем самым Л.П. развивала идею Ю.Л. Бессмертного о дополнении микро- и макроистории.

Продолжим переговоры между вашей исторической “деревней” и нашей культурно-антропологической “деревней”. У вас есть колдуны и мельники, и у нас есть колдуны и мельники, я, в частности, очень дружу с такими персонажами, умею с ними работать. Мне интересно, как вы с ним общаетесь в вашем историческом времени. Я очень многому здесь научился. Тем не менее я остаюсь глубоко неудовлетворенным методологической постановкой вопроса. Слишком она расплывчата, слишком часто соскальзывает на методику, на какие-то другие рефлексивные операции. Это непродуманная постановка вопроса. Аппарат, привлеченный из соседних наук, не был за редким исключением профессионально отрефлексирован. Одно из приятных впечатлений оставил доклад А.А. Олейникова. Человек этот владеет чем говорит. В целом самое радостное — это констатация, сделанная Ю.Л.Бессмертным относительно места микроистории. Она занимает некоторую комплементарную, дополнительную позицию по отношению к макроистории. Отсюда возникает бездна методологических посылов. Меняется концепция факта. Факт получает стохастическое выражение, а не натуралистическое. Если бы здесь была доска, я бы нарисовал некий овал микроистории, а от него — усики-методологические связи с какими-то другими отраслями. Микроистория сама, минуя макроисторию, вступает в эти связи с чем угодно. Таким образом, позицию, которую обозначил Ю.Л. Бессмертный, следует назвать междисциплинарной. Что же в результате мы получили в вашем исполнении? Наверное, мы получили некое многомерное, очень современное, полипозиционное социо-антропологическое исследование. Очень рад вас с этим поздравить — оно убедительно.

Но теперь, что же такое факт? Помимо эмпирического факта, вызывающего радость удивления, факт оказывается идеальным конструктом. И мы собираем все эти усики со всех наук и строим этот идеальный конструкт. Где находится такой факт? Он находится в каком-то релятивистском поле. И наша наука — релятивистская. Больше всех об этом было сказано, мне кажется, в докладе Г.И. Зверевой, у других это прозвучало слабо. А ведь вся микроистория идет в этом направлении. Это, на мой взгляд, прогрессивное направление, оно соответствует духу эпохи.

Поскольку я работаю с живыми колдунами и мельниками, мне хочется реабилитировать одну личность. Я имею в виду всем вам хорошо знакомого Меноккио. Почему он выглядел таким еретиком? Дескать, космос он строит из какого-то створаживания. Бред по сравнению с птолемеевской системой. Ничего странного, все Средиземноморье развивало эту концепцию о том, что начало жизни лежит в створаживании. Скажем, плод у женщины — это разлитое в организме молоко створаживается, твердеет, появляется эмбрион, а дальнейшее его развитие — это отвердевание. Так появляется человек. Это — концепция, развитая в культуре овцеводов и козоводов, которая пришла с Ближнего Востока. Там появился иудейский запрет — не варить козленка в молоке матери: молоко, которое начало створаживаться, и козленок, плод его — их нужно разделить. Я попытался раскрутить пример вашего мельника на фоне более широкой истории. Вышел же я за пределы микроистории в культурологический контекст, где мельник становится нормальным.

Потенциал микроистории состоит в ее методологической пластичности, в гетерогенной методологии, в релятивизме как антитезе методологической жесткости и догматизму.

**Е.М.Михина (ИВИ РАН)**

**Микроистория как сюжет**

А-а! Вы историк?

Я - историк, - подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу, - сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!

Самые общие впечатления: мне кажется, что те понятия, которыми мы здесь активно оперируем, — микроистория, нормальное исключение, плотное описание — понимаются всеми по-разному (подозреваю, что это происходит не только с нами — в силу, скажем, нашего невеже-

ства — но даже с зачинателями направления). Но это не делает разговор бессмысленным, поскольку на эти понятия все “кляуют”, а значит эта проблематика отвечает какой-то, пусть не вполне осознанной, потребности. Мне самой пришлось в последнее время столкнуться с работой, которую я восприняла как микроисторическую, и я хочу поделиться своим скромным опытом.

Но сначала два слова “о смысле жизни и о душе”, т.е. о той полемике, которая развернулась вокруг доклада М.А.Бойцова. Мне лично пафос этого текста близок и понятен. О чем идет речь? М.А.Бойцов (как, по-моему, и Н.Е.Копосов) фиксирует какое-то уходящее состояние исторической науки. Если говорить о способах бытования истории в обществе, то, стадияльно, это сначала Миф, потом новоевропейская Наука, а потом Нечто, возможно, приходящее на смену такой науке и контуры чего только еще определяются. Такая постановка вопроса вполне правомерна и, кстати, вполне типична для современной критики науки (правда, пожалуй, не для историков, которые больше ста лет стремятся доказать, что занимаются *тоже наукой*, поэтому вряд ли готовы присоединиться к ее критике). Но Бойцов исходит, думается, не из этой уже сформировавшейся традиции критики науки, а из личного исследовательского опыта, личных размышлений, что мне представляется большим достоинством текста. Надо, однако, признать, что грядущее Нечто остается у него (опять-таки, как и у Копосова) загадочным и нераскрытым. Есть только ключевые слова — “осколки”, “разбитое зеркало” и т.п. Они-то, мне кажется, и вызывают у аудитории пессимистические ощущения. Между тем сами авторы этого пессимизма, по-моему, не разделяют, и здесь есть некоторое лукавство и провокация, что тоже неплохо. Нас приглашают разобраться, что же именно разбилось и какова природа осколков. Первое впечатление — что макроисторическое зеркало разбилось на микроисторические осколки. Думаю, что дело обстоит не совсем так. Единое макроисторическое зеркало действительно разбилось (хотя оно существовало только в воображении) — только не на микроистории, а на множество разнообразных макроисторических образов.

Участники конференции вели здесь речь в основном о микроистории, считая, видимо, макроисторию чем-то само собой разумеющимся. Однако понятие макроистории вовсе не очевидно, в него тоже вкладывается разный смысл, и под этим названием скрываются разного рода образования. Действительно — в виде чего макроистория “дана” историку?

На мой взгляд, это прежде всего образ Большой истории, сложившийся у каждого историка в ходе обучения, освоения им определенной части историографического наследия, но сформированный, главным образом, строем его собственной личности. Такой внутренний образ

является, наверное, главным “рабочим органом” историка, они глубоко индивидуальны (и в этом смысле тезис “каждый сам себе историк” вполне резонанс).

Далее, макроистория объективно представлена корпусом существующих и прирастающих исследований, к которым историк обращается в меру своих предпочтений и которые, в свою очередь, тоже представляют собой проекции разных видений истории. Т.е. это тоже не “зеркало”, а мозаика. В различных исследованиях факты расположены соответственно силовым линиям личностных полей их авторов, эти факты по-разному “заряжены”. Поэтому “изученность” в области истории — понятие достаточно проблематичное. Изученность — это, скорее, стимул и возможность увидеть проблему иначе, по-своему.

Если посмотреть на дело таким образом, то становится проблематичной и идея кумулятивности исторического знания. По-моему, это научный идеал, но не реальность исследовательской практики. Двое ученых, изучая одну и ту же проблему, не смогут получить тождественных результатов. Выводы исследователей смежных проблем тоже не могут быть вплотную “пригнаны” друг к другу, чтобы войти составными частями в единое, возводимое историками коллективно здание, о котором говорил Копосов.

Каков же тогда характер взаимодействия между историками? Истинное общение происходит, мне кажется, не в ходе решения конкретных проблем, а на уровне сопоставления-соревнования глубинных макроисторических образов. В ходе научной полемики осуществляется по сути оттачивание и взаимное стимулирование индивидуальных видений. Педагогику здесь отметили как что-то, к делу не относящееся, а я думаю, здесь еще виднее механизм взаимодействия “творческих монах”: задача учителя — не навязать ученику собственный макроисторический образ, а разбудить в нем потенциально присущее ему видение истории.

Наконец, Копосов под макроисторией имеет в виду также привычный метод работы историка, когда тот ставит сначала, исходя из состояния историографии, проблему, а затем разрешает ее, собирая материал, систематизируя его, “разнося факты по рубрикам”. По его мнению, другого метода работы нет и у микроисториков. Я не готова говорить об особенностях логики микроисторического исследования, но, по моему собственному опыту, психологические установки историка, его исследовательское поведение становятся при микроисторическом подходе совершенно иными.

В последнее время мне пришлось заниматься москвоведением, в частности, историей одного подмосковного села. Сейчас такого рода исследования — из серии “копай, где стоишь” — распространяются все шире. В истории сел и деревень образовался уже некоторый трафарет,

продиктованный, впрочем, реальной последовательностью крупных известных исторических событий и процессов и существующим набором источников — некая макросхема, определяющая, что должно быть найдено. Присоединение территории к Москве (через упоминания в духовных грамотах князей), установление цепочки владельцев и числа дворов (через писцовые и переписные книги), превращение многих селений в пустоши во времена опричнины и в Смутное время, крестьянская реформа, революция, коллективизация и т.д. Можно поставить своей задачей вписать некое село в эту заранее известную череду событий. С этого, в общем, и начинают, другого пути просто нет, и это “вписывание” само по себе достаточно интересно. И если на этом остановиться, мы получим, конечно, макроисторию, проиллюстрированную конкретным примером.

Но если продолжить исследование, в какой-то момент оно меняет свой характер. Если обычно историк постоянно держит в уме свою макропроблему, оценивает репрезентативность материала и т.д., то теперь, вглядываясь в источники, он становится гораздо более пассивным — не формулирует никаких проблем, не разносит факты по рубрикам — но зато и гораздо более чутким, ожидая появления сюжета. Здесь вспоминается эйфельмановское “случай ненадежен, но щедр”. Когда же ты замечаешь сюжет и “берешь след”, то дальше сюжет развивается как бы сам собой; тебя просто затягивает в эту воронку и ты, безусловно, теряешь “фиксированную точку наблюдения”.

Я совершенно согласна с П.Ю.Уваровым относительно самостоятельности исторических персонажей и могу сказать то же самое о сюжете. Иногда самая незначительная вновь обнаруженная деталь разворачивает его в совершенно непредвиденном направлении. Своевольность и непредсказуемость сюжета связаны не только с тем, что в толще исторической жизни он разворачивался когда-то независимо от нас, — они помножены на приключения исследовательского поиска. Сюжет не дан нам готовым (как в литературном произведении), мы получаем в руки его обрывки, которые приходится связывать друг с другом так или иначе, и в этом смысле он снова разыгрывается у нас на глазах, иногда от конца к началу.

“Крохоборство”, которое ты обнаруживаешь, стремясь не упустить ни одной конкретной детали и восполняя прорехи макроисторическими сведениями, я и воспринимаю для себя (может быть, неверно) как плотное описание. Но это своеобразная плотность: источников, даже соединенных с фактами Большой истории, все равно всегда мало, и “дыры” между ними невольно заполняются нашим воображением, которое разыгрывается помимо нашей воли.

К сожалению, эти сюжеты чаще всего не имеют реального конца. Однако практически любая из таких историй выводит нас на макро-

проблему, иногда не одну, которая как бы и является ее “концом”. Но существенно, что это уже не та, поставленная заранее проблема. Она столь же неожиданна для самого исследователя, как и сам сюжет.

Конечно, все это не абсолютно ново. Моменты микроисторического “ощупывания” источников возникают в ходе любого настоящего исследования: например, “медленное чтение” Н.Я.Эйделямана, конечно, об этом. Но не такова в целом сложившаяся историографическая практика. “Озадаченный” макропроблемой, историк обычно не чувствует себя вправе надолго отдаваться микроисторическим потокам.

Двести лет назад произошел спор между Шлещером и Гердером, которые по-разному представляли себе всемирную историю. Гердер сравнивал ее с океаном, Шлещер — с картой. Шлещер был против свободного плавания; историк, утверждал он, всегда должен знать, что именно он хочет выловить в океане — рыбу или жемчуг. Сегодня, уже имея какую-то карту, т.е. оконтуренное и расчлененное предшественниками исследовательское пространство, мы можем разрешать себе свободное плавание, не зная, что именно мы добудем. “Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”. Предзаданная макропроблема, необходимость соотносить ее с обозначенным массивом источников нередко подавляют личность историка, засушивают исследование. Рискну сказать, что далеко не все историки счастливы в своей работе. Но та макропроблема, которая *вырастает* из микроисследования, *соразмерна* личности историка, и это позволяет последнему раскрыться, испытать ту меру удовольствия и удивления, которую таит в себе профессия. Недаром в Италии эту возможность предоставляют начинающим. Я думаю также, что подобные путешествия во времени будут все чаще совершать не только профессионалы, но и любители. Таков мой вариант либеральной утопии, и так я поняла лозунг “Вперед, к Геродоту!”.

### С.А.Экштут (журнал “Родина”)

#### Одна картина и много взглядов на нее

Все хорошо знают картину П.А. Федотова “Свежий кавалер” (авторское название “Утро чиновника, получившего первый крест”), которая экспонируется в Третьяковке. Историк искусства при взгляде на нее скорее всего начнет рассуждать об основных стилевых тенденциях и их последовательности: о классицизме, о романтизме, о реализме — и ответит автору, Федотову, свою “клеточку” в этом процессе. Он может рассмотреть его творчество в контексте истории искусства: сравнить с русской живописью, с западно-европейской и тоже прийти в результате этого сравнительного анализа к каким-то выводам. Можно называть это макроисторией, можно говорить о микроистории — неважно,

тенденция понятна.

Дальше, если мы берем эту картину Федотова в качестве конкретной вехи в творчестве Федотова, возникает целый ряд специальных вопросов, потому что есть эскизы, есть наброски (я их видел в запасниках музеев, и это вещи потрясающие — так, например, образ кухарки варьируется многократно — от продувной бестии до скромной деревенской девушки). Ясно, что художник не сразу нашел искомый образ. Мы видим, что кухарка ждет ребенка, и догадываемся, что отцом является чиновник. Сам Федотов прямо говорил об этом в своих устных комментариях к картине. А мы получаем возможность порассуждать о целом узле проблем, связанных с миром чувств русской женщины, как это мастерски сделала Н.Л. Пушкирева в своей монографии.

Если возникает проблема экспонирования картины, то мы сталкиваемся с очень интересной задачей, которая впервые возникла перед С. Дягилевым, когда он создавал Таврическую портретную выставку 1905 г. Как экспонировать картину? Нужно ли кроме произведений живописи и графики давать какие-то предметы материальной культуры? Эта задача уже в наше время была теоретически поставлена главным хранителем Русского музея Голдовским и блестяще практически разрешена на примере выставки Левицкого 1985 г. Я хочу сказать, что это — совершенно особая проблема, но историк культуры не должен ее игнорировать.

Наконец, мы подходим к самой картине и начинаем ее рассматривать. И здесь, если мы берем лупу (в буквальном смысле слова), то видим целый ряд любопытных деталей, которые обычно не привлекают внимания историков искусства, но могут привлечь внимание, скажем, участников семинара по истории частной жизни — и привлекают. Например, если речь идет об авторе картины, возникает проблема социального статуса художника в том обществе, в котором он живет (о ней писал О.А. Кривцун и мы ее в семинаре обсуждали). Мы можем взять само живописное полотно, какие-то его детали — я уверен, что среди присутствующих есть люди, которые безошибочно назовут крестик, каким награжден этот чиновник (это Станислав 3-й степени), но я очень сомневаюсь, что мне скажут, какую книгу этот чиновник читал накануне. Оказывается, он читал Ф. Булгарина. И здесь возникает очень важный вопрос. Тиражи Булгарина многократно превосходили тиражи тех людей, с которыми у нас ассоциируются 30—40-е годы прошлого века. Он как бы оказался предтечей современной массовой культуры. Есть и еще одна ипостась автора книги, которую читал этот чиновник. Ведь он был неформальным консультантом правительства. То есть, многие управленческие решения, как сказал бы специалист по проблемам управления, принимались на основе докладных записок, которые

писал третьестепенный литератор, рептильная фигура... Здесь мы уже выходим за грань истории — это уже проблемы управления, проблемы исторической социологии или политологии — во всяком случае совсем другая отрасль научного знания.

Если мы внимательно присмотримся к мундиру этого чиновника, мы заметим нагрудный знак “За 15 лет безупречной службы”. И мы можем рассуждать о роли чиновничества в России, и здесь я обращаю внимание на классические работы С.М. Троицкого о роли не-дворян в прослойке чиновников в XVIII столетии. Здесь все понятно: тут и макроподход, и микроподход. Историки этим занимаются. Но дальше возникает проблема. Оказывается, уже в наши дни попытались реанимировать и старые царские награды, и значок за выслугу лет (его недавно ввели), издали закон о государственной службе — то есть, все это исключительно актуально.

Картина написана в 1846 г., а этот крестик, который получил чиновник, до 1845 г. давал права потомственного дворянства — поэтому-то персонаж Федотова такой довольный, поэтому-то он в позе Наполеона стоит. В 1845 г. власть увидела, что слишком велико число чиновников, ставших потомственными дворянами, и изменила порядок получения дворянской грамоты. В течение следующих 10 лет этим крестиком не награждали (сошлюсь на классическую книгу петербургского историка Л.Е. Шепелева). И этот нюанс очень важен. Ни один историк искусства вам этого не объяснит, они не занимаются этой проблемой. А, скажем, специалисты по истории чиновничества не используют Федотова в качестве исторического источника...

Итак, на примере одного, не очень большого по размерам полотна можно четко проследить наличие разных подходов и прийти к выводу совершенно банальному: для того, чтобы получить результат, видимо, нужно сочетать эти подходы, привлекая достижения “далековато отстоящих” друг от друга областей знания. Иначе мы рискуем не заметить вещи очень и очень важные.

**С.В.Оболенская (ИБИ РАН)**

### **Микроистория и новая социальная история**

Я хочу напомнить происхождение микроистории в германской историографии. Все, кто ею занимаются в Германии, и прежде всего именно Х.Медик, ведут ее начало из истории повседневности. Историей повседневности в конце 80-х гг. начали заниматься в Германии молодые историки, выступившие против “социальной исторической науки”, представителями которой являются специалисты старшего поколения во главе с Х.-У.Велером и Ю.Коккой, в свое

время восставшие против немецкого историзма и тем самым совершившие колоссального значения прорыв.

Историки повседневности призывали обратиться к изучению простых людей и их обыденной жизни, призывали создать “историю снизу”. На этот призыв откликнулись и многие не-специалисты, которых бы у нас назвали краеведами. Было создано немало книг по истории промышленных предприятий, деревень, городских районов и т.п. Затем более или менее крупные специалисты отделились от этого “дилетантского” направления и создали историю повседневности как историю восприятий - главным образом. Заслуга германских историков повседневности состоит в том, что они действительно ввели в историческое исследование простого человека — не “народные массы”, а простых людей как “социальных актеров”, действительно творящих исторический процесс. Из истории повседневности и родилась в Германии микроистория. Медик в своей знаменитой статье “Миссионеры в лодке” (1984 г.) не разделял отчетливо микроисторию и историю повседневности, и лишь около 10 лет назад микроистория выделилась из истории повседневности *как способ исследования*.

На мой взгляд, микроистория имеет будущее именно как способ, метод исследования, а не как самостоятельное, отдельное направление. Не случайно же мы слышали здесь, что крупнейшие итальянские специалисты микроисториками себя не называют. Даже Медик, написавший крупное историческое микроисследование, говорит, что будущее исторической науки — в *новой социальной истории*, важнейшей частью которой станет “культурное измерение” (Dimension).

В выступлении О.И.Тогоевой я почувствовала распространенное среди молодых историков отталкивание от методологии. В выступлениях С.И.Лучицкой и М.Ю.Пармоновой, похоже, имплицитно содержалось то же самое. Этому можно, конечно, найти объяснение и, может быть, оправдание. “Перекормленные” в брежневские времена тем, что тогда выдавали за методологию, историки, сформировавшиеся в тот период, испытывают непреодолимое если не отвращение, то недоверие к занятиям методологией. Я полагаю, однако, что без методологии — разумеется, настоящей методологии, т.е. прежде всего понимания методов собственной работы, ее осмысления — не удастся обойтись никому. Даже самые начальные процедуры исследования — постановка проблемы и выбор источников — есть процедуры методологические, и отрицать значение этих моментов неразумно.



Л.П.Репина (ИВИ РАН)

### О пределах плюрализма и преимуществах прагматизма

Я хотела бы высказаться по вопросу о плюрализме, о котором говорила Н.И.Басовская. У меня давно есть потребность обратиться к аудитории с просьбой: перестать умиляться наличию разных мнений, тому, что у нас плюрализм – по крайней мере, в нашей профессиональной аудитории. Современная ситуация в историографии заставляет задуматься о другом. Пора бы нам как-то определить – на профессиональном уровне – некоторые пределы этого плюрализма, особенно в трактовке современного гуманитарного знания. Что касается меня, то я, например, не считаю возможным включать в пределы допустимого плюрализма магические действия историка по воскрешению из мертвых.

Теперь о той постановке вопроса, которая зафиксирована в самом названии нашей конференции. Я абсолютно согласна с А.Я.Гуревичем в вопросе о неразрывности микро- и макроистории, и рада тому, что в сегодняшних докладах это прозвучало в полную силу. Действительно, микро- и макроистории “не жить друг без друга”. И естественным образом любой историк, к какому бы микроанализу он ни приступал, всегда имеет определенное пред-знание, которое очень часто выражается как раз в наличии системы макроисторических выводов. Можно повернуть вопрос по-другому, обратившись к такому чрезвычайно важному фактору для исследователя как удивление, о котором мы уже говорили на семинаре, и об этом же очень хорошо здесь говорила О.И.Тогоева. Так вот, что касается удивления. Чтобы удивиться чему-то неординарному, нужно по крайней мере иметь перед собой некую картину типичного, среднестатистического. Осознанно или неосознанно, все мы себе такую картину представляем. Поэтому, говоря об удивлении, прежде всего нужно понимать и то, что оно у нас основано на некотором знании, каким бы несовершенным оно ни было. Кстати, известный американский медиевист К.Байнум, которая трактует удивление в средние века, подчеркивает именно этот момент – познавательный аспект удивления, который, несомненно, присутствует и у нас, а не только у средневековых людей.

Мне представляется необходимым подчеркнуть, что речь не идет о микроистории как об особой отрасли исторической науки. Неоднократно в дискуссии возникало противопоставление макроистории и микроистории как каких-то субстанций или даже персон, которые, видимо, присутствуют в воображении тех, кто говорил о них, как находящиеся в состоянии вечной склоки друг с другом. Под впечатлением этой дискуссии я даже на какой-то момент представила себе микро- и макроисторию в виде двух дам – одна весьма дородная, другая – очень изящная – которые выступают на подиуме некоего конкурса красоты под

названием “Мисс История XXI века”. Примерно такая картина рождается в воображении, когда слышишь об этом противопоставлении. Здесь происходит какая-то ошибка. Когда возник этот термин – “микроистория” – действительно была проблема противопоставления. Но она была не в исследовательском плане, в ней много социального – социального с точки зрения самих историков, которые выделяли свою особую задачу, особую познавательную цель и как-то должны были ее идентифицировать. Но сейчас противопоставлять микро- и макроисторию – очень неблагоприятное занятие и, я считаю, совершенно неперспективное. Потому что микроистория, как, я надеюсь, мы уже понимаем, это не какая-то новая наука, это – особый исследовательский подход, использующий специфические аналитические инструменты. И мне кажется такая “инструментальная” трактовка этого термина более приемлемой: она не вводит нас в заблуждение и в ненужные дискуссии, потому что лучше дискутировать о том, что имеет большую прагматическую ценность, как об этом уже говорила Е.В.Ляпустина. И конечно же всем понятно, что микроистория не может быть обнесена какой-то бетонной оградой с колючей проволокой, а на самом деле она весьма тесно общается и сообщается с другими подходами – не с макроисторией, а просто с другими равноправными подходами. И как очень кстати было отмечено в докладе И.М.Савельевой и А.В.Полетаева, не надо оскорбляться термином “заимствование”, в этом ничего плохого нет, но необходима адаптация заимствованных методов и выработка собственных теоретических моделей. И то, что история как дисциплина на протяжении всего своего развития черпала из общего интеллектуального фонда, из которого она и сейчас берет те инструменты, которые ей потребны, и применяет их с учетом определенных особенностей – я думаю, что ничего плохого в этом нет, и не надо нам противопоставлять историю и социальные науки, историю и другие гуманитарные науки и т.д.

Надо сказать, что в историографии у нас сложилась интересная картина. И об этом тоже отчасти сказано в докладе И.М.Савельевой и А.В.Полетаева, в котором проведено очень четкое различие между историей и общественными науками в плане разделения труда и в некоторых других аспектах. Но пойдем несколько дальше. Возьмем, например, такую науку как биология, в которой мирно сосуществуют зоология, микробиология, генетика. И зоолог вряд ли будет специально разбираться в генах, генетик может вообще не вспоминать о том, что у слона есть хобот. В историографии же все совсем по-другому. Мы не можем размежеваться на “макроисториков” и “микроисториков”. И эта сильно выраженная профессиональная потребность в постоянной смене и комбинации перспектив с целью достижения целостного и всестороннего представления о предмете познания вовсе не является следствием научной недоразвитости нашей дисциплины, она лишь отражает ее специфику.

## Ю.Л.Бессмертный (ИВИ РАН)

## Несколько заключительных соображений

Как и следовало ожидать, в ходе дискуссии высказывались далеко не совпадающие суждения по многим обсуждавшимся вопросам. Затронут был и вопрос о том, стоит ли “умиляться наличию разных мнений”. Взявши заключительное слово, я не хотел бы претендовать на *решение* каких бы то ни было проблем, включая и этот вопрос. Но свое мнение (в том числе и по этому поводу) мне хотелось бы высказать.

Начиная с главного, отмечу то внимание, которое почти все выступавшие уделили своеобразию микроанализа в истории и его соотношению с тем, что принято называть макроисторией. Это и есть центральный сюжет нашей конференции и в этом смысле дискуссия себя оправдала.

Что же такое микроистория? Мне кажется, что, несмотря на несовпадение формулировок, прозвучавших в разных докладах и выступлениях, во многих из них просматривается сходство суждений по существу. Соглашаясь с рядом высказываний (и дополняя их), я бы считал оправданным примерно такое определение. Микроистория – это один из ракурсов исторического познания; его отличает: специальное внимание к индивидуальным чертам исследуемых феноменов; нацеленность на осмысление уникального в помыслах и поведении исторических персонажей; акцент на изучении явлений, выпадающих (“выламывающихся”) из доминирующей социальной системы и способных содержать разные потенции исторического движения. Микроистория и макроистория сочетаются друг с другом по “принципу дополнительности”, что в частности предполагает и их нераздельность, и их неслиянность.

Как и всякое определение, предлагаемая формулировка нуждается в развернутой аргументации. Я попытаюсь дать ее в специальной статье, прилагаемой к материалам конференции. Здесь же ограничусь лишь несколькими соображениями, непосредственно связанными с выступлениями участников дискуссии.

Одним из наиболее остро обсуждавшихся был вопрос о сопряжении между собой микро и макро подходов. Как известно, это весьма сложный и ответственный сюжет. Фактически во всех докладах констатировалось, что переход от микроаналитических наблюдений к глобальным построениям не просто труден; он представляет собою в высшей степени сложную познавательную проблему, которая, по мнению ряда специалистов, вообще не имеет решения. Видимо неслучайно, и на нашей конференции почти никому из участников не удалось предложить конкретные логические механизмы перехода от микро к макроанали-

зу. Преодолеть эти логические апории простым причислением их к “мнимым” вряд ли возможно.

Другое дело – принципиальная установка историка на сильное соединение генерализирующих и индивидуализирующих подходов, на интеграцию исследовательских результатов микро и макро анализа. Эта установка в явной или неявной форме признают по-моему едва ли не все участники нашей дискуссии. Я бы осмелился предположить, что она заложена в самом нашем когнитивном аппарате и преодолеть ее вряд ли мыслимо. Задача состоит следовательно в частности в том, чтобы найти способы реализации этой установки в рамках доступного нам логического инструментария. На мой взгляд, именно этой цели отвечает принятие упомянутого выше принципа дополнительности для характеристики соотношения микро и макроанализа в истории. Хотелось бы подчеркнуть, что авторы едва ли ни всех основных докладов так или иначе согласны с плодотворностью такого подхода. (Особенно явно это выражено в докладах Л.П.Репиной, И. М. Савельевой и А.В.Полетаева и моем собственном; косвенно, эта же идея признается С.Г.Ким и П.Ю.Уваровым).

Однако присутствие в нас стремления к соединению частного и общего не только не исключает, но наоборот предполагает потребность в уяснении своеобразия и особенностей методов микро и отдельно макроистории. Важно было бы осмыслить, в чем сходны и в чем различны познавательные возможности каждой из них. Нет по-моему никаких оснований подозревать в попытках такого раздельного анализа “*одностороннее* (?) вычленение отдельных фактов и событий в разряд микроисторических”, “противопоставление” (?) микро и макро истории или тем более, “обнесение” микроистории “бетонной оградой с колючей проволокой” (как это прозвучало в некоторых выступлениях). Зато более, чем оправдано осознать существование проблемы – как и в какой форме и мере можно приблизиться к интеграции микро и макроистории и каковы характерные приемы каждой из них.

Как известно, один из вариантов микроанализа предполагает изучение исторических казусов (во всем многообразном содержании этого последнего понятия). Насколько этот вариант перспективен? В ходе обсуждения высказывалось сомнение по поводу возможности исследовать казусы для периодов, предшествовавших новому времени. Определенные трудности на этом пути, действительно, есть. Стоит ли однако забывать, что любой сколь угодно ранний текст, если только хоть что-нибудь известно об обстоятельствах его появления, это уже своеобразный казус? Углубленный анализ того, как сложился данный текст, что (и кого) заставило его создать, каков интеллектуальный багаж его автора, насколько он вписывается (или не вписывается) в ментальный универсум своего времени, какие альтернативы данному тексту тогда

существовали, какие последствия он имел и многое-многое другое (о чем кстати уже не раз писал Л.М.Баткин), вряд ли можно недооценивать. Уяснить все подобные вопросы бывает, конечно же, очень непросто, но отнюдь не невозможно. Очень многое здесь зависит от установки исследователя: считать ли изучаемый текст заслуживающим внимания только в совокупности с другими и в интересах создания неких сериальных данных (что само по себе может быть в высшей степени плодотворным!), или же использовать и другую методику и попытаться извлечь максимум возможного уже из данного отдельно взятого текста. Нужна ли здесь какая бы то ни было односторонность? Стоит ли проявлять по отношению к любому из этих методов какую бы то ни было нетерпимость? Оправданы ли прозвучавшие в ходе дискуссии осуждающие (или даже резко негативные – “возврат к анекдоту!”) интонации при сопоставлении исследовательских приемов сериального и казуального анализа?

Некоторые из имевших место высказываний заставляют меня задаться не только этими вопросами, но и более общим: о допустимых пределах плюрализма. К сожалению, среди традиций, которые наше сообщество историков *volens – nolens* унаследовало от прошлого, так называемая борьба с плюрализмом занимает видное место. Историки старшего поколения знают, насколько эта традиция была тесно связана с преследованием всякого инакомыслия. Я уверен, что никто из участников нашей дискуссии и в мыслях не имеет возродить подобные нравы. Будем же осторожны с установлением “пределов плюрализма” (и уж, тем более, с установлением пределов “тиражирования” спорных текстов).

Соглашусь с тем, что одного только “плюрализма взглядов”, конечно же недостаточно, чтобы думать, что в науке “все в порядке”. Какая бы то ни было всеядность в принципиальных подходах к истории, конечно же нетерпима. Но, на мой взгляд, историк, столкнувшийся с иным, чем у него самого, методом исследования – даже если этот метод представляется ему совершенно непродуктивным – вряд ли может забывать о том, что оспорить вызывающий неудовлетворение метод нельзя простым отрицанием (или, тем более, окриком), для этого нужна спокойная дискуссия, и прежде всего аргументированное сопоставление получаемых исследовательских результатов, раздумья над истоками возникновения спорного метода. Безапелляционность тона (как и уничижительные эпитеты и сопоставления) в научном споре – не слишком сильный аргумент. (Мы это уже “проходили”).

В этой связи мне хотелось бы сказать несколько слов об обсуждении статьи М.А.Бойцова. Мне уже приходилось и устно, и письменно высказываться о ней (в том числе в ходе дискуссии, публикуемой в “Казусе – 1999”). Не повторяя здесь приводившихся аргументов, скажу лишь, что некоторые основные ее тезисы представляется мне противо-

речащими друг другу и я не могу с ними согласиться, хотя некоторые другие кажутся мне заслуживающими пристального внимания. В любом однако случае, эта статья вряд ли могла вызвать столь заметный резонанс, если бы была лишь “фельетоном”, “эпатажем” и “провокацией”. Неужели наше научное сообщество (а пока что с докладом М.А.Бойцова знакомо только оно) настолько падко на эти приманки? Не свидетельствует ли самый этот резонанс, что далеко не все в порядке “в датском королевстве” и что в обсуждаемой статье задеты болевые точки нашего исторического знания?

Однако, повторюсь, я хотел бы говорить здесь не о содержании этой статьи, но лишь о некоторых высказываниях в ее адрес. Меня поразил в них прежде всего страх перед чем-то нестандартным, необычным по существу и форме. Страх по поводу того, что этот текст “тиражируется”, что создается “весьма опасный прецедент”, которым могут воспользоваться невежды, что “этот текст может прозвучать как декларация идеологии, которая будет единственно прогрессивной и доминирующей”. Хотя я полностью разделяю мысль о гражданской ответственности историка перед своими читателями, я не очень понимаю, что мешает всем тем, кто видит опасные моменты в тексте данной статьи соответствующим образом ответить М.А.Бойцову и тем самым “нейтрализовать” эти опасности? Разве самое обсуждение этой статьи не открывает для этого необходимые возможности? Неужели кто-то еще надеется, что достаточно закрыть для какого бы то ни было текста дорогу в печать, чтобы его “опасность” была нейтрализована? Нет ли во всем этом какого-то сектантского стремления замкнуться в рамках уже сложившихся и устоявшихся форм историописания? Одна из таких ярких форм была создана в нашей науке А.Я.Гуревичем, другая – Н.Я.Эйдельманом, еще одна – Л.М.Баткиным, есть и другие. Список закрыт?.. Некоторых смущает ироническая форма письма М.А.Бойцова. Стоило бы однако вспомнить, что мы живем в век, когда ироническая интонация пронизывает все и вся. И вовсе не всегда от “хорошей жизни”. Нередко она – ответ на трагичность интеллектуальной ситуации (трагичность, о которой неслучайно говорили некоторые участники дискуссии) и в то же время – способ найти хоть какие-то разумные варианты выхода из нее. Я вижу в статье М.А.Бойцова талантливую попытку поиска нового в историческом знании, попытку, ставшую возможной благодаря достижениям этого знания в XX в., и благодаря явной исчерпанности некоторых его парадигм, попытку, которая удовлетворяет далеко не всех историков, но, тем не менее, будит мысль, побуждает к раздумьям и вдумчивой полемике.



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Ю.А.Бессмертный

### ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ МИКРО И МАКРОПОДХОДОВ

Осознанное или неосознанное сопоставление индивидом господствующих в окружающем его мире норм поведения с собственными интенциями – неотъемлемое свойство любого человека в любом социуме. Та или иная мера конфликта между принятыми в обществе нормами и личными устремлениями неизбежна едва ли не всюду. В разворачивании этого конфликта и его посильном преодолении содержится – в свернутом виде – вся история социализации человека<sup>1</sup>.

Естественно, что историки с давних пор интересовались как тем *единичным*, что характеризовало отдельного человека и его намерения так и *массовым*, выразившим групповые стереотипы социальных агломераций. В этом смысле можно было бы сказать, что микро и макро-анализ прошлого – стары как мир<sup>2</sup>. Иное дело – *эпистемологическое* осмысление их коллизии. Сравнение исследовательских процедур, лежащих в основе каждого из этих подходов, выявление их сходства и различия, уяснение обстоятельств преобладания того или иного из них в историографической практике разного времени и, особенно, обсуждение проблемы *соединимости* этих подходов – вот что отличает современные дискуссии о микро и макроистории<sup>3</sup>.

Чтобы говорить об этой центральной проблеме со знанием дела, следует вначале уяснить, чем, на взгляд современных историков, различаются два сопоставляемых подхода. Суждения по этому вопросу разных исследователей далеко не во всем совпадают. Различаются не только вербализуемые ими намерения; еще очевиднее разброс в реальном осмыслении микроистории и способах ее применения<sup>4</sup>. Опираясь на весьма разросшуюся за последние годы историографию этого направления,<sup>5</sup> можно было бы констатировать следующее.

Чаще всего при определении сути микроистории вспоминают об относительно малой величине исследуемого объекта, позволяющей изучать его предельно интенсивно, со всеми возможными подробностями, во всех его возможных связях и взаимодействиях. Метафорически говорят также о “сужении” в микроистории “поля наблюдения”, об использовании в ней микроскопа, об “уменьшении масштаба” анализа, обеспечивающем возможность разглядеть мельчайшие детали, о сокращении “фокусного расстояния” исследовательского объектива<sup>6</sup> и т.п.

При всей образности этих характеристик, они однако не идут дальше описания некоторых внешних, и я бы сказал, *формальных* особенностей объекта микроистории и используемых в ней исследовательских приемов<sup>7</sup>.

Более содержательны те определения данного подхода, в которых о нем говорится как об “истории в малом” (а не “истории малого”), или же как об истории *индивидуального опыта* конкретных участников исторических процессов (а не истории “условий их деятельности”), или же – как об истории “нормальных исключений”, а не одной только истории наиболее типичного<sup>8</sup>. Однако и в этих определениях нет экзотического обоснования *эпистемологической* потребности в микроанализе как в особом ракурсе исторического познания.

Может быть правы те, кто вообще отказывает микроистории в праве на существование в качестве чего-то большего, чем набор более или менее тривиальных исследовательских приемов? В самом деле, открывает ли микроистория какие-либо новые возможности познания прошлого?

Обсуждая этот вопрос, я должен коснуться некоторых конститутивных особенностей предмета исторического исследования и истории как таковой, особенностей все чаще привлекающих внимание специалистов в последнее время.<sup>9</sup> Человеческое общество – не просто очень сложная система. Оно принадлежит к особому классу так называемых открытых систем. Все входящие в общество индивиды в той или иной мере обладают возможностью действий, которые нельзя смоделировать ни исходя из их собственной оценки ситуации, ни вообще каким бы то ни было набором рациональных мотивов<sup>10</sup>. Естественно, что даже в полностью идентичных социальных условиях не удастся обнаружить идентичности поведения индивидов; и наоборот, идентичное поведение индивидов не обязательно предполагает тождественности его общих социальных предпосылок<sup>11</sup>. Наиболее непосредственно это связано с исключительной вариативностью внутренней организации каждого индивида, изменчивостью его психофизических черт, бесконечным многообразием его жизненных обстоятельств<sup>12</sup>. Исследователи констатируют, что поведение членов любого человеческого сообщества не подчиняется единообразной утилитарности по принципу: “стимул – реакция”<sup>13</sup>. Перед каждым человеком открыт больший или меньший “зазор свободы” действий. В более общем плане все это выражает одну из тех особенностей человеческих обществ, которая все чаще привлекает в последнее время внимание философов и социологов и которая предполагает, что ни одно из них нельзя мыслить как вполне интегрированную систему<sup>14</sup>.

Речь идет о том, что система межличностных отношений – особенно, в доиндустриальное время – оказывается как бы недостаточно упо-

рядоченной (условно говоря – “недостаточно системной”). Ее элементы и соединяющие их связи отличаются особой лабильностью. Мало того, они допускают существование в рамках системы не подчиняющихся ей феноменов: внутри системы обнаруживаются, так сказать, “разъемы”, в которых могут существовать “чужеродные”, выламывающиеся из нее элементы. Соответственно, процессы исторического развития выступают как отличающиеся дискретностью, прерывностью, облегчающими появление “незапрограммированных” ситуаций и казусов<sup>15</sup>.

Ставя под сомнение гомогенность структуры межличностных отношений, все это мешает рассматривать их как нечто внутренне цельное, доступное однолинейному видению. Приходится постоянно принимать во внимание, что с одной стороны, эти отношения – функция больших структур, охватывающих всех участников этих отношений, а с другой – что ни одна из таких структур не “поглощает” действующих в них индивидов полностью, оставляя место для проявления ими субъективного, частного, личного. Иными словами, воздействие на каждого индивида со стороны социальной группы и со стороны его собственной субъективности имеет разную природу и реализуется как бы в разных “регистрах”.

Своеобразная разорванность этих воздействий, их сущностные различия делают невозможным их осмысление с помощью одних и тех же приемов. Макроанализ, необходимый для понимания функций и влияния больших структур, неприменим для уяснения роли личностных особенностей отдельных персонажей. Наоборот, микроанализ непригоден при изучении роли больших структур и повторяющихся процессов. Недооценивать какой бы то ни было из этих двух аспектов познания прошлого не приходится. Без внимания к макроструктурам невозможно какое бы то ни было рассмотрение прошлого. Ведь как бы мы ни пытались замкнуться в рамках любого индивидуального казуса, любая попытка его осмысления потребует как-то “соизмерить” его с окружающим миром и с аналогичными, или наоборот, отличными от него социальными явлениями. Иными словами, необходим некоторый понятийный инструмент, позволяющий “подняться” над данным индивидуальным казусом. Этого можно достичь только на основе осознанного (или неосознанного) обращения к массовому материалу, т.е. с учетом некоторой исторической глобальности. Иными словами, любая попытка замкнуться в изолированном, “микроисторическом”, изучении отдельных казусов означала бы конец истории как способа *осмысления* прошлого.

Но для историка столь же (если не более) значима и обратная установка: посылить уразуметь (осмыслить) глобальное можно только с учетом того, что в истории оно реализуется лишь в индивидуальном.

Ведь историк имеет дело с живыми людьми и без уяснения их сознательного (или объективно складывающегося) вмешательства в ход событий – “вмешательства”, которое реализуется в ходе действий *индивидов* – осмыслить прошлое не представляется возможным. И дело не только в способности конкретных индивидов, участвующих в событиях и процессах, наложить на них свой отпечаток и придать, казалось бы, однородным историческим явлениям, большую или меньшую непохожесть. Своеобразие истории и ее отличие например от социологии – как раз в сосредоточении на формах реальной социальной *практики* прошлого, а не на выявлении имевших место в прошлом *теоретических возможностей* общественного развития. Между тем, эта социальная практика раскрывается отнюдь не только через массовое и повторяющееся. Нередко ее смысл выявляется ярче всего именно через уникальное и индивидуальное<sup>16</sup>. Нельзя забывать, что стержнем любого сообщества одухотворенных существ выступает его культурная уникальность<sup>17</sup>. Ее не понять, если интересоваться только массовым и повторяющимся<sup>18</sup>. К тому же, поскольку помыслы и поступки человека зависят не только от рационального начала, их осмысление историком нуждается в проникновении во всю сложность внутреннего мира каждого из исследуемых героев. Только при таком проникновении можно приблизиться к раскрытию сложных не всегда осознаваемых самим человеком импульсов его действий. Ясно, что это предполагает специальное внимание к персональным отличиям каждого действующего лица истории<sup>19</sup>.

Все это заставляет видеть в микроанализе незаменимый познавательный инструмент. *Только с его помощью можно рассмотреть, как возможности общественного развития реализовывались в действиях конкретных персонажей, как и почему эти персонажи выбирали из всех возможных свою собственную “стратегию” поведения и почему отдавали предпочтение тем или иным решениям* (в том числе и таким, которые порой выглядят безумными, на взгляд нашего современника)<sup>20</sup>. При охарактеризованном выше понимании сути исторического познания и его объекта, микроистория выступает как непреодолимая потребность, как насущная эпистемологическая необходимость, как незаменимый ракурс исторического анализа. И не только для понимания девиантных (или уникальных) ситуаций, но и всякого конкретного казуса, всегда окрашенного индивидуальностью его участников. И именно микроистория способна выявить зреющие подспудно интенции индивидуального поведения, чреватые изменением сложившихся стереотипов.

С особой силой микроистория востребуется сегодня. Лишь отчасти это связано с острой критикой чрезмерного крена в макроисторию в недавнем прошлом<sup>21</sup>. Не стоит, кроме того, забывать об особой озабоченности нашего современника драматическим противостоянием об-

щества (и всей связанной с ним системы массовых стереотипов) и отдельно взятого индивида. Эта озабоченность неизбежно порождает жажду современного человека понять, как вообще могут согласовываться массовое и индивидуальное и в какой мере история зависит от решений, принимаемых каждым из нас<sup>22</sup>.

Возвращаясь таким образом к центральной для нас проблеме интеграции микро и макроподходов в истории, следует иметь в виду уже не раз высказывавшееся суждение о логической трудности в ее разрешении. По мнению ряда исследователей, полному и последовательному совмещению этих двух подходов препятствует “принципиальное противоречие между жизнью как объектом познания и наукой как средством познания”<sup>23</sup>. Это противоречие обуславливает различия макроистории и микроистории в предмете и в типе анализа. Первая рассматривает “познаваемые объекты в их ряду” (и повторяемости) и потому “позволяет выделить объединяющую их закономерность”. Вторая исследует “индивида в его неповторимости”, “человека во всей бесконечности его связей с окружающими”, “среду обитания и культуру в их непрестанной изменчивости”, иными словами, “жизнь как она есть”; здесь нет места закономерностям<sup>24</sup>. Анализ этой сферы должен соответственно строиться на принципиально иных основаниях. Он не может быть совместим с макроанализом. Микро и макроподходы противостоят поэтому друг другу как два противоположных полюса классической апории. С этой точки зрения, исследователь прошлого, который пытается сочлениить микро и макроанализ, заведомо вынужден пожертвовать строгостью научного анализа как такового и может лишь “нащупывать” компромиссные пути сближения несоединимых по существу полюсов апории<sup>25</sup>.

Остроту противоречия между двумя рассматриваемыми подходами действительно нельзя преуменьшать. На мой взгляд, поиски выхода именно из этого противоречия лежат в подоснове методологических и эпистемологических исканий историков в течение ряда последних десятилетий. Один из вариантов такого выхода был предложен сторонниками постмодернизма; они нашли его в подчинении исторического познания дискурсивному анализу. В самом деле, если изучение конкретной практики в принципе не поддается объективному исследованию, то почему не признать оправданность ее рассмотрения хотя бы на базе *субъективного осмысления*?.. (Именно таковое и лежит, как известно, в основе постулируемого в постмодернизме приоритета за исследованием текстовых интерпретаций).

Другой вариант преодоления отмеченного противоречия привел к тенденции, прямо противоположной по своей направленности постмодернизму. Имею в виду тенденцию к ограничению поля исторического исследования *отдельными* обособленными фрагментами, которые зато



рассматриваются как поддающиеся *объективному* воспроизведению. В этом случае – в противоположность постмодернизму – приоритет отдается верифицируемому варианту научного поиска, но при отказе от распространения полученных выводов на какой бы то ни было макрообъект. Трудно не заметить некоторого сходства данной тенденции с позитивистской установкой на выяснение того “как это было на самом деле” (хотя и лишь в одном отдельно взятом случае)<sup>26</sup>. Предполагаемый этой тенденцией подход имеет известное сходство и с микроанализом, если только рассматривать его в качестве обособленного и самодостаточного метода, вне какого бы то ни было соотношения с макроанализом.

Что сулит и чем грозит сосредоточение историка на изучении обособленных фрагментов (“осколков”) прошлого, подробно рассматривалось в ходе дискуссии по статье М.А.Бойцова “Вперед к Геродоту”, публикуемой во втором выпуске альманаха “Казус” (и продолженной в ходе данной конференции). Не возвращаясь к этой теме, остановлюсь на предложенных в самое последнее время компромиссных вариантах *совмещения* микро и макроанализа.

Многим исследователям такое совмещение мыслится достигнутым уже там, где анализ отдельных микрообъектов высвечивает (или *иллюстрирует*) некое типичное явление, т.е. там, где он используется как способ увидеть “частные модуляции” общих процессов<sup>27</sup>. Исследования этого типа достаточно широко встречаются и в среде отечественных историков, и в Германии, и в англоязычных странах<sup>28</sup>. С.Г.Ким назвала исследовательские опыты такого рода “поисками золотой середины” между моделями макро и микроистории, нацеленными на то, чтобы “увязать воедино развитие глобальных общественных структур и обыденной деятельности человека”.

Полезность такого анализа трудно оспорить. Он делает макро-исторические явления гораздо более зримыми, выявляет их бесконечную вариативность, свидетельствует о способности индивида наложить свой отпечаток на все, в чем он участвует.

Вряд ли однако можно не заметить, что во всех таких исследованиях речь идет не столько об анализе “малых единиц” как таковых, сколько – отдельных вариантов макро-исторических процессов. Между тем, как отмечалось выше, потребность в микроанализе определяется не только (и не столько) его иллюстративными возможностями. Он – средство осмыслить то индивидуальное и уникальное, что не вмещается в массовое и повторяющееся. С этой точки зрения, *достичь подлинной (сущностной) интеграции микро и макроподходов к прошлому – значит найти способ перехода от наблюдений над отдельными и уникальными казусами к суждениям, значимым для той или иной исторической глобальности*. Найдена ли процедура такого перехода?..

Как констатируется в ряде современных исследований, неясна не только таковая процедура, но и способ (и логика) ее поиска<sup>29</sup>. Есть немало сомнений и в том, мыслима ли вообще для прошлого (или хотя бы какого-либо его этапа) *единая* логика взаимодействия общества и отдельного субъекта? Быть может, нет и единого рецепта интеграции микро и макроподходов?..

Мне представляется что – несмотря на все трудности – некоторые самые общие принципы решения этой задачи можно в предварительном порядке наметить. Надежды на успех сулит, на мой взгляд, подход, при котором были бы приняты во внимание отмеченные выше особенности как объекта, так и методов исторического познания. Вспомним о неполной интегрированности изучаемых в истории общественных систем; примем во внимание отмеченную выше необходимость для историка параллельно использовать разные по своей сути способы осмысления прошлого – одни, когда исследуются большие структуры, другие, когда речь идет об уникальном выборе отдельных персонажей. *Нельзя ли предположить, что целокупное – и по-своему интегрированное – видение прошлого может быть только “двухслойным”, двухединым, основывающимся на сосуществовании двух дополняющих друг друга вариантов?*

Неслиянность этих двух форм видения не противоречит возможности их своеобразной интеграции. Конечно, это не физическая (и не механистическая) интеграция. Речь идет о мысленной конструкции. Формирование ее целостности может быть отчасти уподоблено тому, как формируется целостность нашего зрения, складывающегося, как известно, из двух самостоятельных картинок, одна из которых поступает в зрительный центр нашего мозга от правого глаза, а другая – от левого. Вполне адекватного представления о целом не дает ни одна из этих двух картин. Другое дело – *их наложение* друг на друга. Только мир, увиденный обоими глазами сразу, воспринимается нами как целостный и единый.

Не в том ли состоит и задача историка, который хотел бы увидеть прошлое во всей его сложности, во всей напряженности столкновений стереотипного и индивидуального? Не должен ли и он “*смотреть в оба*”, чтобы осмыслить, с одной стороны, макро-феномены (в том числе, стереотипы), с другой – микромир, включающий не только индивидуализированное воплощение тех же стереотипов, но и не подчиняющиеся стереотипам уникальные поведенческие феномены? Осуществляя эту процедуру, исследователь следует тому самому принципу дополнительности, о котором уже говорилось выше и который предполагает особую форму соединения микро и макро проекций прошлого (вне их механического слияния)<sup>30</sup>.

Взятая отдельно, каждая из этих проекций будет очевидно беднее

их специфического соединения. Наоборот, возможность их интегрированного видения открывает исключительно важные познавательные перспективы. Не закрывая глаза на логическую обособленность познавательных процедур, востребуемых каждой из этих проекций, историк в то же время оказывается в состоянии и учесть черты глобальности, и "схватить" "жизнь как она есть" в тот или иной *отдельный* момент (и в связи этого момента с *предыдущими и последующими*), если только источники сохранили об этом память.

Но отсюда следует, что, если не претендовать на обретение "вечных" научных истин и удовлетворяться осмыслением прошлого по отношению к каждой данной ситуации и к ее непосредственным связям и взаимосвязям с предыдущими и последующими ситуациями, исследователь в состоянии получать верифицируемые исторические знания, достаточные для выполнения историей своих познавательных функций. Их реализации не мешает и отмеченное выше логическое противоречие между макро и микроанализом, так как при намеченном подходе к изучению прошлого апорийный характер этого противоречия перестает быть познавательным препятствием.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup>Этот факт был замечен в науке, по крайней мере со времен Анри Берра. С тех пор проблема "присвоения" отдельным человеком надындивидуального опыта не перестает волновать историков. Один из наиболее известных опытов исследования этой проблемы принадлежит Норберту Элиасу. Из числа более новых работ упомяну: Chartier R. Intellectual History and History of Mentalities // Modern European Intellectual History. L., 1982; Burgier A. Notion de mentalité chez M. Bloch et L. Febvre // Revue de Synthèse. P., 1983. N 111-112; Revel J. Présentation // Jeux d'Echelles. La microanalyse à l'expérience. P., 1996

<sup>2</sup>См. об этом Oexle O.G. Nach dem Streit. Anmerkungen über "Makro-" und "Mikrohistorie" // Rechtshistorisches Journal. Frankfurt a. M., 1995. N 14. Неслучайно Клиффорд Гирц писал, что микроанализ – это то, чем занимается любой историк-практик.

<sup>3</sup>Читатель мог убедиться в этом при чтении всех докладов историографического раздела настоящего издания.

<sup>4</sup>Важность различать эти вещи справедливо подчеркнута в докладе Г.И.Зверевой.

<sup>5</sup>Помимо материалов, публикуемых в настоящем издании, см.: "Mikrogeschichte – Makrogeschichte: komplementär oder incommensurabel?" Göttingen, 1998.

<sup>6</sup>См. работы Б. Лепти, Ж. Ревеля; Б. Лепти, Ж. Фабiani, Г.С.Джонса и др., рассмотренные в публикуемых выше докладах.

<sup>7</sup>См. об этом в публикуемом выше докладе И.М.Савельевой и А.В.Полетаева.

<sup>8</sup>Это особенно характерно для подходов Дж. Леви, Э.Гренди, К. Гинзбурга,

Г. Медика, К. Пони, охарактеризованных в публикуемых выше докладах. К сожалению, ни в одном из них не нашла отражения особенно важная статья: Ginzburg C. Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice. // Le Débat, 1980, N 5, p. 3 - 44

<sup>9</sup>Речь идет об особенностях истории как одной из социальных наук. Имея некоторые общие с ними черты, история, однако, отличается своей спецификой. Об отличиях истории от других общественных наук см. в частности Т.Зелдин. Социальная история как история всеобъемлющая // Тезис, вып 1, с.162; ср. также соображения Дж. Леви о "слабости" истории как науки ("К вопросу о микроистории", с.184-185).

<sup>10</sup>Л. фон Берталанфи. Общая теория систем: критический обзор. // Исследования по общей теории систем. М., 1969, с. 74: "...человеческому поведению существенно не хватает рациональности"; автор этой работы – один из признанных классиков системного анализа – специально анализирует здесь своеобразие общественных структур и особенности их функционирования и приходит к выводу о необходимости признать их конститутивную специфику по сравнению со всеми известными структурами и системами.

<sup>11</sup>P.-A. Rosental. Construire le "macro" par le "micro" // Jeux d' échelles. La micro-analyse à l'expérience. P., 1996. P. 145 ; cf. Fredric Bart. Models of Social Organisation 1 // Process and Form in Social Life. L., 1981, P. 34-35

<sup>12</sup>Т. Зелдин. Цит. соч. с.161

<sup>13</sup>Л. фон Берталанфи. Цит. соч. с.65

<sup>14</sup>Об этом особенно подробно говорит Фредерик Барт (Op. cit., p. 30-40). В самое последнее время специалисты в разных областях констатируют необходимость пересмотреть представления о понимании системности вообще. Подчеркивается, что большая или меньшая хаотичность свойственна всем явлениям природы и общества, что даже в строго детерминированных системах имеются элементы "хаоса", что "мы в принципе не можем дать "долгосрочный прогноз" поведения огромного числа даже сравнительно простых механических, физических, химических и экологических систем. Можно предположить, что предсказуемое на малых и не предсказуемое на больших временах поведение характерно для многих объектов, которые изучают экономика, психология и социология" –С.П.Капица, С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С.23 и след.

<sup>15</sup>Естественно, что это предполагает понимание исторического времени как "неоднородного", протекающего "неравномерно" в разные периоды и в разных отсеках системы (С.П.Капица и др. Цит.соч. С. 53; И.М.Савельева и А.В.Полетаев. История и время. М., 1997, гл.5)

<sup>16</sup>В упоминавшейся выше статье К. Гинзбурга убедительно показана исключительная познавательная важность отдельной детали, отдельного признака (l'indice) для рационального - или интуитивного - понимания исследуемого в истории предмета (С. Ginzburg. Signes..., p. 4).

<sup>17</sup>Л.М.Баткин. Леонардо да Винчи. М., 1990, С. 22

<sup>18</sup>В той или иной степени это касается не только социальных объектов: синергетический способ обработки информации предполагает особую эффективность тех ее массивов, которые, будучи уникальными, передают в ней главное (С.П.Капица и др. Цит. соч., с. 34)

<sup>19</sup> Я не касаюсь здесь вопроса о том, насколько реально такое изучение исторических персонажей для разных периодов прошлого. Ясно, что найти подробные данные о людях далекого прошлого очень непросто. Надо ли однако напоминать, что возможность "разговорить" источники зависит не только от них самих, но и от интеллектуальной активности исследователя?

<sup>20</sup> Об этом свидетельствует уже накопленный в историографии материал. См. в частности, помимо статей в нашем альманахе "Казус", проанализированные в публикуемых выше докладах работы Ч. Фитьян-Адамса, К.Гирца, С.Черутти, К.Байнум, Г.Медика, и мн. др.

<sup>21</sup> Об этом уже не раз писали и в нашей, и в зарубежной печати (см. в частности, в моей вводной статье в "Одиссее-1995", с.5 и след.)

<sup>22</sup> Что ряд современных историков-профессионалов считают необходимым откликнуться на эти научные и общественные запросы, известно из ряда их высказываний. Так итальянский историк Дж. Леви, отмечая важность "субъективистской" составляющей исторического прошлого, пишет, что "микроистория не намерена жертвовать познанием индивидуального ради обобщения. Более того, в центре ее интересов - поступки личностей или единичные события... Перед микроисторией стоит альтернатива: принести в жертву индивидуальное ради обобщения или - наоборот - застыть перед неповторимостью индивидуального..." (Дж. Леви. Цит. соч., с.184) Леви - как и ряд других исследователей (Б. Лепти, Ж.Ревель, Ч. Фитьян-Адамс, С.Черутти, К. Гинцбург) - хотел бы найти парадигму, в центре которой было бы такое познание *индивидуального*, которое не отбрасывало бы формальное описание и *научное* познание даже индивидуального.

Аналогичным образом высказывался известный британский историк Т.Зелдин, задававшийся целью создать "эмоциональную историю человека". "В своих наиболее пуристских формах социальная история, - писал Зелдин о макроисторических штудиях недавнего прошлого, - почти утратила ощущение индивида (Т.Зелдин. Цит. соч. с. 161-162)

<sup>23</sup> Г.С.Кнабе. Общественно-историческое познание во второй половине XX в. // Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античности. М., 1993. С. 161; см. аналогично: К.Гинцбург. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные методы преподавания...М., 1996, с.220-221; В.Lepetit Le Présent de l'histoire // Les formes de l'experience. P.,1995, p. 280; S. Kracauer. History: The last things before the last, p. 104-138.

<sup>24</sup> Г.С. Кнабе. Цит.соч. с.161-163; кроме приведенных в предыдущем примечании высказываний об этой апории К.Гинцбурга, З.Кракауера и Б.Лепти см. также цитируемое в докладе С.Г.Ким замечание Ю.Кокка: индивидуальный опыт не детерминирован структурами или процессами и потому, по мысли этого автора, не может быть предметом строгого научного анализа (Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, hrsg. W. Schulze, S.34 ff.).

<sup>25</sup> По мнению З. Кракауера, лучше всего это удавалось Марку Блоку в его "Société féodale" с помощью "постоянного лавирования" между микро и макро-историей, лавирования, которое "все время ставит под сомнение общее видение исторического процесса из-за встречающихся исключений и причин краткосрочного действия"; иные варианты посильного преодоления этой апории предлагает в цитированной работе Г.С.Кнабе (цит. соч., с.165-168).

<sup>26</sup> О позитивистском ингредиенте в микроистории этого толка см. J. L. Fabiani. Op. cit., p.244; Дж. Леви. Цит.соч., с.168.

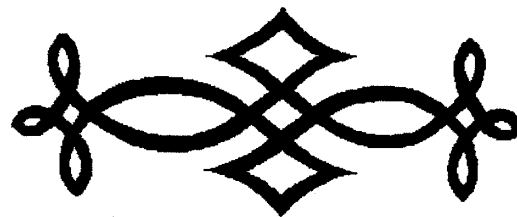
<sup>27</sup> Так по мнению например, Ж. Ревеля "опыт индивида или группы" может выражать "частную модуляцию глобальной истории" (J. Revel. Micro-analyse et reconstruction du social // Colloque "Anthropologie contemporaine et anthropologie historique". P., 1993, p. 30

<sup>28</sup> В числе примеров отечественных исследований этого рода можно было бы в частности назвать статьи Ю.П.Малинина, Л.А.Пименовой, О.В. Дмитриевой в альманахе "Казус-1996". Ряд исследований этого типа рассматриваются в докладах С.Г. Ким и Л.П.Репиной.

<sup>29</sup> Помимо обсуждения этой проблемы в публикуемом выше докладе Н.Е. Копосова, см. также: Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte..., S. 19-20; Th. Schwinn. Max Webers Konzeption des Mikro-Makro-Problems // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1993, S.220-237.

<sup>30</sup> Напомню, что речь может при этом идти лишь о таком их соединении, при котором каждая из них сохраняет свою автономность.

Такого рода сочетание исследовательских подходов отчасти напоминает сочетание некоторых форм получения информации в квантовой механике, открытое в 1927 г. физиком Нильсом Бором и названное им "принципом дополненности". Идея применения "своего рода *дополненности*" к исследовательским методам в истории уже была в другой связи высказана Л.М.Баткиным. Развивая эту идею, я решился бы трактовать соотношение микро и макроистории в этом же ключе и констатировать, что, *хотя коллизия между данными подходами не может быть преодолена, они соединены друг с другом по принципу дополненности*



## ПРИЛОЖЕНИЕ

### L'HISTOIRE DE L'INDIVIDU ET L'ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE AUJOURD'HUI

(L'entretien J.Cl.Schmitt et Yu.L.Bessmertny, 17.07.1997)

Yu.L.Bessmertny: A l'Université où je travaille, l'Université des Sciences Humaines, il y a un centre qui s'appelle "Le centre des recherches de l'anthropologie historique" au nom de Marc Bloch. Je travaille dans ce centre. Pendant beaucoup de temps j'ai essayé d'expliquer ce que je comprends par "histoire anthropologique", mais quand je suis venu en France cette année j'ai constaté que presque tous mes interlocuteurs comprennent cette notion de façon tout à fait différente. Voilà pourquoi il est très important pour moi de comprendre votre point de vue, parce que j'ai bien compris que vous êtes un dirigeant de ce groupe.

J.Cl.Schmitt: Puisqu'on parle d'anthropologie, il faut partir de l'anthropologie comme discipline. L'anthropologie c'est une science humaine. Et la question, du moment que l'on allie le mot "histoire", au mot "anthropologie", est de voir ce que les historiens peuvent tirer de l'anthropologie, ce qu'ils en ont tiré depuis 20-30 ans. Historiographiquement, il y a eu des tentatives déjà anciennes, celle de "Rois thaumaturges", par exemple, puis un retrait et puis un nouvel essor avec des gens comme Le Goff. Pour moi, l'anthropologie des sociétés, des sociétés européennes ou des sociétés non-européennes, apporte deux choses à l'histoire. Premièrement, des méthodes, des problématiques intellectuelles, qu'il s'agisse sans doute encore plus de l'anthropologie non-européenne que de l'anthropologie européenne. Je pense en particulier pour nous que le structuralisme a été essentiel dans la définition de nouvelles méthodes et de nouveaux problèmes pour les historiens. Ce qui est paradoxal parce qu'on a toujours dit que le structuralisme faisait fi de l'histoire, qu'il ne s'occupait que de synchronie, pas de diachronie etc. Mais si maintiens que cette manière de poser des problèmes dans la synchronie, c'est-à-dire de façon globale, en termes de fonctionnement général, est tout à fait essentielle pour les historiens et qu'avant de s'occuper de chronologie, d'évolution il est essentiel d'avoir l'idée d'un système, d'une structure sociale, d'une structure mentale, d'une culture avant de voir son évolution historique et tout en disant que la structure n'existe que dans sa transformation. Je crois que le structuralisme a apporté beaucoup de choses aux historiens, par exemple, sur le plan de l'analyse des mythes, avec les travaux de J.-P. Vernant ou de M.Detienne, ou la question de la parenté, par la prise en compte non simplement de la famille,

mais de la parenté de façon beaucoup plus large et notamment de la parenté symbolique. Sur le plan par ailleurs de toutes ces questions de la civilisation matérielle, de l'histoire du corps, des modèles de comportement, de l'alimentation... Tout cela s'est développé d'une façon originale parce que les anthropologues ont fait comprendre aux historiens que des choses aussi triviales que, par exemple, l'alimentation sont toujours en même temps des actes symboliques. À côté des questions de méthode générale et des problématiques, l'anthropologie a permis d'ouvrir des voies vers de nouveaux objets, l'histoire des gestes par exemple. La question de la narrativité, des légendes que nous avons retrouvées à travers les exemples, de l'oralité, des rapports entre l'oralité et l'écrit, tout cela aussi est venu de l'anthropologie. C'est dans l'échange et le débat entre anthropologues et historiens que l'anthropologie historique s'est fondée. En même temps il faut voir que les choses ont changé aussi du côté des anthropologues. Aujourd'hui l'anthropologie a découvert l'histoire de deux manières. D'une part elle a une histoire, c'est-à-dire que l'anthropologie a l'histoire de sa discipline. Aujourd'hui on ne fait pas de l'anthropologie comme en temps de Durkheim et on redécouvre les chantiers de Malinowski. Si l'histoire a une très longue histoire, l'anthropologie a une plus courte histoire, mais elle en a une quand même. D'autre part les terrains ont changé. C'est-à-dire que les sociétés dites "primitives" ne le sont évidemment plus aujourd'hui, ce sont des sociétés engagées dans la mondialisation économique et culturelle. Et donc, l'objet lui-même s'est "historisé". Et quand les anthropologues aujourd'hui découvrent, en Afrique ou en Asie, des sociétés qui se sont occidentalisées, cette transformation même devient leur nouvel objet d'étude. Mais inversement, des anthropologues jettent aujourd'hui un oeil anthropologique sur notre propre société, industrielle et moderne. Pas seulement sur le folklore des campagnes mais sur le métro, par exemple, ou sur l'Assemblée Nationale comme une société quasi-primitive, avec ses règles tacites et coutumières de fonctionnement... On est donc dans un moment de reconfiguration à la fois de l'histoire qui devient une histoire anthropologique et de l'anthropologie qui devient d'une certaine façon plus historique qu'avant.

Yu.L.Bessmertny: C'est-à-dire que maintenant l'anthropologie historique prête une plus grande attention à la synchronie, en même temps qu'à la diachronie?

J.Cl.Schmitt: Je crois qu'on peut faire de l'anthropologie historique et être profondément historien. D'autant mieux qu'une société comme la nôtre est fondée idéologiquement sur l'histoire. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Je pense à un livre d'anthropologie que j'ai beaucoup aimé, écrit par notre collègue Philippe Descola qui s'occupe de l'Amazonie et de petites sociétés de cueilleurs et chasseurs nomades qui n'ont pas de

mémoire! C'est pour nous une chose très difficile à imaginer, une société sans mémoire. Ces groupes vivent dans des petites clairières pendant deux ou trois ans, le temps d'exploiter les environs, et puis ils vont ailleurs. Et naturellement comme c'est dans la forêt, la forêt aussi tôt reprend ses droits et efface tout. Or, entre temps, ces sociétés ont eu des morts, les morts ont été enterrés sous les cabanes. Mais quand le peuple va ailleurs, il laisse les cabanes et les morts et la forêt recouvre tout ça et ne laisse aucun souvenir des morts, ce qui est bien étonnant pour nous. Nous, au contraire, nous vivons dans une société consciemment fondée sur la mémoire. Plus ou moins bien sûr, comme Philippe Ariès l'a montré à propos d'une plus forte occultation des morts aujourd'hui. Cela veut dire que pour nous plus qu'ailleurs, il n'y a de structure que dans la transformation, la structure n'existe que dans sa transformation. On pourrait prendre n'importe quel exemple. Prenez le cas d'un tympan d'église romane. On va étudier un tympan dans sa structure, mais en même temps ce tympan n'existe que par rapport aux autres tympan romans. On ne peut pas étudier Conques sans étudier Autun et Vézelay. Or chacun de ces tympan a sa propre histoire, son propre moment et donc les transformations que l'on va étudier sont naturellement des transformations qui ont un rapport avec le temps et les transformations plus générales du milieu social dans lequel ces tympan ont été produits. Donc, notre compréhension historique de cette structure mouvante ne peut se satisfaire de la seule analyse des structures formelles. Il n'y a pas de structure en dehors de l'histoire...

Yu.L.Bessmertny: Prenons la question des représentations, le système de représentations médiévales... Par exemple j'étudie maintenant les représentations, la rhétorique chevaleresque de la mort. Quand nous étudions ces sujets nous ne pouvons pas les étudier sans nous intéresser aux liens qui existent entre ce système des représentations et la structure plus large. Mais c'est très difficile de comprendre comment relier, par exemple, les changements dans la rhétorique de la mort et la situation plus large. Par exemple, Jacques Le Goff a dit qu'entre le 12<sup>me</sup> et 13<sup>me</sup> siècles "les valeurs descendent du ciel sur la terre", mais c'est une proposition générale, et c'est tout à fait clair. Est-ce qu'on peut plus concrètement réaliser une étude des liens entre les représentations et les structures sociales?

J.Cl.Schmitt: Bien sûr, mais c'est compliqué. D'abord, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces rapports ne sont pas d'ordre spéculaire. Il ne s'agit jamais d'un reflet, avec d'un côté l'imaginaire, la littérature etc., et de l'autre côté la société. La société existe, c'est vrai. Mais elle n'existe qu'à percée par les acteurs sociaux. C'est-à-dire que la société, les institutions n'existent pas en soi, ne fonctionnent pas en soi, mais en tant qu'elles sont objets de représentation et d'usage de la part des acteurs

sociaux. Nous sommes d'emblée dans l'ordre de la représentation. Pensez à l'institution universitaire. Elle est une institution, mais en même temps une concrétion de valeurs, d'investissements intellectuels et affectifs, bref une représentation. La société, c'est déjà de la représentation.

Yu.L.Bessmertny: Et les représentations, c'est déjà de la société...

J.Cl.Schmitt: Voilà. Bien sûr, puisque elles aussi sont produites par des hommes. Donc, il faut penser à toutes ces médiations entre un pôle et l'autre. Il y a, par exemple, la littérature, ou encore l'art et les images. Mais il y a d'autres choses, le domaine du symbolique, des valeurs qui sont peut-être des choses moins facilement perceptibles mais qui sont essentielles au fonctionnement des institutions et de la société. Les acteurs sociaux ne sont pas neutres face à la société ou face aux institutions, ils s'investissent en eux, il y a une part d'affectivité très forte dans toute réalité sociale. On ne peut considérer l'esthétique, la littérature, l'art etc. d'un côté et la société de l'autre. On ne peut pas les diviser, il n'y a pas d'infrastructure et de superstructure. Il y a au contraire un tissu social épais, fait de couches nombreuses et quand on étudie les rapports entre littérature et société, il faut tenir compte de tous ces niveaux intermédiaires, de toutes ces valeurs symboliques, par exemple, qui vont se retrouver reprises, transformées, sublimées, par exemple, ou inversées dans la littérature. Est-ce que c'est clair ce que je dis là?

Yu.L.Bessmertny: C'est clair! Mais savez-vous, vous avez employé quelques fois ce mot-clé "acteur social". J'ai bien compris votre choix et j'ai bien compris le rôle des acteurs sociaux, mais je me rappelle votre réflexion sur l'individu et la subjectivité que vous avez publié dans le livre consacré à la mémoire de Georges Duby, "L'Écriture de l'histoire".

J.Cl.Schmitt: Si je me souviens bien, j'en parlais à propos du débat sur la naissance de l'individu, c'est bien cela?

Yu.L.Bessmertny: Voilà!

J.Cl.Schmitt: Cette question m'a toujours semblé très importante. J'avais écrit un article d'ailleurs sur la "fiction historiographique" qui représente la question de naissance de l'individu. Je sais que les historiens russes s'intéressent à cette question.

Yu.L.Bessmertny: C'est une question très importante pour notre société.

J.Cl.Schmitt: Je comprends bien, naturellement. Pour moi, si vous voulez, je crois que la question a été simplifiée parce que d'une certaine façon à toute époque historique, on peut dire que l'individu naît. Cette manière de voir est liée au découpage du champ historique, à la périodisation et à la spécialisation, au fait qu'il existe des spécialistes de l'Antiquité, des spécialistes du Moyen Âge, des spécialistes de la Renaissance. Et comme chacun travaille avec le même schéma intellectuel, dans toutes ces périodes on va voir l'individu renaître! Mais comment expliquer que l'individu naisse dans l'Antiquité puis disparaisse, puis

renaître au Moyen Âge puis disparaître, etc.? On peut penser qu'il ne s'agit pas du même individu. Mais je crois que cela va au-delà, que c'est tout le schéma historiographique qu'il faut critiquer. En effet je ne crois pas l'histoire soit linéaire. On peut imaginer bien-sûr que, par exemple, les invasions barbares ont réduit l'importance de l'individu et que celui-ci doit renaître après. Mais je me demande s'il ne faut pas surtout faire entrer dans cette catégorie de l'individu des choses différentes et plus complexes. Un individu pour moi c'est quelqu'un qui se singularise dans la société, dans l'action sociale, qui se présente comme un être singulier et irréductible à tout autre. Dans la société féodale, l'individu par excellence, c'est le chevalier, le preux, qui s'en va seul au combat, qui veut être le premier, qui veut être le plus fort. Voilà l'individu. Mais ce n'est pas un sujet, pas du tout. Il n'a que faire de sa subjectivité. Et le type social qui s'oppose absolument au chevalier, au 12<sup>ème</sup> siècle, c'est le moine, parce que le moine, lui, est un sujet. Un moine comme Guibert de Nogent est capable d'écrire une autobiographie. Il me dit sur lui-même, sur ses souvenirs, sur son âme. Mais en revanche, il n'est pas un individu, puisqu'au contraire toute l'éthique monastique tend à effacer l'individualité. Tous les moines sont habillés pareillement, vivent ensemble, font les mêmes gestes. Donc, ils représentent exactement le pôle inverse. Il y a aussi une troisième notion, la notion de *personne*. C'est d'abord une notion théologique, qui se réfère au dogme de la Trinité, ce qui est déjà une transformation par rapport à l'héritage antique, puisque dans l'Antiquité *persona* était une figure du théâtre, c'était le masque. Mais je crois qu'il reste au Moyen Âge quelque chose de cette notion. Par exemple, dans la littérature visionnaire *persona* est un être de l'au-delà qui apparaît mais qu'on ne peut pas encore désigner, on ne connaît pas son nom. Ce peut être un saint, ce peut être le Diable, on ne sait pas très bien. Puis c'est quand ce "personnage" de la vision se rapproche, on dit: "Ah, tiens, c'est lui! C'est mon grand-père qui est mort". *Persona* c'est un personnage de l'au-delà qui apparaît mais qui n'est pas encore identifié, mais qu'on va bientôt démasquer. Mais *persona* renvoie aussi à l'anthropologie chrétienne, une *personne*, c'est un être qui est fait d'un corps et d'une âme... En somme, il y a trois notions importantes: *personne*, *individu* et *sujet*. Et il me semble que historiquement ces trois notions ne fonctionnent pas nécessairement au même rythme ni dans les mêmes champs sociaux. En effet, le monastère est une collection de sujets, pas d'individus. Et la troupe chevaleresque, la bataille féodale, est une collection d'individus, mais pas de sujets. Historiquement il y a bien sûr des transformations. Le 12<sup>ème</sup> siècle est fondamental parce que, entre autres, l'autobiographie chrétienne renaît à ce moment-là dans les monastères. Et ensuite, aux 14<sup>ème</sup>-15<sup>ème</sup>, la question de portrait puis de l'autoportrait est essentielle aussi.

Yu.L.Bessmertny: Ne pensez-vous pas que même dans les châteaux, aux 12<sup>ème</sup>-13<sup>ème</sup> siècles, se renforce un intérêt pour la vie intérieure de chaque



chevalier? Ne peut-on s'accorder avec Jacques Le Goff qui dit que dans cette période les valeurs se transforment dans le sens d'une estime plus grande pour les émotions à l'intérieur de l'homme? J'ai comparé la rhétorique des chroniques latines et des textes en langue vernaculaire... Et j'ai constaté que dans les textes en langue vernaculaire on peut trouver beaucoup plus d'intérêt qu'auparavant pour cette sphère des émotions à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de l'homme, des émotions éprouvées envers les proches. Par exemple, je ne trouve pas dans les chroniques latines l'expression d'émotions envers les proches au moment de la mort de quelque parent. Et quand j'ai étudié les poèmes, j'ai trouvé beaucoup d'attention à ce sujet.

J.Cl.Schmitt: Oui, certainement. Est-ce que cela est lié à la langue?

Yu.L.Bessmertny: Non, non. C'est un changement de genre.

J.Cl.Schmitt: Saint-Bernard...

Yu.L.Bessmertny: Oui, par exemple... Il exprime sa douleur envers la mort de son frère. C'est-à-dire que même dans la langue latine, avec les changements littéraires, nous pouvons constater quelques changements du rôle, peut-être, psychologique de cette émotion en chaque personne.

J.Cl.Schmitt: On rejoint ainsi la question du sujet, du sujet du 12<sup>me</sup> siècle qui n'est pas le notre. Cette subjectivité-là n'est pas la notre. C'est une subjectivité de clercs, de moines qui se définissent par rapport à Dieu. C'est la subjectivité de l'homme qui se découvre "image de Dieu". Ce qui est de nouveau dans la littérature vernaculaire ou courtoise, c'est que se découvre là une autre forme de subjectivité, une "subjectivité littéraire" pour reprendre l'expression de Michel Zink, qui s'exprime dans la rencontre d'un autre être humain et dans l'amour qu'on lui porte.

Yu.L.Bessmertny: La rencontre d'un autre sujet?

J.Cl.Schmitt: Ce sont deux sujets qui se rencontrent. Là, je crois, il y a des glissements effectivement importants et qui relèvent pleinement, pour répondre à votre question de tout à l'heure, d'une histoire sociale.

Yu.L.Bessmertny: Une autre histoire sociale?

J.Cl.Schmitt: Une histoire sociale qui intègre cette dimension du symbolique. Cela montre bien qu'on ne peut pas opposer les représentations et la société, mais que les valeurs, le symbolique font partie intégrante de la société. Les textes courtois sont produits dans et pour un certain milieu social. Ils relèvent donc de l'histoire sociale de la chevalerie. C'est à travers cette lecture d'un texte symbolique qu'on peut vraiment comprendre ce qu'est la chevalerie.

Yu.L.Bessmertny: C'est très important pour nous, parce que chez nous en Russie il n'existait pas de chevalerie. Pourtant le rôle de la chevalerie dans la culture mondiale est grandiose et n'est pas estimé à sa juste mesure.

## ИСТОРИК В ПОИСКЕ

Микро и макроподходы к  
изучению прошлого

Доклады и выступления на  
конференции

5 – 6 октября 1998, Москва: ИВИ, 1999

Препринтный сборник

Утверждено к печати  
Институтом всеобщей истории РАН

Л.Р. № 020915 от 23 сентября 1994 г.

Оригинал-макет подготовлен  
в Институте всеобщей истории РАН  
Оформление: А.И.Саплин

Подписано к печати 27.01.99 формат 60X90 1/16 Гарнитура  
Таймс, Печать офсетная, Усл. печ.л. 19. Тираж 300. Заказная.  
Тип. зак. 31